

078847

Октябрь

1943г.

н. н. 11-12

НИКОЛАЙ РЫЛЕНКОВ

Возвращение

Дневник 1943 года

I

Тревожна ночь прифронтовая,
Под шум дождя, под грай ворон,
Ветрам сомельнуться не давая,
Спешит на запад эшелон,

Дробя пространство дробью спорой
И фыркая по сторонам,
Везет нас к городу, который
Два долгих года снился нам.

В набитой доверху теплушке
Все, кто знаком и незнаком,
Друг другу наполняют кружки
Дорожным редким кипятком.

Пусть почь скорей пройдет в беседе,
В дороге версты велики.
А тут — куда ни глянь — соседи,
Все земляки, все смоляки.

Все едут, не теряя веры,
Что завтра лучше, чем вчера, —
Врачи, актеры, инженеры,
Учителя, профессора.

В своей стране везде мы дома,
Но где б ты ни был, все равно —
Туда, где с детства все знакомо,
Свернуться людям суждено.

Туда, тропинки расплетая,
Пешком уйти б я был готов
От золотых долин Алтая
С уральских каменных хребтов.

От перекрестка к перекрестку
И шел бы, не считая дней,
Узнав Смоленскую березку,
И б в ноги поклонился ей.

Припал бы к черствому суглинку,
Что сохранил мой детский след,
Сухую, желтую былинку
Поцеловал бы, как жар-цвет.

Догнал бы эхо у опушки,
Где дятел просеку просек,
И у кукушки-вековушки
Спросил бы: — Долог ли мой век?

Она б на годы не скупилась
И, отсчитав десятков пять,
Устала б и со счета сбилась,
И снова начала б считать.

Но на войне дороги жестки,
Гремит ветров крутой сигнал.
Здесь немец вырубил березки,
Кукушек в рощах разогнал.

И в город, снившийся нам всюду,
Вернувшись нынче, мы найдем,
Быть может, лишь развалин груды,
Где прежде был отцовский дом...

Но изгнан враг, и, значит, снова
Садам и рощам расцветать,
В тиши у омута лесного
Кукушки будут куковать.

Вновь будет звон ручьев хрусталаем,
Светла высоких зорь гряде,
И, сбросив рубища развалин,
Помолодеют города.

Мы распахнем просторный день им,
Гордясь исполненным трудом,
В гранит и мрамор их оденем,
Каймой сидов их обведем.

Что б смерть в лицо выдавший воин
Подумал: «Путь мой был суров,
Но ратных подвигов достоин
И мудрый подвиг мастеров.

Пока в боях победа крепла,
Светясь в зрачках бессонных глаз,
Вновь возрождаемый из пепла
Они творили мир для нас!..»

Пусть этот мир пока в намеке,
В заветном замысле пока,—
Его осуществленья сроки
Близки, как ветер у виска.

Нам эта ночь — немая карта,
Сплетенье света и теней...
Таким, какой он будет завтра,
Мы видим отчий край на ней.

Так едут, не теряя веры,
Что завтра лучше, чем вчера,—
Врачи, актеры, инженеры,
Учителя, профессора.

Давно, считая полустанки,
Они сошлись на одном:
— Жить хоть в бараке, хоть в землянке,
Но только в городе родном!

II

Все ждать и ждать — в зубах навязло,
Но путь еще не завершен:
На Сортировочной, как назло,
Остановился эшелон.

Шинель запахивая резко,
Я говорю: — Маршрут знаком:
Пять километров до Смоленска,
За полчаса пройдем пешком.

До срока явимся нежданны,
Домой путевка не нужна...
И, взглядом взвесив чемоданы:
— Ну, что ж, пойдём,— встает жена.

Окончен путь разлуки долгой...
Два года в дальней стороне
Припоминая Днепр, за Волгой
Мечтали мы об этом дне.

Он, на живую нитку сметан,
Стоял, как сон над головой.
А тут — открыл глаза, — и вот он,
Как на ладони, город твой!

Холмы, твердынь его опора,
В прозрачном воздухе видны,
И золоченый крест собора,
И башни крепостной стены.

Они все те ж, и Днепр, таковой же,
Раскинулся у их подошв,
Но проберет мороз по коже,
Когда поближе подойдешь.

Когда успеешь приглядеться,
К тому, что было и что есть,—
Увидишь мир, любимый с детства,
В обломки превращенный весь.

И ты почувствуешь всей кровью,
Как горек* черный дым войны...
Вот мы подходим к Заднепровью,
Все пережить обречены.

Я, своему не веря глазу,
Гляжу на утлый переезд:
— Нет, нет, я не был здесь ни разу,
Во сне не видел этих мест!—

От сна такого поутру бы,
Проснувшись, биться головой...
На пепелищах воют трубы,
И в дрожь бросает этот вой!

— Нет, нет, на первое свиданье
Ты не сюда меня ждала,
Веков заветные предаешь
Не здесь нам повторяла мгла.

Не здесь ты стала мне опорой,
Крутым путям моим верна...
Взойдем же на гору, с которой
Вся наша молодость видна.

Пройдем по дальним пепелищам,
И, заглянув в лицо беды,
Быть может, где-нибудь отыщем
Мы нашей юности следы.—

И вот, минуя холм соборный,
Все выше мы идем, туда —
Где нам открылся путь просторный
В те незабвенные года.

И, оглянувшись вновь оттуда,
Мы удержали! вдох с трудом,
Когда, как явленное чудо,
Увидели знакомый дом.

Тот самый дом, откуда вышли
Мы, обжитой покинув мир,
Еще не зная, сохраним ли
Тепло летучее квартир.

И непредвиденных заранее
Немало мы прошли дорог,
Но каждый в потайном кармане
Ключи заветные берег.

Людской оседлости основа,
Он спился нам, знакомый дом,
И все мы верили, что слова
К нему путем войны придем.

Вот он встает среди развалин,
Как тот корабль из мирных стран,
Что ночью к гавани причален,
Где чуть улегся ураган.

Пусть пррссветлевшая погода
Сквозной зажжется синевой...
Но — дом минирован. У входа
Стоит усталый часовой!

III

Надежней в мире нет опоры,
Чем память пережитых лет...
Работу кончили саперы —
И, значит, с дома снят запрет!

В него мы входим без оглядки,
Минутой каждой дорожа,
Бежим с площадки до площадки,
От этажа до этажа.

Я самому себе не верю
И дух перевозжу едва,
Увидев над завстней дверью
Привычный номер — двадцать два!

Он снился нам два долгих года,
В дыму войны, в пыли дорог!
Что ж ты задумалась у входа,
Переступай скорей порог!

Здесь на пути судьбы не сетуй,
Ты дома, ты в родном краю.
Быть может, здесь, за дверью этой,
Найдем мы молодость свою!

Вошла! Но как темно и сыро.
Откуда этот свет рябой?
Здесь хлев свиной, а не квартира,
Ошиблись дверью мы с тобой!

Но нет! Забыть мы не могли же
Привычный номер — двадцать два...
Ну, подойди сюда, поближе...
Постой, кружится голова!..

Ведь здесь, не ждавшие расплаты,
Войной назвавшие разбой,
Глумились пьяные солдаты
Над всем, чем жили мы с тобой!

От их зловонного дыханья
Здесь даже камень потемнел.
Мне чудится, куда ни глянь я —
Печать их каиновых дел.

Но слышишь дальний отгул грома,
То о победе нашей весть.
Разлука кончилась. Мы дома,
Над нами снова кровля есть.

Готова встречу нашим детям,
Чтоб сон приснился золотой,—
Затопим печь, огонь засветим
И озарим углы мечтой!

Длины пути войны, по веруй,
Что бесконечных нет дорог.
Врагу воздастся полной мерой
За каждый горестный твой вздох.

IV

Мой мир! Как близок и далек он,
Прожекторами озарен.
А на Запольной дом без окон
Да гроздь черные ворон!

Вороны каркают натужно
На пепелищах день и ночь.
Но нужно жить, работать нужно,
Весь этот хаос превозмочь!

На мир не глядя исподлобья,
Мы даже здесь найти должны
Хоть отдаленное подобье
Того, чем жили до войны.

Кровать поставить для ночлега,
Пристроить утлый стол, и вновь
Знать, что горит над нами Вега,
Звезда обывающихся спов.

Она напомнит, что забыто,
Что нам звучало в слове «дом»...
И собирать обломки быта
Мы утром ветренным идем.

И вскорее, радуясь находке,
Несем, пока судьба шедра,
Все, от щербатой словородки
До обгорелого ведра.

И дома хвалимся друг дружке,
Как новой тайной ремесла:
— А я нашел сегодня вьюшки,
— А я задвижки принесла!

Ну, значит, все в порядке, значит —
Дрова в печурку можно класть.
Уютно будет вечер начат,
Теплом надышимся мы всласть!

Нам даже окна застеклили,
Что б, распуская снегирей,
Сквозь серебро морозной пыли
Декабрь глядел на нас добрей!

Нам здесь совсем не одиноко.
Скупа копилка наша — пусть!
Вновь золотые строфы Блока
Я повторяю наизусть!

Те, что на фронте, в час тревожный,
Чертил я острием штыка:
— «И невозможное возможно,
Дорога дальняя близка...»

Как мог бы я без этой веры
Живую душу уберечь,
Когда лежат, от мела серы,
Места разлук моих и встреч!

И если б голос лебединый
Не уносил моей тоски,
Наверно б сердце стало льдиной
И разлетелось на куски!

А за окном бессонный город,
Где что ни шаг — то часовой;
Пржекторами мрак распорот
Настороженный, фронтовой!

Как жажда мщенья, непреложно
Пространный перечень обид,
Но видишь — первый снег положен
На раны рваные, как бинт.

По переулкам эхо вторит,
Когда за дымной пеленой
Вздыхает, разминаясь, город,
Как в жизнь поверивший большой.

Его от точки и до точки,
Сегодня так же, как вчера,
Выстукивают молоточки,
Выслушивают доктора.

И, знающие толк в ремонте,
Они давно решили тут:
— Бывает и страшней на фронте,
А люди все-таки живут!

За каждый шаг со смертью спорят,
За каждый вдох, за каждый луч.
А он ведь каменный, он город,
И потому — тройнее живуч.

Еще и сон его тревожен,
И на заре его знобит,

Но видишь — первый снег положен
На раны рваные, как бинт.

Эпилог

Огнем высокого каленья
У нас сердца обожжены.
Я знаю — наше поколеньё
Забыло запах тишины.

Но возвратится понемногу
Все, что отобрано войной.
Разлуки дальнюю дорогу
Мы вспомним, словно сон дурной

По площадям равняя знанья,
Чтоб виден был времен полет,
Все наши скорби и страданья
Художник в бронзу перельет.

Актер с подмостков театральных
Расскажет нам самим о том,
Как на путях-дорогах дальних
Мы вспоминали отчий дом.

И как, придя на пепелище
Сожженной юности своей,
Мы стали строже, проще, чище,
И мужественней, и трезвей.

Как были мы к врагам жестоки,
Как были мы друзьям верны,
И озарятся чувств истоки
До сокровенной глубины.

Пусть, слушая иные звуки,
Чем те, что нам дала война,
Прочтут в названьях улиц внуки
Героев наших имена.

И перст гранитный обелиска
Укажет в сумеречный час,
Как стало все теперь им близко,
Что было далеко для нас.

Ноябрь — декабрь 1943 г.
Смоленск

Иван Грозный

Драматическая повесть в двух частях

Посвящается Людмиле Толстой

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
 МАРЬЯ ТЕМРЮКОВНА — черкесская княжна, затем царица.
 МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ — ее брат.
 ВАСИЛИЙ — блаженный.
 ФИЛИПП — игумен Соловецкого монастыря, — затем митрополит московский.
 МАЛЮТА СКУРАТОВ.
 ВАСИЛИЙ ГРЯЗНОЙ.
 ФЕДОР БАСМАНОВ.
 КУРЬСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ }
 ВОРОТЫНСКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ } воеводы.
 ЮРЬЕВ НИКИТА РОМАНОВИЧ }
 СИЛЬВЕСТР — поп, правитель государства во время юности Ивана.
 АВДУТЯ — жена Андрея Михайловича Курьского.
 ВАНЯ }
 АНДРЮШКА } его сыновья.
 КОЗЛОВ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ.
 ШИБАНОВ.
 КНЯЗЬ ОБОЛЕНСКИЙ-ОВЧИНА ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ.
 КНЯЗЬ РЕШНИН МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ.
 КНЯГИНЯ СТАРИЦКАЯ ЕФРОСИНЯ ИВАНОВНА — тетка царя Ивана.
 КНЯЗЬ СТАРИЦКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ — двоюродный брат царя Ивана.
 ЮРГЕН ФЕРЕНСБАХ — ливонец.
 МАГНУС — принц датский.

ВИСКОВАТЫЙ }
 НОВОСИЛЬЦЕВ } дьяки.
 НОВОДВОРСКИЙ — городской воевода.
 Лекарь.
 Слуга.
 Скорморох:
 Первый бирюч.
 Второй бирюч.
 Третий бирюч.
 Первый купец.
 Второй купец.
 Третий купец.
 Первый ремесленник.
 Второй ремесленник.
 Купчиха.
 Мужик из Раздор.
 Толмач.
 ДВОЙНА — полоцкий воевода.
 Женщина с узлами }
 Ремесленник }
 Молодой шляхтич }
 Толстый пан }
 Босой монах } жители Полоцка.
 Богатая шляхтянка }
 Пожилый купец }
 Первый латник }
 Второй латник }
 Третий латник }
 Старая женщина }
 Бояре, опричники, войны, скорморохи, слуги.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Орел и орлица

Пьеса в одиннадцати картинах

Картина первая

Палата с низким крестовым сводом. Прямо на стене — живопись: юноша стоит, раскинув руки, — в одной — хлебец, из другой — течет вода, с боков его — колено-преклоненные бояре, воеводы, священнослужители и простой народ; одни ловят ртом воду, другие указывают на хлебец. Над головами — грифоны держат в когтях солнце и луну. Внизу картины изображен огонь неугасимый и мучение грешников.

В палате — с боков печи — на скамьях сидят бояре, окольные, москвовские и думные дворяне. Все без шуб, в одних однорядках, в кафтанах, у всех — посохи

и шапки в руках. Заметно, что в палате жарко натоплено. В высоком железном светильнике горят свечи. В палате три двери: прямо в стене дверь, обитая золоченой кожей, в стене направо — низенькое дверное отверстие и налево — такая же низенькая дверь.

На печной лешканке сидит князь Михаил Решнит, с тощей бородой, редкими волосами по плечи. Справа от него на лавке сидит князь Дмитрий Оболенский-Овчина, лет под пятьдесят, тучный, и зверовидный, с красным лицом, изломанными бровями.

У правой двери, откуда из соседней па-

латы льется свет свечей, стоит молодой князь Андрей Михайлович Курбский, у него суровое, правильное лицо, курчавая темная борода, выбритая на подбородке, щегольские усы, одет он в длинный темный кафтан, в сафьяновые сапожки с сильно загнутыми носами. Он прислушивается к тому, что происходит в соседней палате.

Из глубины через палату в правую дверь, мимо Курбского, проводят под руки древнего старика в посконной рубахе, в новых лалтях. Старик идет, будто ушибається, лицо поднято, рот разинут.

РЕПНИН. Колдуна повели.

ОБОЛЕНСКИЙ. Ничего теперь не поможет. Соборовать надо.

РЕПНИН. Омыть да в гроб. А гроб-то забыли сделать. Ах, ах, слава земная: Казанское царство покорил, Астраханское царство покорил, а в смертный час гроба некому сколотить. Господь-то мог бы помочь, да, видно, не захотел.

ОБОЛЕНСКИЙ. Не дал, не дал господь ему покняжить. Волченек, весь в отца, а лучше сказать — в деда. Да и весь-то род Ивана Калиты — скаредный, кровопийственный. Покняжили, напились человеческой крови, теперь запустеет род Ивана Калиты... Аминь. (Живо обращается к боярам.) Вот, князь Андрей Курбский — прапрадед его кто? Святой Ростислав, третий сын великого князя Мстислава; а он, Андрей, как холод, стоит у двери... А род Ивана Калиты — от последнего, от младшего сына Мономаха, от Юрия Долгорукого... Милые мои! Юрию дали Москву в удел. В те поры в Москве дворов-то всего десятков было худых да тын гнилой на ручье Пеглинном. Бязю Юрию зипунички крашеного не на что было купить. Поставил он на реке Яузе кабак, на Мытищах другой кабак — торговать хмельным зельем, брать с купцов десятую деньгу. С того он, Юрий, и Долгоруким прозываться стал, что руки были долги к чужой мошне.

РЕПНИН (начинает трястись от смеха). Подарил, подарил...

КУРБСКИЙ. Не смеяться, князья, ризы разорвать, рыдать нам бог повелел...

ОБОЛЕНСКИЙ. Рыдать? Нечем. Слез-то нет, высохли, князь Андрей Михайлович.

РЕПНИН. Далее что же про род Ивана Калиты?

ОБОЛЕНСКИЙ. С тех пропойных денег и пошел сей худой род. В Золотой Орде ярлык купил на великое княжение! Мимо старших-то родов! Иван Третий, дед этого волченка, зная свою худость, в

жены взял византийскую царевну, чтоб ему от императоров греческих крови прибыло... И бороду сбрил себе. Да не быть Москве третьим Римом, не быть этому! От голи кабацкой Москва пошла, голью и кончится.

РЕПНИН. Церковь близко, да итти склизко, кабак далеко, да итти легко.

Из соседней палаты выходит лекарь, немец в черном коротком платье, на котором нашиты астрологические знаки. Вынимает платок, подносит к глазам.

КУРБСКИЙ. Ну, что? — скажи лекарь...

ЛЕКАРЬ. Хофнунгслос.

КУРБСКИЙ. Без надежды?

ЛЕКАРЬ. Готт аллейн кан им хельфен.

КУРБСКИЙ. Он жив еще? Слышу, стонет, вскрывается...

ЛЕКАРЬ (махнув рукой). Пускай царю русский колдун поможет. (Уходит в дверь, что в глубине палаты.)

РЕПНИН. Собака, пехристь! Прошел, и дух от него скорбный.

ОБОЛЕНСКИЙ. Не быть Москве деспотом. От Владимира святого и по сей день навечно господь поставил княжить на уделах князей Ростовских, Суздальских, Ярославских, Шуйских, Оболенских, Репнинских.

РЕПНИН. Стой, князь Оболенский-Овчина! Не хочу тебя слушать. (Боярам.) Незначай; в пустой речи, ишь ты, место наше утянул, Оболенские, а потом Репнины. Мы, Репнины, от Рюрика — прямые. И мои племянники твоему второму сыну в версту.

ОБОЛЕНСКИЙ. Твои племянники ровня моему сыну? Слезь с печи, я сяду, а ты постой — у двери.

РЕПНИН. Это я слезу, тебе место уступлю?

ОБОЛЕНСКИЙ. Слезешь, уступишь.

РЕПНИН. Ах, вор! Ах, собака!

Входит Сильвестр, высокий, сутулый, престный, с пристальными глазами, одет в широкую лиловую рясу.

СИЛЬВЕСТР. Бязья, местничать-то наши бы палату где-нибудь укроем, подалее. Государевой душе покой дайте.

КУРБСКИЙ. Сильвестр, поди послушай...

СИЛЬВЕСТР. Гончается государь?

КУРБСКИЙ. Хрипит так-то страшно... Как брат он мне был, вместе книги читали при восковой свече. Ради славы его тело мое изъязвлено рапанп. И все то червям могильным брошено... Ум мутится.

СИЛЬВЕСТР. Смутны твои речи, князь Андрей... От тебя жду, чтобы ты был тверд. (Нагнувшись, шагает в дверь, ведущую в соседнюю палату.)

ОБОЛЕНСКИЙ (Репнину). Слезь! Ай за бороду стащить?..

РЕПНИН. Эй, Митрий, я вцеплюсь — не оторвешь тогда...

Сидящий среди бояр игумен Соловецкого монастыря Филипп — строгий, истощенный постами человек лет шестидесяти, в узкой рясе с заплатами, поднял посох и стукнул о дубовый пол.

ФИЛИПП. Аки бесы бесовствующие, псы бешеные, лаетесь из-за места на печи. Князя удельные, умалилась ваша гордость, привычась лизать царские блюда. Быть вам холопами царя Московского.

ОБОЛЕНСКИЙ. Боже мой, малый на великих глас поднял!

РЕПНИН. Не кричи на нас, Филипп, ты хоть и Болычев, да место свое знай. Мы перед тобой — не на исповеди в Соловецком монастыре То-то!

Из соседней палаты появляется Сильвестр, нахмурен, решителен.

СИЛЬВЕСТР. У государя уж пена на устах... П ворожба не помогла. Очнулся царь Иван и вымолвил одно слово: «Крестопцелование». Князья, бояре московские, и думные дворяне, и ты, игумен Филипп, думайте, — час дорог: кому будете целовать крест на царство? Сыну царя Ивана, младенцу, за конем стоит весь род дворян московских Захарьиных, не любимых нам, да Воротыцкие, да Юрьевы... Или крест целовать двоюродному брату его, князю Старицкому, Владимиру Андреевичу, который живет и думает по отчей старине?

ОБОЛЕНСКИЙ. Себе! Крест на княжение каждый себе будет целовать, чтобы каждому на вотчинах своих сидеть и государить, отныне и навечно.

СИЛЬВЕСТР. Князь Дмитрий Петрович, любил слово не сказанное, бойся слова сказанного. Я бил челом княгине Ефросинье Ивановне, смиренно просил ее с сыном, князем Старицким, Владимиром Андреевичем, прийти к нам на совет и думу.

РЕПНИН. Думать нам не долго. Князь Старицкий кроток и старину почитает, пусть сидит на Москве царьком.

СИЛЬВЕСТР. Князю Старицкому первому крест целовать, пусть он нас и рассудит в нашем великом смущении.

ОБОЛЕНСКИЙ. Князь Старицкий пойдет ко кресту по своему месту — одиннадцатым.

РЕПНИН. Истинно так.

ОБОЛЕНСКИЙ. И первому итти мне.

РЕПНИН. Тебе?

ОБОЛЕНСКИЙ. Мне.

РЕПНИН. Место твое седьмое.

ОБОЛЕНСКИЙ. Чего? Чего? Ах, собачий сын, досадник! Дайте мне разрядную книгу, вон в печурке лежит.

Один из бояр встает, отсунив сверху рукава, обеими руками с бережением берет из печурки большую книгу, в коже с медными застежками и подает ее Оболенскому. Тот так же отсывает рукава и сев на скамью, отстегивает застежки, раскрывает книгу и, мусья палец, медленно листает ее. Курбский подходит к Сильвестру.

КУРБСКИЙ. Поп, ты сам-то тверд?

СИЛЬВЕСТР. Господь меня не вразумил еще: и так и эдак. Что лучше для твердыни власти? Скорблю, плачу, лоб разбил молясь.

КУРБСКИЙ. Издревле в великокняжеской избе собирались удельные князья с великим князем, как единокровные, как равные, думали и сказывали, — войну ли, мир ли. За такое благолепие целую крест.

СИЛЬВЕСТР. Ты — непобедимый воевода, будь смел, скажи про древний-то обычай князьям и боярам, тебя послушают.

КУРБСКИЙ. Клятву дал царю Ивану на том, чтобы его сыну помочь возвысить царскую власть — по примеру византийскому, примеру императоров римских. Ужаснулся я, но дал клятву. Поп... В силах тебе клятву мою разрешить? Разорвать ее, как грамоту кабальную?

СИЛЬВЕСТР. Клятву разрешает бог да со-
весть... А я червь малый.

Входит княгиня Ефросинья Ивановна Старицкая с сыном. Она тучна, в широких одеждах и в накинутаой шубе темного шелка, голова и щеки ее туго обвязаны золотоканнм платом, в руке посох, другой рукой она держит за руку сына Владимира Андреевича; ему лет под тридцать, он среднего роста, нежный, с блуждающей улыбкой. За Ефросиньей — дьяк с кошельком.

ЕФРОСИНЯ. Преставился? Помер?

РЕШНИН (сполз с лежанки, поклонился и опять сел). Будь здорова, матушка Ефросинья Ивановна. Нет, не помер еще, томится и нас томит.

ЕФРОСИНЬЯ. Что за напасть! Третьи сутки не спим, не едим... Кто его душу держит? Уж не когтями ли? Чего ж она не летит ко господу? А я уж поминки принесла. Как быть-то? (Дьяку.) Иванко, отдай кошель игумену Филиппу, он раздаст, кому надо. Сына моего привела к вам, князья и бояре. Владимир, сядь на печь. Князь Михайло, уступи место сыну моему.

РЕШНИН. Ефросинья Ивановна, не утягивай моего места.

ГОЛОСА БОЯР. Не надо, не надо.

ОБОЛЕНСКИЙ (показывая книгу). Ты вот с чего начинай, Ефросинья Ивановна, с нашей чести.

ЕФРОСИНЬЯ. Сядь, Володимир.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Матушка, я еще молод, перед старыми людьми постоять — отечеству моему порухи большой не будет.

ОБОЛЕНСКИЙ, РЕШНИН и ДРУГИЕ БОЯРЕ. Добро, добро, добро!

ЕФРОСИНЬЯ. Будь по-вашему. Володимир, стой без места. Пришли мы сказать вам, князья и бояре, что ни я, ни Володимир, сын мой, целовать креста иванову сыну не хотим... Хоть голову на плаху.

ГОЛОСА БОЯР. Добро, добро!

ЕФРОСИНЬЯ (указывая на дверь). При его, Ивана, малолетстве давно ли ваши головы летели прочь, на Москве Шуйские да Глинские ваши дверы разбивали, шубы с ваших плеч обдирали. Опять того ж хотите? Нужен вам вот какой царь: ты ему шепнул в ухо, или ты шепнул. А царь-то кротек, милостив, царское ухо приклончиво. У тебя, князь Ухтомский, али у тебя, князь Масальский, вотчины-то захудали, обезлюдели. Ай, ай, бедные! На то ж царская казна, чтобы своим подсобить. Шепнул — глядь, и опять зажил на вотчине волостелем... Плавай, как блин в масле.

ГОЛОСА БОЯР. Добро, добро!

ЕФРОСИНЬЯ. Филипп, а ты раскрой кошель, не стылись. Кто возьмет хоть рубль, хоть пятьдесят рублей — я на том памяти не беру.

Входят Михайло Иванович Воротынский и Никита Романович Юрьев — воеводы. Воротынский — с умным, открытым и суровым лицом. Юрьев — средних лет, дородный.

С чем, воеводы, пришли?

ВОРОТЫНСКИЙ. А тебе, матушка Ефросинья Ивановна, надо бы сначала поклон вести по-ученому да вперед меня слова не мовить.

ЕФРОСИНЬЯ. Ох, князь Воротынской, ты, чай, не в поле, на коне, а я не татарин. Как напужал.

ЮРЬЕВ. Государыня, выдь в сени, послушай: Москва гудит, как бы чего не вышло. Люди царя Ивана любят.

ЕФРОСИНЬЯ. И ты с ними заодно?

ВОРОТЫНСКИЙ. Мы с Никитой Романовичем Юрьевым пришли крест целовать сыну царя Ивана. Служили царю Василию и царю Ивану, и сыну его будем служить своими головами. А ты, Владимир, не хоронись за материнский подол, служить тебе не хочу... А придется — и драться с тобой готов.

ЕФРОСИНЬЯ. Холоп! Смерд смордящий! Вор! Шпынь ненадобный! Как у матери твоей утробу не разорвало!

ВОРОТЫНСКИЙ (отталкивая ее). Пошел молоть бабий язык!..

ЕФРОСИНЬЯ. Видели? Убил, убил меня!.. Что же вы... Бояре!

Сидящие в палате залпумель подыались с лавок.

ОБОЛЕНСКИЙ (наседая). Воротынской, Воротынской... За чьи деньги крест целуешь?

РЕШНИН. Захарьевых да Юрьевых денежки. Хриstopродавец!

ОБОЛЕНСКИЙ. Мятужники!

ЕФРОСИНЬЯ. Ободрать обоих да выбить прочь!

РЕШНИН. Их ко святому кресту нельзя допускать. Юрьев, крошки мясные с бороды смахни, пост ведь.

ЕФРОСИНЬЯ. Псарям их отдать! Псарей зовите! Псарей!

КУРСКИЙ (громким голосом). Царь! Царь Иван!

В правой двери появляется царь Иван. На нем длинная белая холщевая, будто смертная, рубаха. Он высок ростом, плечи его подыаты. Лицо его с горбатым, бсыпшим носом, с остекляевшими глазами, пылает и все широкит.

ИВАН. Кого псарям кинуть? Терзать чье тело? Меня кинуть псарям? Сына моего, младенца, из колыбели взять — псарям, псам на терзание? Настасью, жену, волшебой извели... Меня с сыном, сирот горьких, заживо хороните? Не вижу никого... Свечей зажгите. (Идет к светцу, берет несколько

свечей, зажигает, вставляет в светец. Голова его кружится, ноги подкашиваются, он садится на лежанку.) Сильвестр, светец души моей! Ты здесь? Не откликается. Придешь, когда третьи петухи закричат. Воротынский, князь Михайло. Подойди ко мне, стань о правую руку. Никита Юрьев, пришел крест целовать? Я тебя любил. Стань о левую руку. (Нагнув голову, покачиваясь, разглядывает лица, и они, видимо, плывут в глазах его.) Уста жаждут, губы высохли, язык почернел... Пустыня человеческая суха... Душа моя еще здесь, с вами, а уж горит на адском огне злобы вашей. (Опять, вскинув голову, глядит.) Курбский, ты здесь? Подойди ко мне, друг. Дай испить последний вздох любовной дружбы.

Глаза всех устремляются на Курбского. Он шивает шудрявой головой и подходит к Ивану.

КУРБСКИЙ. Дай на руки тебя возьму, отнесу в постелю.

ИВАН. Вынь меч. Сей час нужен меч! (Увидев протискивающегося к нему Сильвестра.) Гряди ко мне, гряди, поп...

СИЛЬВЕСТР. Молюсь я, государь, и господь тебя возвиг. Велико милосердие...

ИВАН (исказившись, встает во весь рост, бешеным движением срывает крест с груди Сильвестра. Протягивает крест перед собой). Целуйте крест по моей близкой смерти — сыну моему... На верность государству нашему... Володимир, подойди первым... Ефросинья, подводи сына.

Бояре в сматчании. Все молча придвигаются к Ивану.

Картина вторая

Там же. У дубового стола, с одного края, сидит Сильвестр и пишет, положив бумагу на колени. Около лежат свитки грамот и книги. Другой конец стола покрыт полотенцем, там стоят солонка, чашка с квасом, ковчиг и на деревянной тарелке хлебец. Входит Филипп, смиренно кланяется. Сильвестр встает и низко кланяется.

СИЛЬВЕСТР. Садись, Филипп... Что поздно пришел?

ФИЛИПП. Живу далеко, на подворье. Шел пеший. Зачем ко мне послали? Зачем понадобился царю?

СИЛЬВЕСТР. Не знаю.

ФИЛИПП. Царь, говорят, смирён?

СИЛЬВЕСТР. Смирён... Ужаснулся смерти. Она, проклятая, бездну разверзла перед его очами, в тьме смрадной все грехи свои прочел... Как встал от одра болезни, наложил на себя сорокадневный пост.

ФИЛИПП. Дешево свои грехи ценит.

СИЛЬВЕСТР. Строг ты, Филипп... А здесь язык надо бы прикусить.

ФИЛИПП. Чего государь держит меня в Москве? Проелся я на подворье. Впору милостыню просить. Домой хочу, на Соловки...

СИЛЬВЕСТР. Чай, на Москве каждый боярский двор тебе родня. Только постучись в ворота.

ФИЛИПП. Не вместно это мне.

СИЛЬВЕСТР. Гертыня колычевская — вот где у тебя щель, Филипп.

ФИЛИПП. Ты, поп, знай свое место! Щип на мне ангельский.

СИЛЬВЕСТР. Прости.

ФИЛИПП. Царь, говорят, войну новую затевает?

Сильвестр продолжает писать.

Мало ему вдов горемычных, мало ему сирот... Нужна ему потеха кровавая... С Ливонией война, что ли?

СИЛЬВЕСТР. Не быть этой войне... И казны у нас нет, и лето было дождливое, весь хлеб сгнил, людншки и без того мрут... Бояре стеной супротив войны стали.

ФИЛИПП. Это хорошо. Жить надо тихо. Пчела ли зазвенит, или птица пропела — вот и весь шум. Да бей себя в перси не переставая, кайся... Вот как жить надо.

СИЛЬВЕСТР. Войны не допустим.

Слышен заунывный звон колоколов. Сильвестр встает.

Поди, Филипп, посиди в сенях. Царь спросит — я тебя скалчу.

Филипп уходит налево. Из двора в глубине выходят Иван и блаженный Василий. У Ивана темная борода и усы выделяются на бледном лице. Он в смиренном платье. Блаженный Василий — согнутый старичок в рубище.

ИВАН. Входи, входи, блаженный, не бойся... (Сильвестру.) На паперти, — вы-

шел я, народ раздался, пропустили ко мне блаженного... Он мне: «Царь, царь, на денежку...» И подает мне милостыню. (Показывает.) И люди все закричали: «Василий блаженный царю денежку подал».

ВАСИЛИЙ (оглядывая в палатку). Высоко живешь, родимый... Солнце красное, месяц ясный, звезды частые — все твое... Красно, пестро... Могучий наш-то... Ай, ай, ай... Наш-то-о, хо-хо.

ИВАН. Пожалуй меня, блаженный, откушай со мной хлеба.

ВАСИЛИЙ. Ох, как бы твой кусок на моем горбу не отозвался, ты ведь хитрый.

ИВАН. Грешен, грешен, хитрый, двоемысленный.

ВАСИЛИЙ. Ну, врешь, ты умный. (Садится.) Ты гордый.

ИВАН. Грешен. (Домает хлеб.) Прими для бога. Посоли покрепче. Я ем хлеб несоленый.

ВАСИЛИЙ. Я соль люблю. Дорого соль продавать, родимый. Слезамн куски-то солим.

ИВАН. Соль ныне будет дешева.

ВАСИЛИЙ. Дешева? О-хо-хо... Соль дешева! Ой, врешь!

ИВАН. Я сказал.

ВАСИЛИЙ. Ты меня не обманывай... Я ведь все расскажу людям.

ИВАН. Блаженный, ты на что мне денежку подал?

ВАСИЛИЙ. А я — дурак, я не знаю.

ИВАН. Ты меня давно на паперти поджидаешь. Мне все ведомо. Скажи.

ВАСИЛИЙ. Боюсь вон энтото.

ИВАН. Это — поп. Духовник мой.

ВАСИЛИЙ. Духовник! А под рысой хвост у него...

СИЛЬВЕСТР. Государь, прикажи меня не срамить всякому юроду...

Иван ударил руками о стол и засмеялся.

Этот Васька — вор на Москве известный, черный народ дурачит, бегает по площадям, по торговым рядам, нашептывает на добрых людей... Каждую ночь с кабацкой теребенью пьян валляется по кабакам.

ВАСИЛИЙ. Обидели.

ИВАН. Не ругай его, Вася — мудрый. (Гладит его по голове.) Не пужайся, я в обиду не дам... Скажи, зачем денежку дал?

ВАСИЛИЙ. Мне люди велели... Подай, сказали, царю денежку — мимо бояр.

ИВАН. Мимо бояр? Так сказали?

ВАСИЛИЙ. О-хо-хо...

ИВАН. А на что мне денежка?

ВАСИЛИЙ. Царь воевать собрался, ему денежка пригодится.

ИВАН. Сильвестр, слушаешь?

СИЛЬВЕСТР. Слушаю, государь.

ИВАН (блаженному). С кем я воевать собрался?

ВАСИЛИЙ. О-хо-хо...

ИВАН. Что люди говорят? (Взял его за плечи, притянул.) Скажешь?

ВАСИЛИЙ. Какой ты грозный... Я уйду лучше... Пусти.

ИВАН. Что на Москве шепчут?

ВАСИЛИЙ. Сам догадайся, родимый, сам... сам...

Иван оставляет его, стремительно встает и уходит в правую дверь.

СИЛЬВЕСТР. Вор, сукий сын, рвань подворотная!.. Язык тебе отрежу!

ВАСИЛИЙ. Ой, ой! А я ничего не вымолвил... Не режь мне язык, поц, — без языка я страшнее буду.

Иван возвращается с шапкой, полной денег, подает ее Василию.

ИВАН. Шапку прими в дар, милостыню раздай людям, кои ко мне с любовью.

ВАСИЛИЙ. Денежек полный козпак!.. О-хо-хо...

ИВАН. Иди с миром.

ВАСИЛИЙ. Преклони ухо. (Шепчет ему на ухо.)

Иван бриво усмехается.

Вот как на Москве говорят: наш-то Иван — большая гора.

Василий Блаженный уходит. Иван, нахмуренный, садится у стола.

СИЛЬВЕСТР. Государь, бояре ближней думы тебя ждут, съехались давно... Ты велел приготовить грамоту к великому магистру ордена Ливонского. Грамоту я набело переписал. Сам будешь читать в думе или прикажешь мне?

ИВАН. Пусть бояре ждут. А скучно станет — пусть едут по дворам.

СИЛЬВЕСТР (страсно). Зачем отсекаешь ветви древа своего? Зачем кручину возвел на ближних своих? Чем тебя прогневили? Чем не угодили? Между князей, бояр — верных слуг — стоишь ты, как сосуд пресветлый в облаках фимнама славословия...

ИВАН (с усмешкой). В облаках фимнама суетловия и празднословия.

СИЛЬВЕСТР. Ум твой стал, как щелок и уксус. Где смирение твое, где кротость?

Каким еще несътством горит твоё сердце? К совету мудрых ухо твоё стало непреклонно, гневно липо твоё даже и во смирении... Ты — победитель, как Иисус Навин, рукой остановил солнце над Казанью и месяц над Астраханью... Все мало тебе... Жить тебе в кротости да тихости, как бог велел... Ты ж замыслил новую потеху кровавую... И уже ты страшисься совета мудрых...

ИВАН. Молчи поп! Не вводи меня в грех... Не подобает священникам царское творить... Филипп пришел?

СИЛЬВЕСТР. В сенях ждёт.

ИВАН. Поди позови.

Сильвестр уходит. Иван берет одну из грамот, читая, качает головой. Присев к столу, пододвигает медную чернильницу, выбирает перо, вытирает кончик об кафтан и начинает черкать грамоту и надписывать. Из левой двери входит Федор Басманов — красивый, ленивый юноша с женскими глазами.

Чего тебе?

БАСМАПОВ. Посланный твой Малюта Скуратов прибыл из Пскова. Ждет. Я ему сказал, чтоб шел в баню, уж больно череп с дороги-то.

ИВАН. Зови, зови...

БАСМАПОВ. Воля твоя.

ИВАН (вслед ему). Федька!.. Скажи, чтоб дали фряжского вина да еды скоромной.

БАСМАПОВ. Скажу. (Уходит.)

ИВАН (продолжая писать). Ах, поп, поп... Все перекрыл, елеем смазал.

Входит Малюта Скуратов — широкий, красный, со включенной бородой, в валенках, в дорожном сермяжном кафтане. Кланяется в пояс: Иван встает и обнимает его.

Малюта... Друг, здравствуй на много лет!

МАЛЮТА. Тебе на много лет здравствовать, Иван Васильевич!

ИВАН. Ты вовремя приехал. Я здесь — один, ровно как в заточении, меж лютых врагов моих... Видишь, в смирном платье: смирение на себя положил, чтоб псы-то притихли до времени... Тогда, в смертный час, все понял, все увидел, — у человекoв сердца стали явны в груди их, черны, алчность злобную источая...

МАЛЮТА. Что ж Сильвестр твой?

ИВАН. Сильвестр мне более не помощник... Он — с ними... Позавчерась в думе говорю: несносно нам более терпеть обиды от магистра ордена Ливонского, от немецких рыцарей, от польского короля

да литовского гетмана... Куда там! Думные бояре уперлись брадами в пупы, засопели сердито... Собацкое собрание! Князь Ухтомский отвечает: «Нет-де между нами единения, чтоб начипать войну с Ливонией, то дело несбыточное...» Князь Оболенский-Овчина предерзостно говорит мне: «Сидели-де мы века смирно, бог нас за то возлюбил, все у нас есть — сыты, а ты, царь, по младости лет, жить торопишься...» Я и те слова стерпел... Ибо яда и книжала боюсь...

МАЛЮТА. Что напраслину говоришь на себя, — тебе ли бояться, государь... Ты орел!..

ИВАН. Верные люди нужны для замыслов моих... Тогда обид мне не терпеть...

МАЛЮТА. А я тебе, Иван Васильевич, обиду новую привез, горше прежних...

ИВАН (удивленно, настороженно). Это хорошо. Это — радость. Кто еще нас обидел?

Входят Федор Басманов и слуги с едой, питьем, миской для мытья и полотенцем.

БАСМАПОВ (слугам, держащим миску, кувшин и полотенце). Приступите к нему, кланяйтесь.

МАЛЮТА (Ивану). Ты послал Ганса Шлитена в германские города сведать и промыслить добрых людей, искусных в ремеслах, в пущечном и литейном деле, в зодчестве... (Обернувшись к слугам, сурово). Отстаньте. Идя к парю, я руки мыл.

БАСМАПОВ (слугам). Приступайте ближе, кланяйтесь ниже.

МАЛЮТА (покачав головой, засучивается, моет руки). Ганс Шлитен двести семьдесят добрых искусников нашел и отправил их через Ревель в Москву. (Махнув на слуг.) Идите прочь.

БАСМАПОВ. Государь, стол накрыт, — фряжское вино и еда скоромная, перец, укус, мушкатный орех...

ИВАН. Садись, ешь, пей, Малюта.

БАСМАПОВ. Мне быть кравином аль уйти?

ИВАН. Налей вина ему и мне.

БАСМАПОВ. Тебе грех пить, государь, Сильвестр заругает.

ИВАН. Федька, ударю.

БАСМАПОВ. Воля твоя.

МАЛЮТА (садится за стол). Панятых по твоему приказу искусников и ремесленников — двести семьдесят добрых людей — в Ревеле на морском берегу били, и платье на них драли, и велели

им опять сесть на корабль и плыть обратно, в Любек.

ИВАН. Но чьему приказу была обида моим людям?

МАЛЮТА. По приказу великого магистра Ливонского ордена рыцаря Фюрстенберга.

ИВАН. Ну что ж, это — радость.

МАЛЮТА. По его же письму в городе Любеке твоего верного слугу Ганса Шлитена заковали в железо и посадили в яму.

ИВАН. Радость мне привез... Ну, что ж... Будем и мы в решении тверды! (Взял нож и вдруг с диким криком всадил его в стол.)

БАСМАНОВ (обернулся к нему, блуждая улыбка). Давно бы так. А то все — бivas да хлеб без соли...

МАЛЮТА. Государь, уже не хотел тебя кручинить. Слушай! Из Ливонии перебежчики мне сказывали, в Ревеле великий магистр после обедни говорил рыцарям гордые слова: — московскому-де войску только на татар ходить, а против нас, рыцарей, оно слабо, пусть к нам сунутся москвиты — мы их копейными древками до Пскова и до Новгорода погоним.

ИВАН. Дурак!.. Чего меня гневишь? (Закрывает лицо рукой, встает и — уже спокойный — подходит к аналою, где прикреплена свеча и лежит книга. Страстно втиснув пальцы в пальцы, взглядывает на образ... Глаза его снова возгораются, он оборачивается к столу.) А вам, собакам, то и потеха, то и радость, что огонь из глаз моих и речи с языка несвязные. (Возвращается к столу.) Гнев ум туманит, то-то вам веселье, бесам. (Наливает себе вина.) А нож всадить надо бы в тебя было, Малюта. Впредь остерегайся разжигать мой гнев, я костер большой, опалю. (Жадно пьет.)

БАСМАНОВ. Откушай, государь, на голодное брюхо захмелеешь...

ИВАН. Поди, скажи думному дьяку, что с боярами говорить буду завтра... Пусть съедутся до завтра.

Басманов уходит. Иван разрывает грамоту, которую только что написал, подсаживается к Малюте.

Тебе отгроюсь... Тому пятьсот лет, как прародитель наш, князь Святослав киевский, объехал на коне великие гра-

ницы русской земли. Нерадивы были правнуки его, измельчали землю, забыли правду. Один род Ивана Калиты ревновал о былом величии. Ныне на меня легла вся тяга русской земли... Ее собрать и, вместо скудости, богатство размыслить. Мы не беднее царя индийского, бог нас талантами не обидел. О нашей славе золотые трубы вострубят на четыре стороны света... А я, убогий и сирый, мечусь в этой келье... Душно мне, душно, Малюта...

МАЛЮТА. Бог тебе дал ум, и талант, и ревность великую. А уж мы — слуги твоей — не поленится, подсобим...

ИВАН. Мало, мало... Мне — мудрость змия, лисы лукавство, свирепство пардуса и члены его... Магистр Фюрстенберг гордо сказал немецким рыцарям: русских одними копейными древками погоним в дремы лесные да степи песчаные, врагам на съедение... Так они хотят, чтоб с нами было, хотят и на Неметчине, и в Польше, и в Литве. Так не будет... Казань и Астрахань — начало... Коней наших будем поить в Варяжском море, где я захочу! Малюта, не мешкая, надо взять пшеничное зелье, свиноец, солонину и сухари в Новгород и Псков, ставить ратные запасы близ украин литовской и польской... Новгородским кузнецам — ковать ядра для великих стенобитных пушек... Пошлешь в Казань за войлоком — пить ратникам теплей, в Астрахань пошлешь за добрыми татарскими луками...

МАЛЮТА. Так и впрямь — война, государь?

ИВАН. Язык свой прибер к небу гвоздем... А я покуда боярскую неохоту буду ломать. В Ливонию поведет войско Андрей Курбский... Я сам пойду на Полоцк, доживать нашу древнюю вотчину.

Входят Сильвестр и Филипп.
(Сильвестр с недоумением глядит на скромное зелье и вино.)

СИЛЬВЕСТР. Государь, ты ел сие и пил?

ИВАН. Бес понучал... Уж как-нибудь отступу лбом грехи-то... Будь здоров, Филипп, садись.

ФИЛИПП. С тобой не сяду.

ИВАН. Ну, сядь на лежанку, оттуда скромного не слышно. Ах, ах, постыдное пребывание! Как птица — не сей, не жни и в житницу не собирай... Ушел бы я к тебе в монастырь, Филипп, скуфеечку бы смирную надел, — так-то мило, в унижении, и просветел бы.

ФИЛИПП (грозит пальцем). Гордыня!
ИВАН. Куда податься-то, Филипп? Душу свою надо положить за други своя, не так ли? А друзей у меня от Уральских гор до Варяжского моря, все мои чады. Вот и рассуди меня камим с собой. Душонку свою скаредную спасу, а общее житие земли нашей разорится. Хорошо или нет мимо власти царствовать? На суде спросят: дана была тебе власть и сила — устроил ты царство? Нет, отвечу, в послушании и кротости все дни в скуфеечку проплакал. Хорошо али нет?

ФИЛИПП. Плачь, плачь, Иван. В грехе рождаемся, в грехе живем, в грехе умираем. Дьявол возводит нас высоко, и мир пестрый, как женку румяную, трешную, ряженую, показывает нам. Хочешь? Нет, отыди, не хочу! Глаза свои выну, тело свое раздеру.

ИВАН. Спасибо, Филипп! Странный такой ты мне и нужен... Хоту, чтоб ты сел в Москве на митрополичий престол.

(с ужасом замахал на него руками). Отступи, отступи!

Не пней на меня, я не дьявол, митрополичий престол — не ряженая девка.

Малюта засмеялся. Все обернулись к нему.

МАЛЮТА. Филипп, не берись с государем спорить. Мы из Неметчины привозим спорщиков, преславных лютеранских попов, и тем он рот запечатал.

ФИЛИПП (страстно). Отпусти меня с миром, Иван Васильевич, дай умереть в тишине.

ИВАН. Власть тебе даю над душами человеческими. Терзай их, казни казнями, какими хочешь. В Москве, знаешь, как живут бояре? Нц бога, ни царя не боягся. В мыслях — вероломство, измена, клятвопреступление... Угодие плоти и содомский грех, обжорство да пьянство... В храме стоят, пальцами четки перебирают, ая по четкам-то они срамными словами бранятся. Бй-ей! Сам слышал. Бери стадо, будь пастырем грозным.

Филипп заплакал. Сильвестр кашлянул в руку.

СИЛЬВЕСТР. Слаб он, государь, власть не под силу ему.

ИВАН. А меня, помазанника божия, яко младенца неразумного, держать посылно

вам было? А ныне зову доброе и пужное творити, — у вас уж и сил нет? Опведи его в митрополичьи попов, пусть поспит, а наутро подумает. Уходите оба с глаз моих.

СИЛЬВЕСТР. Идем, Филипп.

ФИЛИПП. О, печаль моя!

ИВАН. Веди его бережно.

Филипп и Сильвестр уходят.

МАЛЮТА. Спасибо за хлеб-соль, Иван Васильевич. Пожалуй, — отпусти меня домой. В баню сходить с дороги, да жену, вишь, не видал полгода...

ИВАН (внезапно, обращиваясь). Кого не видел?

МАЛЮТА. Жена у меня молодая... Ждет, чай, соскучилась, коли дружка не завела...

ИВАН (глаза его становятся пустыми, темными, напряженными). Меня не ждет жена... На жесткой лавке сплю. Не ладно одному, не хорошо... Вечер долог, сверчки в щелях тоску наводят. Возьмешься читать, — кровь шумит, и слов не разбираю в книге. Виденья приступают бесовские, бесплотные, но будто из плоти...

МАЛЮТА. После смерти царицы! Анастасья срок положенный прошел. Ожениться надо тебе, государь.

ИВАН (резко). Иди... Отнеси поклон твоей государьне. Иди!

МАЛЮТА. Спасибо, государь! (Уходит.)

ИВАН (один). Жена моя, Настасья, рано, рано оставила меня. Лебедушка, голубица... Лежит в сырой земле, черви точат ясные глаза, грудь белую, чрево твое жаркое... Холодно оно, черно, прах, тлен... Смрад... Что осталось от тебя? Высоко ты. Я низко. Жалей, жалей, если ты есть. Руки мои пусты, видишь? Лишь хватают виденья ночные. Губы мои запеклись. Освободи меня, ты — жалостливая... Отпусти...

Идет к столу, наливает вина, оглядывается на дверь.

Кто там?

Входит Басманов.

БАСМАНОВ. Прости, побоялся войти, слышу — говоришь сам с собой. Дьяк Висковатый прибежал с посольского двора, рассказывает — великие послы приехали.

ИВАН. Откуда?

БАСМАНОВ. Из Черкесской земли.

ИВАН. Сваты?

БАСМАНОВ. Сваты. Два князя Темрюковичи.

Пришли по твоей грамоте. Полсотни аргамаков привели под персидскими селами, гривы заплетены, хвостами землю метут. Наши хотели отбить хоть одного, украсть. Драка была с черкесами. И княжна Темрюковна с ними же. Висковатый сказывал: чудная юница. В штанах широких дёвка, глаза больше, чем у коровы, наряжена пестро — чистая жар-птица.

ИВАН. Беги на посылский двор. Скажешь князьям: государь-де велел спросить о здравии, да с дороги ехали б ко мне ужинать, просто, в простом платье. Тайно. Бояр-де не будет, один я. О сестрой бы ехали, с княжной. Мимо обычая.

БАСМАНОВ. Воля твоя.

Картина третья

Там же. Много зажженных свечей. За дверью, что налево, играют на деревянных дудках. Из двери, что в глубине, входят скоморохи. Они в заплатах кафтанах, в вывороченных шубах, некоторые в овечьих, в медвежьих личинах, с гуслиями, с бубнами. Войдя, они заробели, застыдилились, озираясь крестясь на углы.

Расталкивая их, проходят слуги с блюдами, с ендовами. Скомороший староста, кудрявый, чернобородый, хитрый мужик, говорит скоморохам:

СКОМОРОХ. Посторонитесь, посторонитесь, ребятунки! Дай слугам пройти... Ну что, все ли тут, все ли живы?... Ой, страшно. Как его будем тешить, чем его потешать? (Услышал дудки.) Слушайте, слушайте... Вон его тешат-то чем... ай, ай, ай, — худо, плохо... Ребятунки! А ведь это — Сеньки кривоного, скомороха, дудонники... Ей-богу, его!.. Дурак, бродяга! Гляди ты, во дворец пробрался! Обида, ребятунки!

Из левой двери быстро выходит
Басманов.

БАСМАНОВ. Чашник! Меду больше не надо, не велено. Давай еще романей, скажи ключнику, чтоб старой выдал. (Увидел скоморохов.) Здравствуйте, скоморохи, разбойнички, воровская дружина!

СКОМОРОХ. Не занимаемся такими делами, боярин. Мы сказки говорим, старины поем, пляшем да промеж себя смешно

бьемся. Мы дружина добрая, спроси хоть всю Арбатскую слободу.

БАСМАНОВ. А что невеселы?

СКОМОРОХ. Ели мало. С пустого брюха легли спать на подворья да, вишь, нас разбудили, в сани покидали, мы испугались.

БАСМАНОВ. Испугаешь вас, дьяволов, — калачи тертые.

СКОМОРОХ. Да уж терли, терли, боярин, больше некуда.

БАСМАНОВ. (указывая на левую дверь). Идите туда смело.

СКОМОРОХ. Какое уж там смело, вот страшно!.. (Громким, веселым голосом.) А, вот они, вот они, дорожные старички, добрые мужички, в пути три недели, гораздо поспели, прямо с дороги князю с княгинюшкой в ноги... И-эх!

Все скоморохи ударили в бубны, заиграли на дудках, на домрах, на гуслиях.

СКОМОРОХИ. И-эх! На улице дождь, дождь,
А в горнице гость, гость!
На улице — тын, тын,
А в горнице — блин, блин!

Приплясывая, скоморохи уходят в левую дверь, в палату, где пирует царь.

БАСМАНОВ. И-эх! А в горнице — блин, блин!..

Входит Василий Грязной, сотник — молодой, сильный, равнодушный; он в коллантах, с кривой саблей на бедре, на левой руке — небольшой щит.

ГРЯЗНОЙ. Федор.

БАСМАНОВ. Грязной, вот диво-то, — черкесы здоровы пить, их нашим медом не увалишь. Турьи рога потребовали. Государь мне только подмигивает: подливай. А сам — из чаши, да по стол. По правую его руку — черкешенка, ни кусочка, ни глоточка, только ресницами махает. Царь ее глазами так и гложет.

Грязной берет у бегущего слуги ендову.

СЛУГА. Сотник, оставь, нельзя.

ГРЯЗНОЙ. Стукну — умрешь! (Наливает из ендовы в щит и пьет.)

Слуга убегает.

БАСМАНОВ. Это романей, не захмелей. Ты чего пришел?

ГРЯЗНОЙ (выпив все). Кислятина заморская. Тьфу!.. Бояре в снях шумят, так-то бранятся, в яаты мне жезлами бьют. Да на крыльце их более полста. Крик-то! Да челяди боярской с ножами, рогатинами бежит за ихними саями, во все ворота. Не знаю, что и делать. Драться с ними? Как царь-то велит?

БАСМАНОВ. Никого не пускать строжайше. Пусть думные бояре идут в палату, там ждут.

ГРЯЗНОЙ. Ладно. У меня юношей добрых десятка полтора, справимся как-нибудь.

БАСМАНОВ. А чего бояре всполохнулись?

ГРЯЗНОЙ. Чорт их знает! Проведали, что царь пирует один с черкешенкой.

Из первой двери входит Иван. На нем светлое платье, золотая тубетейка и вышитые сапоги. Хватает подвечник со свечой, подает Басманову.

ИВАН. Свети. (Уходит вместе с Басмановым направо.)

За дверью налево слышна песня скomorохов. В двери прямо появляется князь Репнин.

РЕПНИН. Не пожар ли? Что за притча? Ночь вывездила ко вторым петухам, во Кремле все спят, а у государя в окнах свет. Здоров ли государь? Чего так поздно бодрствует?

ГРЯЗНОЙ. Иди, иди, князь Михайло, тебя не звали.

РЕПНИН. Грязной, сотник! Отвечай вежливо, я ближний человек.

ГРЯЗНОЙ. Ближний хоть, дальний — пускать не велено.

РЕПНИН. Как ты меня непустишь, холоп? (Поднимает жезл.)

ГРЯЗНОЙ (начинает засучивать-ся). Стукну — умрешь! Ушел, ай нет?

РЕПНИН. Конюх! С тебя голову снимут, а я еще и в глаза плюну. (Скрывает-ся за дверью.)

Входит Иван, за которым Басманов несет свечу. В руках Ивана медвежье одеяло и несколько парчевых, шитых жемчугом, подушек. Все это он сам стелет на диване. В двери, в глубине, появляется Сильвестр. Иван увидел его, содрогнулся и — сквозь зубы.

ИВАН. Не во-время пришел.

СИЛЬВЕСТР (в мрачном испуге-нии). Согрубил еси богу... Кайся, кайся, трехглавый змий! Еще даю тебе шрок покаяния. В отчий храм среди ночи ввел блудницу, и упоил ее, и она хохочет и свищет, и сам упился,

аки жук навозный. Кайся! Кому уподобился ты?

ИВАН. Сильвестр, в моей душе свет. Не хочу тебе злого. Уйди с миром...

СИЛЬВЕСТР. Не уйду... Иван Васильевич, твою совесть мне бог велел стеречь.

ИВАН. Моей совести ты не сторож. Ее некому стеречь, ниже тебе, собака, дура!

СИЛЬВЕСТР. Не уйду... Пострадать за твою душу хочу...

ИВАН. Грязной... Вели отнести его в сани. Пускай везут подальше от Москвы, прочь с глаз моих...

СИЛЬВЕСТР. Опомнись, государь!..

ИВАН. Я опомнился, поп... И видеть тебя более не хочу... Ты, ты от юности моей держал на узле мою волю. По твоему скаредному разуму мне было и есть, и пить, и с женою жить... Ты, аки беснестовый, благочестие поколебал и тшился похитить богом данную мне власть... Прочь от меня, навеки!.. (Усмехаясь.) Бумаги, чернил тебе пришло, пиши себе в уединении книгу Домострой, аки человеку жити благопристойно.

ГРЯЗНОЙ. Идем, поп.

СИЛЬВЕСТР. Государь, не вели!

ГРЯЗНОЙ. Не выбивайся! Стукну — поздно будет. (Уводит Сильвестра.)

Иван идет в палату.

БАСМАНОВ. Государь, народу полон дворец, во все щели лезут.

ИВАН. Пусть Грязной умрет на пороге, — никого не пускать. (Быстро уходит.)

Басманов спешит к двери в глубину, затворяет ее за собой, и там сейчас же начинается возня и злые голоса. Из палаты выходит черкесская княжна, она в широких шароварах и в пестром тюрбане, из-под которого выпущены ее косы, поверх платья на ней узкий черный казакин. За ней идет Иван.

Присядь или приляг. Здесь тихо. Поговори со мной.

Княжна Марья оглядывается, садится на подушки. Иван стоит перед ней.

Чего боишься? Я не варвар, не обижу.

МАРЬЯ. Тебя — бояться! Будешь ножом резать, руки ломать, косы рвать — не заплачу.

ИВАН. Ну, что уж так-то закружилаесь, жасатка?

МАРЬЯ. Отец, братья меня продали, увезли за тысячи верст, — мне же не кручиниться?

Чего стоишь, как хосюн? Прилично тебе сесть.

ИВАН. На змею похожа, что ни слово — вот-вот ужалишь.

МАРЬЯ. То — касатка, то — змея! Хотела бы я орляцей быть. Выклевала бы тебе глаза, расправила бы крылья, полетела бы на мои горы.

ИВАН. А я бы кречетом обернулся и настиг тебя, прикрыл. Вот беда с девками поровистыми! А парницей хочешь быть? Пойдем в чулан, покажу тебе сундуки, коробки, — откроешь один — полный жемчуга, откроешь другой — бархаты из Мадрида, откроешь еще — соболя, бобры, лисы. Чье это? — спросишь. Твое, скажу, парница, для твоего белого тела, для твоих черных кос, для твоих легких ног. А ты: уйди, постылый. Так, что ли? Чем же я тебе уж так-то не мил?

МАРЬЯ. Уж не из-за твоих ли сундуков с жемчугами да соболями будешь мил?

ИВАН. Станом я не тонок и не ловок, и нос у меня покляп, и разговор тяжел. А на коня сяду, охотского сокола на красную рукавицу посажу, да козпак сдвину, да завизжу! Румянцем заляешься, глядя на меня. Мой-то, скажешь, суженый — чисто вяземский пряник.

МАРЬЯ. Поскачешь, да упадешь, как мешок.

ИВАН (за смеялся). А хочешь, покажу, как со зверем бьются один-на-один? Велю привести медведя. Ты на печку залезь, а я пойду на него с одним пожом.

МАРЬЯ. Врешь.

ИВАН (за смеялся). Нет, не вру.

МАРЬЯ. Не знаю, зачем ведешь простые речи, смешишь меня. Напрасно меня в такую даль завезли, чтобы дурака слушать.

Иван вспыхнул, глядит на нее, она же опускает глаза.

ИВАН. Ты умна... Смела... А думал — дикая черкешенка!

МАРЬЯ (с гордой усмешкой). Я в Мцхете в монастыре училась книжному искусству и многим рукоделиям. В Тбилиси при дворе грузинского царя мне подол платья целовали. А тебя мне слушать скучно.

ИВАН. Это хорошо. Это — удача! (Встает, ходит кошачьей походкой. Берет подсвечник и переставляет его, освещая лицо черкешенки.) Добро, добро, что не хочешь со мной шутить. Послушай другие речи. К твоему отцу, Темрюку, послал я сватов не за твоей красотой.

МАРЬЯ. За черкесскими саблями послал. Свои-то, видно, тупые.

ИВАН. Московские сабли острые, Марья Темрюковна. Добро, добро, дразни меня, я мужик задорный. На Москве в обычае на кулачках биться, а в большом споре — и на саблях. А с такой красивой девкой — выйти на поле — уж не знаю чем и биться. Слушай, Марья. Я еще младенцем был — мою мать, царицу Елену, отравили бояре. В этих палатах, тогда еще они толые были, меня, паренка, держали пленником. По ночам не сплю, голову поднимешь с подушки и ждешь: вот придут, задумат. Бедного, бывало, за сутки один раз покормят, а то просвирочку съем, тем и сыт. Что передумал я в эти годы! Не по годам я возрос, и сердце мое ожесточилось.

А был я горяч и к людям добр. Великое добро искал в книгах — едва слова-то складывать научился. Ночью свечечку зажгу, книгу раскрою и — будто я и участник и судья всем царствам, кои были, прошумели и рушились. Вот и вся моя забава, вся моя отрада. Гляжу на огонек, босые ноги стынут, голова горит, и вопрошаю: нет более Рима, отшумела слава Византии под турецкими саблями? В камни бездушные, в прах и пепел обратились две великие нравы. Остались книжные листы, кои точит червь, да суета-сует народов многих. Попы-то римские отпущением прехов торгуют на площадях. А что Мартын Лютер! Церкви ободрал, с амвона ведет мирские речи, как людям в миру житьи прилично. Ни дать, ни взять, мой поп Сивьевстр. Спорил я с лютеранами — тощие духом. У заволжских старцев, да хоть у того же еретика Матвея Башкина, в мизинце более разума, чем у Лютера. Любой заморский король или королишка всю ночь играет в зернь и в кости да ногами вертит, и с пемьтой рожей идет к обедне... Где ж третья правда? Ибо мир не для лжи и суеты создан. Быть третьему Риму в Москве! Русская земля непомерна.

МАРЬЯ (с изумлением). Царь, зачем говоришь мне тайные мысли? Разве я тебе друг?

ИВАН. Не может быть друзей у меня. Был другом Андрей Курбский, и тот пынче в глаза не глядит. Дел моих устрашатся друзья и отстанут в пути.

МАРЬЯ. Что я тебе? Девка злая, глухая,

укусить не могу, не посмею. А ты — щедр.

ИВАН. Верю в твою красоту, Марья. Не хочу обнять на свадебной постели бездушную плоть твою. Как жену любезную хочу. Царицей прекраснейшей в свете вижу тебя. Сходишь по лестнице и милостыню раздаешь из рук, и милостыня в глазах твоих, и милостыня на устах твоих. Исповедницей будь моим мыслям, они в ночной тишине знобят, и кажется, и руки и ноги становятся велики, и весь я — широк и просторен, и уже вместил в себя и землю и небо. Оторвав лицо от груди твоей, привстану и скажу: дано мне свершить великие дела.

МАРЬЯ. Дано. (Слезает с печурки и, подойдя, целует у него край кафтана.)

ИВАН. Сядь, как прежде, а я сяду у ног твоих. Завтра пришло сватов. Болымагу венчальную вею обить собольими... Брай подола твоего пошеловал бы лавчей грузинского паревича — штаны на тебе, подола-то нет.

МАРЬЯ. Царь, будешь любить меня?

ИВАН. Замузга, ласками — что делать-то? А то невзначай и задушу.

МАРЬЯ. Прижми наш обычай. (Прижимает руки к груди и, закрыв глаза, целует его. Иван вскакивает, отходит.)

Входит Малюта.

МАЛЮТА. Прости за помеху, государь. Народ бежит к Кремлю, кричат: бояре-де собираются тебя извести. Как бы драки не вышло.

ИВАН. Я выйду на крыльцо, покажусь. Вели принести фонарь.

МАЛЮТА. Трудно через сени пробиться. Бояре стеной ломают. Васька Грязной пьян.

За дверью шум. В дверь ломаются. Малюта обнажает саблю. Марья, сожочлив с лежанки, выпнимает из-под казашина маленький книжечка.

Иван, смеясь, берет ее за руку.

ИВАН. Спрячь. У нас ножи найдутся. Уйди, голубка, в спальню, это — дела мужские. (Он отводит ее направо, в спальню, быстро возвращается и прикрывает левую дверь в палату. Малюте.) Впусти!

Дверь, что в глубине, распаивается, и в палату капитися Васька Грязной и тотчас вскакивает на ноги. За ним вващи-

ваются бояре. Впереди всех Оболенский. Наливаясь злостью, он кричит, и бояре угрожающе поддакивают ему.

ОБОЛЕНСКИЙ. Государь, о здоровье твоём скорбим... За тем пришли...

БОЯРЕ. За тем пришли к тебе...

ОБОЛЕНСКИЙ. Поп Сильвестр закричал, как в сани-то его понесли, будто черкесы тебя зельем опоили...

БОЯРЕ. Зельем тебя опоили...

ОБОЛЕНСКИЙ. Тайно от нас басурманку сватаешь... Срам!..

БОЯРЕ. Срам... Срам...

РЕПНИН. А мы-то во студеных сенах зубами стучим, ждем — когда государь пировать кончит... Более на пир-то нас не зовут...

БОЯРЕ. Срам!.. Срам!..

КУРСКИЙ. Государь, для чего к Пороховой башне обозы подходят?.. Ядра грузят, бочки с зельем? Про войну будто бы нам ничего неизвестно...

ИВАН (махнув на него рукой). Молчи, молчи... (Боярам.) По какой нужде пришли ко мне?

ОБОЛЕНСКИЙ. Отопчили девку площадную, идем с нами в думу, будем говорить...

БОЯРЕ. В думу! В думу!.. Говорить хотим!..

ОБОЛЕНСКИЙ. Ты нам рот не зажимай!.. (Указывая на бояр.) Гляди, не ниже тебя рюриковичи стоят... Какитак дела у тебя мимо нас... Самовластия твоего более терпеть не хотим!

ИВАН (кидается и вытаскивает у него из-за голенища нож). Нож у тебя, князь Оболенский-Овчина! (Кидается к другому и выдергивает у него нож из-за пазухи.) Нож у тебя, князь Масальский... (Ударил рукоятью ножа третьего в грудь.) Кольчугу зачем надел, князь Трубецкой? Изменники! Наверх ко мне с пожами пришли! Псы! Холопы! Царенком меня не задушили, теперь — лютно! В руке моей держава русская, сие — власть. Советов мне ваших малоумных не слушать... Неистовый обычай старины, — что я — равный вам — забудьте со страхом... Русская земля — моя единая вотчина. Я — царь, и шапка мономахова на мне — выше облака. Сегодня думе не быть... Ступайте прочь от меня! Малюта, возьми фонарь, проводи рюриковичей черным крыльцом...

Из левой двери появляются два брата Темрюковичи, у них в руках рога. За ними топчятся скоморохи.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Царь Иван Васильевич, что же ты нас бросил на тоску, на кручину и сестру нашу увел. Скучно нам без тулумбаша... (Скоморохам.) Играй, зови на пир царя с невестой...

ИВАН (засмеялся). Скоморохи! А ну ударьте в ложки, в бубны!.. Стойте!.. Воеводы, Курбский, Юрьев, Морозов, Шуйский, вы останьтесь, опосля с вами буду говорить. Грязной, потешь князей и бояр, чтоб не скучно им было с моего крыльца в сани садиться...

ГРЯЗНОЙ (скоморохам). Слухай меня, теребень кабацкая. (Запевает.) Как по морю, как по морю-морю снемю, плыла лебедь, плыла лебедь с лебедями...

Скоморохи грянули в бубны, в ложки. Выйдя из правой двери, на них, на пятящихся князей и бояр, с изумлением глядит Марья Темрюковна. Иван хочот.

Картина четвертая

Громоподобные удары пушек. Крики. Дребезжащий набатный звон. Поднимается занавес. Средневековая площадь в городе Полоцке. В глубине видна круглая башня замка, на ней развевается польское знамя. На площади — горожане: женщины, шляхтичи, ремесленники, монахи, несколько купцов. Все напряженно прислушиваются, глядя в сторону крепостной стены.

ЖЕНЩИНА. Матерь божья, пощади нас!.. Матерь божья, пощади нас!.. (Женщины громко плачут.)

РЕМЕСЛЕННИК. Большие у московитов пушки. Таких пушек, пожалуй, никто еще не видал...

МОЛОДОЙ ШЛЯХТИЧ (другому). Ядра по сто фунтов весом. Матерь божья! Степам не выдержать...

ТОЛСТЫЙ ПАП (с багровым носом). Чума его возьми, слизматика проклятого! Чтоб его чорт уволок в самое пекло!

БОСОЙ МОНАХ (подходит). Прогневался господь, вострубили трубы Иисуса Навина, пали стены перихонекле... Молитесь, молитесь! Уж зверь жаждет мяса человеческого!.. (Крики ужаса.)

БОГАТАЯ ШЛЯХТЯНКА. Пезус Мария! Царь Московский шею младенцам перегрызает, кровь пьет...

ЖЕНЩИНА. Лицо у него, как у быка, в шерсти — видели?..

Крики ужаса.

БОСОЙ МОНАХ. Разлавайте именьи свое, ризы разодвите, одну душу спасайте...

ПОЖИЛОЙ КУПЕЦ (другому, в меховом плаще). Пустое болтают бабы... Царь Иван, говорят, суров, но разумен. Нарву завоэвал, церкви и купеческие амбары не тронул, и суд оставил прежний, и купцам пожаловал беспоплибно пять лет торговать в Московском царстве...

Пушечный выстрел.

МОЛОДОЙ ШЛЯХТИЧ. Эка двинули, — башня запаталась...

ЖЕНЩИНА. Стены, стены падают...

Толпа затихает.

ПОЖИЛОЙ КУПЕЦ. У датского короля купил он несколько кораблей и хочот очистить Балтийское море от немецких и шведских пиратов, — поступок добрый царя Ивана.

Входят воевода Двойна и Козлов, за ними трубач.

ДВОЙНА (кричит толпе). Готовы уж встречать царя Ивана! Уж стремя его готовы целовать! Прячьтесь, бесовы дети, в подполья, в погреба. Прочь отсюда!

Толпа расходится. К воеводе подходит латник.

ПЕРВЫЙ ЛАТНИК. Воевода, в стене — великий пролом, московиты идут на приступ, нужна подмога...

ДВОЙНА. Послать немецкий полк... Вот булава моя, покажи полковнику, — пусть ударят на московитов да пробьются к шатру царя Ивана... А голову его мне принесут, — сто червонцев тому храбrecу.

КОЗЛОВ. Позволь мне попытать счастья...

ДВОЙНА. Нет, Юрий Всеволодович... Ты нужен нам для иного дела... Покуда, слава богу, западные ворота в наших еще руках... Уходи, — со всем посешенком скачи в Москву... Чего б ни стало — увидь князя Владимира Андреевича Старшкого... Все, о чем говорили мы с тобой, — перескажи ему... Вдохни в него решимость... Сам господь милосердный посылает ему такой случай... Пусть лень московскую князь переберет, да не робеет пусть: под Полоцком царя Ивана мы задержим... Противу силы его медвежьей хитрость выставим политичную, — на польскую ротацию напорется Иван... Так чтоб в Москве не мешкали...

БОЗЛОВ. А что велишь передать моему господину?

ДВОЙНА. С князем Андреем Михайловичем Бурбским сносятся гетман Радзивилл, они договорились... Спеши, час дорог. Ступай...

БОЗЛОВ. Будь на меня надежен... Прощай, великий воевода (уходит).

воеводе подходит второй латник.

ВТОРОЙ ЛАТНИК. Московиты приступают к городу со всех сторон. Лестницы несут и осадные щиты...

ДВОЙНА. Лить на головы им свинец расплавленный, смолу горящую...

ВТОРОЙ ЛАТНИК. Воевода... На московитах — войлочные кафтаны и колпаки, смоченные водой... Не поможет...

ДВОЙНА. Труси! Иди и умри достойно рыцаря литовского. Позор, позор!..

Второй латник уходит. Подходит третий латник.

ТРЕТИЙ ЛАТНИК. Воевода! Пушкари перебиты, пехота отступает, конница повернула коней...

ДВОЙНА. Кто отступает? Кто повернул коней? (Бьет его плетью.) Собака! Московиты должны поворачивать коней от нас...

ЖЕНЩИНА (бежит с узлами). Ратуйте!.. Московиты уж в городе.

ДВОЙНА. Поднять мою хоругвь... (Трубачу.) Труби... Латники, за мной, на стены!..

Трубач трубит. Двойна уходит. Горожане снова осторожно появляются из-за домов, из дверей.

БОГАТАЯ ШЛЯХТЯНКА (протягивая руки из окошка). Спасите души наши!..

МОЛОДОЙ ШЛЯХТИЧ. Эх ее разбпрает! Как свинью под ножом...

ТОЛСТЫЙ ПАН (выскакивает из двери, размахивая саблей, за ним — испуганные челядницы с рогатинами). Не пройдут проклятые схизматики! Не позволим! Коли их — вот так! Руби их — вот так! Чтоб головы летели прочь!

СТАРАЯ ЖЕНЩИНА (из окошка над дверью). Пан Сбипшев! Пан Сбигнев! Бросьте на землю вашу сабельку, идите спрячьтесь в чулан...

ТОЛСТЫЙ ПАН. Брысь, старая ведьма! Научу я московитов рубиться на саблях!

МОЛОДОЙ ШЛЯХТИЧ (смеясь). Кварту

водки со страху вытянул пан Сбигнев, — ишь, бесится...

ЖЕНЩИНА (бежит обратно с узлами). Татары... Спасайтесь!..

В толпе волнение. Босой монах шатит боченок, за ним бежит ремесленник.

РЕМЕСЛЕННИК. Стой, стой, отец! Куда же ты у меня из кухни боченок подхватил?

БОСОЙ МОНАХ. Брат, гони от себя суету, молись в час страшный...

РЕМЕСЛЕННИК. Какая суета? В боченке ж мед добрый!

БОСОЙ МОНАХ. В боченке этом адская бездна и таргарары! Молись, молись, грешная душа!

Ухватывает боченок. Ремесленник стоит — чешет в затылок. Молодой шляхтич смеется.

МОЛОДОЙ ШЛЯХТИЧ. Молодец монах! Отважным людям сегодня будет добрая пожива... Затрещат погреба, вспенятся меды столетние.

Близится шум битвы. Выходят, сражаясь, рыцарь в латах и двое русских. Толпа с криками разбегается.

ГРЯЗНОЙ (появляется вслед сражающимся). Не так, не так бьетесь, сиволаны!.. А ну-ка, расступись!.. Стой крепче, рыцарь!.. (Выходит против него.) Сдавайся, чего там! Э, какой ты сердитый — немец, знатко!.. Как желаешь? Сразу тебе душу выпустить или только половину, а за другую червонцами? (Наседает на него, отбивая шитом удары меча.) Держись крепче! (Изловчась, ударяет его шестопером по шлему, рыцарь шатается, роняет меч, падает.) Я и говорю: стукну — умрешь!.. (Ратникам.) Обдирай с него латы, неси в мой шатер...

Ближе звон оружия. Несколько русских ратников пробегают, сражаясь. Входит Малюта с огромным волнистым мечом. Тяжело дышит, глаза его блуждают, борода стоит торчком. Идет прямо на Грязного, тот пятится.

Малюта! Ты чего? Это я — Василий...

МАЛЮТА. Тебе где сказано быть, гулящий? Тебе что государь приказал?

ГРЯЗНОЙ. Так я же вот для чего...

МАЛЮТА. Охотничась! За рыцарями гоняешься, дерешься? Латы обдираешь?

ГРЯЗНОЙ. Да лопни глаза! Бй-ей дьявол этот невзначай подвернулся. Я тут зачем? Гляди... (Указывает на башню.) Отсюда на ладони — и замок и ворота... Вели, сбегая за большой пушкой, отсюда и ударим... Вот я зачем отлучился...

МАЛЮТА. Велю, Беги, Проворней тащить сюда большой наряд.

ГРЯЗНОЙ. А ты — латы обдираю... Этих лат у меня...

Грязной живо уходит. Малюта стоит, оптершись на меч. Из-за домов, из дверей и окон глядят на него горожане. Одни вскрикивают, другие осторожно кланяются. Голостый пан просовывается в дверь, с пинцалом. Малюта грозит ему пальцем. Пан рокиет пинцаль, его утаскивают в дверь. Входит Грязной, за ним много ратников тащат большую пушку.

ГРЯЗНОЙ. Давай, давай, давай, голуби!..
Навались, навались, ангелы небесные!..

Пушку утаскивают в глубины. Входит Басманов.

БАСМАНОВ. Малюта, государь велел тебе сказать, что воевода Двойна с войском отступает к замку...

МАЛЮТА. Знаю.

Звук рожков и литавр. Появляются стрельцы с бердышами и становятся на страже. Входят воеводы — Юрьев и Морозов. Воины несут хоругви, среди них большую, царскую, на которой изображен Георгий, в огненном плаще. На коне, которого ведут под уздцы двое татарских царевичей, въезжает царь Иван. Он — в кольчуге и золотых латах, в островежном шлеме, на плечи накинута чернособолья шуба. Остановившись, глядит в сторону замка. Оттуда доносится пушечный выстрел и крики наступающих. Польское знамя на башне опускается.

МАЛЮТА. Государь, дело твое свершилось.
Полоще наш!..

ИВАН. Остановить ярость вбев, да никого не лезят ни мечом, ни кошлем...

Воеводы уходят.

Глашатаям кричать по городу: мир всем.

МАЛЮТА (обернувшись к горожанам, которые снова начинают появляться). Государь велел быть миру! Подходите бесстрашно.

Кое-кто выносит из дверей хлеб, соль, вино. Женщина, бежавшая с узлами, опять появляется, бросив узлы, всплескивает руками, глядя на царя Ивана.

МОЛОДОЙ ШЛЯХТИЧ (бросается на колени, протягивает Ивану саблю). Государь, я твой слуга.

Еще несколько молодых шляхтичей протягивают сабли.

ИВАН. За добро — спасибо! Службу вал принимаю.

БОГАТАЯ ШЛЯХТЯНКА (толстому пану, который вышел из дверей и гордо крутит усы). Пан, Сби нев, поклонись страшному московит отдай сабельку.

ТОЛСТЫЙ ПАН. Не поддамся!

Подходят купцы. Среди них — красивая девушка с коромыслом и ведрами. Купеческие слуги стелят порецарским конем алое сукно.

ПОЖИЛОЙ КУПЕЦ (девушке). Не бойся подходи смело.

Девушка подходит, присев, ставит ведра и, взяв одно, поит царского коня.

ИВАН. Спасибо, девица, что дала моему дорожному коню испить воды полюшкой.

ПОЖИЛОЙ КУПЕЦ (указывая на расстеленное перед конем сукно). Государь, здравствуй на много лет! Входи в город с миром и любовью!

ИВАН. Спасибо, торговые люди добрые, что послали моему коню красную дорогу.

Татарские царевичи ведут коня по сукну и останавливаются. Из глубины выходят Грязной, воевода Двойна — без шлема, с опущенной головой; несколько рыцарей несут польские и литовские знамена и на щите — ключи от города.

ИВАН (гневно). Воевода Двойна, зачем с оружием встал против нас? Иль похваляешься, как мышь, льва победить? Раб лукавый, безумный! Оберегал от нас похищенную землю нашу ледовскую, и кровь нашу пролил!

ДВОЙНА. Государь, я верно служил моему королю Сигизмунду-Августу, я исполнил долг...

ИВАН. Подай мне ключи от города.

Двойна замешкался, закрыв лицо, вздрагивая плечами. Грязной взял щит с ключами и поднес ему. Двойна взял ключи.

(Негромко, внятно.) На коленях, на коленях подай ключи владыке и царю земли русской!..

Литавры, рога. Склоняются знамена.

Картина пятая

Моленная в доме у княгини Ефросинии Старшей. Лампады и свечи перед множеством икон. На стуле из рыбьего зуба сидит митрополит Филипп — усталый, опустив голову. Около него — Владимир Андреевич, Репнин, Оболенский-Овчина и все князья, кто был в третьей картине. Входит Ефросинья. Кланяется митрополиту и князьям.

ЕФРОСИНЯ. Владимир, все ли в сборе?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Все, матушка.

ОБОЛЕНСКИЙ. Все, все пришли, кого государь за бороду хватал да в груди бил, — обиды помним крепко...

ЕФРОСИНЯ. Нет с нами одного — князя Андрея Михайловича Курбского... Нарочного послала к нему в Ливонию, да он сказался недругом, — города, вишь, воюет государю Ивану Васильевичу... Государь от тех городов спесью раздувается, а нам — одни слезы...

РЕПНИН (к Филиппу). От слез глаза вытекли... Москва-то уж не наша, Кремль уж не наш... Во дворце ведьма сидит, Марья Темрюковна. Крови нашей жаждет. Не сыта. Филипп, ты поверху глядишь, ты под ноги погляди, — крови-то уж по щиколотку, как бы нашей крови лю колено не стало...

ОБОЛЕНСКИЙ (к Филиппу). Знаешь, какие на Москве опалы? Каждый день дворцовые шалуны о Мишкой Темрюковым ворота ломают у опальных-та... Рюриковичей в медвежью яму сажают...

ЕФРОСИНЯ. Помолчите, — владыке все известно... Прости, владыке, что докучаем тебе ради мирских дел... Да мимо тебя нам не думать, ты — один — наш столб древний...

ФИЛИПП. Дел мирских не бывало, мирская суета есть...

ЕФРОСИНЯ. Снизойди к нам. Собрались мы слезно молить тебя: разрушь крестоцелование князя Андрея Михайловича Курбского, жернов на нем его клятва царю Ивану. Сними ее...

ОБОЛЕНСКИЙ. Без твоего благословения князь Андрей... Решиться не может... Ты ему вели, чтоб он полки свои от ливонских городов повернул на Москву...

РЕПНИН. У Ивана когти в Литве увязли... Москва пуста, последний стрелецкий полк уходит... Курбский шута войдет в Москву-та.

ЕФРОСИНЯ (вытаскивая за руку Владимира Андреевича перед Филиппом). Вот он — ждан-

ный Москвой, — кроткий, смиренный... Но ночам личико у него светится... Спрашиваю: «Володушка, что во сне видел?» «Ангелов, матушка, все ангелов вижу...» Ответствуй, Володимир, — не врет мать?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Разное во сне вижу, всякое, маменька, часто и ангелов вижу...

ЕФРОСИНЯ. Князья, не это ли блаженство и умиление...

РЕПНИН. Филипп, и обвился бы сей юноша, как виноград, вокруг твоей святости...

ОБОЛЕНСКИЙ. А мы бы при нем расселись тихо, немятежно избранной радой, как в прежние-то времена.

КНЯЗЬЯ. Добро, добро, добро...

ФИЛИПП (глядя поверху). «Власть тебе даю над душами человеческими, терзай их, казни казнями многими...» Ох, не мне ли ты уготовал терзание и казнь... Где пресветлая тишина моя? Где чистота моя, невинноватость моя? Уже стоял, чист, у врат вечных, и поворотил вспять... В грех и в смрад. (Князьям.) Что вы хотите от меня, безжалостные? Взять грехи ваши на себя и обременить совесть мою? Воиню, — отступите, отыдите, от меня прочь...

ЕФРОСИНЯ. Пустое! К твоей святости пятна не пристанет, Филипп... (Князьям.) Сходите кто-нибудь, скажите Козлова, он в сенях стоит. (Филиппу.) Князь Курбского постельничий Юрка Козлов прибежал из-под Полоцка с великими вестями. Выслушай его, владыка.

Входит Козлов, в крестьянском армяке, в саптях. Низко кланяется, встряхивает волосами, останавливается перед Филиппом.

ЕФРОСИНЯ. Целуй крест у владыки — говорить правду.

КОЗЛОВ (целует крест наперсный у Филиппа, который подставляет ему Владимир Андреевич). Целую крест на правде, не покривлю в слове ни в едином.

ЕФРОСИНЯ. Говори.

КОЗЛОВ. Короли польский, свейский и датский, великий тетман литовский и великий магистр ордена Ливонского встанут войной на царя Ивана, негодуя на дерзостные замыслы его, но к вам, князьям и боярам, — у них злобы никакой нет. Буди на Москве иной царь — смиренный и старозаветный — будут у них с Москвой дружба и мир.

ЕФРОСИНЯ. Стыда нечего таять,—мы не крест на верность целовали царю Ивану, а хвост бесовский.

КНЯЗЬЯ. Истинно, истинно.

ОБОЛЕНСКИЙ. Филипп, одним своим словом разреши: мир или войну...

РЕПНИН. Мир, чтобы сиротам-то, вдовам-то сухие куски слезами не обливать...

ФИЛИПП. О, совесть... Горько нам плакать с тобой... (Владимиру Андреевичу.) Подойди. (Крестит и целует его в голову.)

КНЯЗЬЯ. Целование дали Володимиру...

ЕФРОСИНЯ. Аминь... И второе благословение, владыка,—князю Курбскому... Вот грамотка ему от тебя... Приложи перстень к печати... Козлов ему отвезет...

КОЗЛОВ. Коней загоню на смерть — через два дня доставлю моему господину...

ЕФРОСИНЯ. Приложи перстень.

ОБОЛЕНСКИЙ. Стуки вот тут воск...

КНЯЗЬЯ. Приложи перстень, владыка...

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (услышав тяжёлые шаги). Матушка, поостерегись.

Входит Малюта. Все отпатываются от Филиппа. Малюта подходит к нему под благословение. Оборачивается к князьям и глядит на них с недоверием, с подозрением.

ЕФРОСИНЯ. Опоздал, батюшка,—митрополит вечерню отслужил, мы отстояли... Милости прошу в столовую избу, ужинать...

МАЛЮТА. Ужинать тебе одной придется, Ефросинья Ивановна... Владыка Филипп, и вы, князья, и ты, князь Владимир, собирайтесь в поход. Государь идет из Полоцка с победой и большим полоном. Ночевать будет в Коломне. Быть вам всем во среженье государя без отговоров... А тебе, Филипп, придется перед государем печаловаться за князя Андрея Михайловича Курбского. Такая беда с ним случилась с прославленным то воеводой — руками разведешь... Глупость или измена... (Внезапно — Козлову.) А ты что за человек?

Козлов начинает мычать, трястись, кричать дурным голосом.

ЕФРОСИНЯ. Юродивый, Юрко, вслед за митрополитым возком прибежал,—божий человек...

МАЛЮТА. Сумнительно.

Картина шестая

Глубокая арка крепостных ворот, тускло освещенная висячим фонарем. Вост ветер. В глубину, куда едва достигает свет, копошатся два человека. Они отходят от этого места. Один из них: — Козлов, Юрий Всеволодович — вытирает руки о полу кафтана. Другой — Шибанов — идет впереди него к низкому отверстию в толще арки и со скрипом отворяет железную дверцу.

ШИБАНОВ. Спускайся, князь Андрей Михайлович!

Появляется Курбский с фонарем в руке. Он без шапки, в дорожной шубе.

Шапочку-то забыл, что ли, впоныхах,—надень мою, холопью, сделай милость!..

КУРБСКИЙ. Где стража?

КОЗЛОВ. А вон — лежат спокойно, двое...

ШИБАНОВ. А которая стража на стенах — не услышат,—ишь выюга как кричит, угрюмая, ливонская...

КУРБСКИЙ. Коня где мои?

КОЗЛОВ. Коня стоят в овраге, недалече. Все припасено в сумках переметных, будь без сомнения... Да и скакать нам только ночь, на заре будем у поляков...

ШИБАНОВ. Князюшка, а грамоту охранную королевскую не забыл?

КУРБСКИЙ. Шапку одну только забыл... Юрий Всеволодович, так ли я поступаю? Непривычно мне — спросонья, потянув шубенку, бежать в ночь, как вору. Как в омут головой...

КОЗЛОВ. А лучше будет, Андрей Михайлович, когда тебя в простых санях, закованная, в Москву повезут? Да придет к тебе в застенок худородный тиран зубы скалить. Решайся... Отворять ворота?

КУРБСКИЙ. Подожди...

ШИБАНОВ. Андрей Михайлович, как бы городской воевода не вернулся с объезда.

КУРБСКИЙ. Мне еще и Мишку Новодворского бояться! На кол его везю посадить! Я еще владыка в Ливонии...

КОЗЛОВ. Велеть-то велишь, а сажать будем мы, что ли, с Шибановым? Только всего твоего войску и осталось...

ШИБАНОВ (Козлову). Боевода Новодворский, знаешь ты, вредный человек — не дал нам подвод и коней! Врет, коня и подводы у него есть. А сам тайно в Москву нарочного погнал, сказать, что князь-де неведомо куда хочет отъехать с семьей и рухлядью.

КОЗЛОВ. Понятно.

КУРБСКИЙ. Так ли все в Москве, Юрий Всеволодович, как ты говоришь? Царь гневен, что я войско потерял. А мало я

городов восвал ливонских — славы и чести его ради? Короли трепещут при имени моем! А мне — спросонья, среди ночи, потянув шубенку, дрожать от страха под воротами! Как в омут бросаюсь... Уж я и гол и нищ... Вам, холопам, живот дорог, нам — гордость честнее живота!..

КОЗЛОВ. Зпаю... (Курбскому у.) Не ошибся ли ты, Андрей Михайлович? Надо ли было тебе войско подводить под сабли гетмана Радзивилла? Не лучше ли было, соединясь с ним, идти прямо на Москву — ссаживать царя, покуда тот стоял под Полоцком? А ты бежал от своей же силы?..

КУРБСКИЙ. Не тебе меня учить, дурак! Ставленников да блюдолизов царя Ивана у меня в войске была половина. Под польские сабли им и дорога. Войско было негодное. Любой король или курфюрст мне войско даст... Не хотелось бы только приходить в польский стан о дву-конь, с одной сумой переменной. Не так надо Курбскому отъезжать от московского царя... (Шибанову.) Достань мне людей ратных, лошадей, телег под рухлять... Достань тотчас... Велю...

ШИБАНОВ. Поздно, Андрей Михайлович.

КОЗЛОВ. Чего стылишься бежать о дву-конь!.. В Литве и Польше вельможи между собой тебя не Курбским зовут, но величают великим князем Ярославским... А в Москве царь Иван, вернувшись из-под Полоцка, великих-то князей стал за седые бороды хватать...

КУРБСКИЙ. Лев-кроводец! Пузырь, раздутый яростью! Скудоумец многоречивый! Посадский царек! Вишь, Москва ему тесна! Нужно ему великое царство! Уделы наши ему нужны, богом данные. Род Курбских — от святого князя Ростислава Мономаховича, стол наш в граде Ярославле был и пребудет во веки... Он меня, что ли, как собаку хочет согнать? Не верю тебе, Юрий Всеволодович, не пошатнуть Ивану с конюхами своими, с посадскими да безродными людishками вековые столпы — князей Мстиславских род, и Шуйских род великий, и Оболенских, и Репнинных, и Воротынских... О нас летописи глаголют, царство Иваново, как марево в пустыне, как прелесть бесовская, разведется и будет местом пустым, лишь ветер подует с запада...

КОЗЛОВ. А покуда для тебя уж жол поста-

влен на Красной площади, Андрей Михайлович...

ШИБАНОВ. Решайся, князюшка...

КУРБСКИЙ. Холопы! Живот мой заботитесь спасти... А царь Иван, развалился за ястами да чашами, уж посмеется, ехидна, над убогим бегством моим... Блюдолизы меня трусом и собакой назовут... Царский шут, взлезши на шута верхом да погоняя его по заду пузырем с горохом, закричит, что-де то князь Курбский от тебя отъезжает... Этого хотите? Ох, стыд!.. Ох, мука!.. (Шибанову.) Ступай разбуди княгиню, пусть придет сюда с детьми.

ШИБАНОВ. Свет мой, князюшка, не надо...

КУРБСКИЙ. Ступай, ступай... Не могу уехать, не благословя детей.

ШИБАНОВ. Будь так... (Уходит тем же холем в боковую дверцу.)

КУРБСКИЙ (Козлову). Я написал эпистолию царю Ивану... Пусть не смех — желчь выступит на устах его... Будет ему больно... Схватится парапать писалом своим ответ, — знаю, зпаю, — да со злости нагородит желшницу на позор всему свету... С кем отослать эпистолию?

КОЗЛОВ. Попли Шибанова, он смел, передаст письмо царю в руки.

КУРБСКИЙ. Жаль верного раба, замучают в Москве.

КОЗЛОВ. На то и раб, чтоб за господина принимать муки.

Из боковой дверцы выходят Шибанов, княгиня Авдотья и два мальчика.

АВДОТЬЯ. Батюшка ты мой! Чего ж ты среди ночи-то на ветру стоишь? Да в чужой шапке... Ай, беда какая!

Увидела в глубине трупы, вскрикнула.

Ой, господи помилуй!

КУРБСКИЙ. Тихо, тихо!.. Беда большая, Авдотья... Государь опалился на меня... Отъезжаю от его службы...

АВДОТЬЯ. Хорошо, батюшка... Отъезжай, батюшка!.. Тебе, чай, виднее...

КУРБСКИЙ. Еду о дву-конь... Тебя и детей взять с собой не могу...

АВДОТЬЯ. Хорошо, батюшка... Ты бы у нас жив-то был...

КУРБСКИЙ. Авдотья, мы с тобой пожили, слава богу... В чем виноват — прости...

Она было заголосила.

Тихо, тихо. Буде заточат тебя в монастырь — претерпи, ешь хлеб черствый,

муки телесные прими, пострадай уж за весь род наш...

АВДОТЬЯ. Хорошо, батюшка, исполню, как ты сказал...

КУРБСКИЙ. Сыновей береги больше своей души... Заставит их отречься от меня, проклясть отца,—пусть проклянут... Этот грех им простится, лишь бы живы были...

АВДОТЬЯ. Да что ты говоришь-то! Да страсти-то!..

КУРБСКИЙ. Не вечно царствие царя Ивана... Три короля поднялись на него в защиту Ливонского ордена... Скоро, скоро конец варварскому царству московскому... Подведи сыновей...

АВДОТЬЯ (подводит мальчиков). Батюшка, касатик, стань на коленочки, попроси у батюшки благословеньца.

ВАНЯ. Родной батюшка, прошу у вас родительского благословеньца...

АВДОТЬЯ. И ты, меньшенький, на коленочки встань, лапушка, Андришенька...

КУРБСКИЙ (обнимает, крестит сыновей. Вытирает глаза). Бог вам поможет... Помните отеческое благословение,—будут вас гнать и терзать, пойдете вы босы и голы, помогите—вы князя Курбского сыновья и враг у вас один—царь Иван! (Шибанову.) Василий, стань под благословенье...

Шибанов кидается перед ним на колени

Благословляю тебя, нелукавый раб. поспеши к царю Ивану в Москву и в руки самому отдай сию эпистолию... (Передает ему свиток.) Да письмоцо вот это передашь тайно княгине Ефросинье Старицкой и поклон... (Передает другой свиток.) Сначала письмо княгине, потом—царю эпистолию, ибо будет тебе тяжело.

ШИБАНОВ. Будь спокоен, князюшка, исполню твою волю...

КОЗЛОВ. Князь Андрей, пора...

КУРБСКИЙ. Ступайте, дети, господь вас храни!..

АВДОТЬЯ. Батюшка, перекрести уж ты и меня...

КУРБСКИЙ. Прощай, жена!.. Прости, бога ради!..

В ворота резкий стук. Козлов кидается к воротам и глядит в щель.

КОЗЛОВ. Воевода!..

КУРБСКИЙ (махает руками на жену и детей). Идите, идите... Проворисе...

Авдотья с детьми ешепит к железным дверям. Снова стук в ворота.

Голос **НОВОДВОРСКОГО.** Стража... Отворяй

КУРБСКИЙ (Козлову). С няк ратник Козлов. Нет... Один...

КУРБСКИЙ. Отвори!..

Козлов отворяет ворота. Входит воевода Новодворский.

НОВОДВОРСКИЙ (Козлову). Ты что человек? (Шибанову.) А ты кто? А, княжий холоп... (Увидел Курбского.) И князь здесь... Чего и спишь-то, Андрей Михайлович? Под воротами будто бы тебе не место... За город—я государю отвечаю... А ты—лежи на лавке, отдыхай после бранных трудов. (Засмеялся.) Ничего, и на старуху бывает проруха... Хотя ты и великого роду и вельми преставный воевода, а наперед помви: идешь в поход—не вози ратников в санях вьювалку, ратник—не пьяная баба на масленицу. Растянул обоз на десять верст, пушки—в санях, под рогожами, и оружие в сено попрятано, и пищали не заряжены... Эх, великородные! Тебя так ленивый не пообьет... Пойдем, князь, пойдем медку выпьем, коли не спится в такую ночь... Тьма проклятая, зги не видать!.. Поехал в объезд—в какой-то овраг нечистый меня занес, конь вогу сломал, стремяный убит... Эй, стражники! Надо людей из оврага выручить... (Увидел трупы, быстро оглянулся, попятился, берясь за саблю.) А-а! Вот вы здесь по каким делам... Трех-то какой! (Гричит.) Стража!

КУРБСКИЙ. Кончай его!

Шибанов с ножом, Козлов с саблей тлаются на воеводу, который отбивается саблей.

Холоп царский! Черная кость! Собака! (Ударяет воеводу кисточем.)

Воевода падает.

Открывай ворота!..

Картина седьмая

Спальные палаты Марьи Темрюковны. Кровать с высокими перинами, покрытая тканым жемчужным покрывалом. Поставки с золотой посудой, кованые сундуки и ларцы из рыбьего зуба. На раскладном стуле сидит Марья Темрюковна в домашнем русском платье. Девушка,

стоя за ее спиной, медленно чешет ей волосы. Марья Темрюковна перебирает струны восточного инструмента. На ковре на полу сидят девушки и поют.

ДЕВУШКИ.

Ты стучи, трещи, лют мороз,
Ты крути, мети злой метелицей,
По лесам звери попрятались,
Галочье, воробьчье понаохлохлось,
Стары люди на печи кряхтят.
Одной девице не холодно,
Красной девице мороз — не мороз!
Снега белые расступаются,
Буйны ветры преклоняются.
Душа-девица свою ладу ждет.

Быстро входит Михаил Темрюкович. Он бледен, сторогая пуба на нем закинута на одно плечо. Марья Темрюковна, оставя струны, вскрикивает.

МАРЬЯ. Брат!

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Государыня, прости, я с челобитьем...

МАРЬЯ. Девы, отойдите.

Девушки отходят в глубину спальни.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ (полувывтаскивает саблю из ножен). Сестра, взгляни.

МАРЬЯ. Кровь? Чья?

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Наскочили на меня холопы княгини Ефросиньи Старинкой.

МАРЬЯ (расширяя глаза, страстно). Где?

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. На Воздвиженке. С ножами, да много их. Стремяного моего стащили с коня, задавили. Одного я зарубил, да не стал более биться, ушел через мост.

МАРЬЯ (изумленно). Не стал биться?

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Сестра, заступись перед государем. К нему уж побежали с оговором на меня...

МАРЬЯ. Ах, враги, враги! Что ни день — смелее, наглее. Трус ты, Михайла! Тебе бы наехать на людишек да саблей их, да конем потоптать. Ах, руки мои слабые!

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Сестра, плохо в Москве... Боярские холопы да площадные подьячие грамоты на базарах мочут, а где и кричат, что ливонская война проклята богом, — теперь-де три короля на нас поднялись, царскому войску тех королей не побить, и будто уж началось: большой полк князя Курбского пропал весь...

МАРЬЯ. Ложь! Тебе, Мишка, стыдно грязь площадную ко мне заносить!..

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Сестра, где сейчас Андрей Курбский?

МАРЬЯ. Курбский? В Ливонии...

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. В Ливонии ли?

А может, в Литве? Говорят, он тайные письма прислал в Москву князьям, боярам...

МАРЬЯ. Слушать тебя не хочу! Дурак ты! Князь Курбский нам верный слуга и друг...

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Экая ты горячая... Ох, смутно... Вчера последний стрелецкий полк ушел в Ливонию... Около государя нас кучка осталась... Зарежут нас в Москве, как баранов... Сестра, слушай... В Москве шепчут, что-де стобит только взорвать Пороховую башню, что в Китай-городе, у государя пушечного зелья не будет, и тогда войне конец... И как-де подожгут Пороховую башню — с этого-де и начнется резня...

МАРЬЯ. Ты подлинно пьян, Мишка... Государю только на Лобное место выйти да очами повести, перед его очами грозными Москва упадет ниц...

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Упадет ли? Сестра, ведь на площадях кричат, что ты — всему зараза, ты-де царя волшебой извела и разума лишила...

МАРЬЯ. Я его волшебой извела, разума лишила! Враги, враги! Уж меня с мужем моим разлучают. Каждую ночь Иванушко мой придет, бедный, обнимет жарко. А проснусь среди ночи и — шет его на постели. Одна до утра мечусь, как на ложнице.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. А где же спит государь?

МАРЬЯ. Где читает, пишет — там и спит, одинешенек, на лавке. Подремлет до первых петухов и уж зовет дьяка Внечковатого или дьяка Фуникова и думает с ними. С лица осунулся, глаза провалились. Прежде ел много и вино пил, теперь чуть ущипнет хлеба — и сыт...

ГОЛОС ЗА ДВЕРЬЮ. Пусти меня к ней, пусти, холоп!

Марья Темрюковна снова садится на стул, берет гитару, перебирает струны, обращившись к девушкам.

МАРЬЯ.

Ты приди, приди, ладо милое,
Ладо милое, желанный мой...

ДЕВУШКИ.

В темной улице, в переулочке
Заждалась я, дева, соскучилась,
Снег летучий мне щеки выщипал,
Белу грудь мою злой мороз остудил.

Врывается Ефросинья Старицкая, с посохом, в шубе; с порога кланяется царице.

ЕФРОСИНЯ. К тебе, государыня!

МАРЬЯ. Что поздно пожаловала? Я почивать отхожу.

ЕФРОСИНЯ. Мне во дворец двери не заказаны. А ты все песни поешь? По нашему-то обычаю, тебе на ночь надо богу лбом стучать.

МАРЬЯ. Перечить мне будешь, опалюсь сном.

ЕФРОСИНЯ. На мужчину-то тетку? Не бывало этого, не в обычае. (Села плотно на стул.) Челом не бью — прости, ноги слабы. Пожалуй меня, царица! Я к тебе с обидой.

МАРЬЯ. Тебя не жалую, Ефросинья Ивановна, не с добром приходишь, — глазами шарить по углам, как мышь, да по Москве ссору плетешь...

ЕФРОСИНЯ. Спасибо тебе, государыня, что меня мышью обозвала. Да берите меня, да казните меня! Утянули нашу честь... Батюшки, что же это!

МАРЬЯ (гневно). Пришла на моего брата жаловаться? Он — вон стоит, бей на него челом.

ЕФРОСИНЯ (увидела Михаила Темрюковича, всплеснула толстыми руками, тихо заголосила). Ох, ох, святые заступники. Как зрит-то он на меня, разбойник, душегуб! Да как жива-то я еще, батюшки!

МАРЬЯ. Девы, прочь идите, спать ложитесь!

Девушки уходят.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ (Ефросинье).

Что же ты, говори на меня, облыгай.

ЕФРОСИНЯ. Не обращай, батюшка, белыми, не испугаюсь! (Царице.) Братец твой, да с товарищами: с князем Афонькой Вяземским, да с князем Андрейкой Овцыным, да с князем Васькой Темкиным, да с Ванькой Зубатовым, да с Сашкой Суворовым всю Москву разбили. А этот их атаман — лютей пардус.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Врет!

МАРЬЯ. Молчи, пусть она скажет.

ЕФРОСИНЯ. Горячего вина напьются, да как бесы, кресты-то с шеи рвут и прочь мечут и давай по Москве гонять, народ саблями сечь, конами топтать.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Врет старая чертовка!

ЕФРОСИНЯ. Да я ему и говорить не дам. В кабаках кругом задолжал. По Суконым рядам с товарищами пойдет, —

купчишки-то лавки закрывают, бегут, кто куда. Смущение в народе. А он, знай, похваляется: я — царский шурин, мне только царице шепнуть. Царская казна — моя казна.

МАРЬЯ (гневно брату). Говорил? Оправдывайся...

ЕФРОСИНЯ. рта ему не дам раскрыть. Да ты, что ли, не слышала воплей-то на Воздвиженке, как они моих верных людей били, меня, старую, из саней вытащили в сугроб.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Ох, змея! Врет!

ЕФРОСИНЯ. На истине евангелие поцелую! (Слезает со стула и бьет челом.) Государыня, выдай мне головой Мишку Темрюкова, разбойника, и товарищей его, воров, душегубов.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Государыня, здесь измена явная. Они замыслили, чтоб около государя ни одной верной сабли не осталось.

ЕФРОСИНЯ. Врешь, гордый пес!

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Вели пытать ее и меня! Под пыткой скажем правду.

ЕФРОСИНЯ. Палачом меня не пугай, назжий черкек!

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Вели нас вести в застенок.

Входит царь Иван. Он мрачен, угрюм. Останавливается перед Михаилом Темрюковичем. До половины вытаскивает его саблю, усмежается.

ИВАН. Гуляка, пьяница, дурак, прямой дурак! (Подходит к Ефросинье.) Обесчестили тебя, бедная. Мишкиной головы просишь?

ЕФРОСИНЯ. От вдовьей слабости, государь! Уж лишнее что сказала — ты не гневайся.

ИВАН. погоди, не такое еще вам всем будет бесчестие... Как черви капустные пропадете. Слушал я тебя за дверью — душа изныла. Волчица овцеобразная!

ЕФРОСИНЯ. Батюшка, государь! Да что ты!.. Я, может, судру покричала маленько.

ИВАН. Скоро, скоро поставлю вам в Москве земскую волю. Тогда и не маленько покричите. Пошла прочь!

ЕФРОСИНЯ. Ахти, я глухая, ахти, не умею! Прости, государь, прости, государыня! (Торопливо ушла.)

Царь Иван опять ходит, опустив голову.

ИВАН. Славу державы моей доверил ему... Могучность воинскую вручил... Тайные думы мои сказывал ему просто... Уж и не знаю... Чарой его обнес, что ли?

Шубейкой его, убогого, не пожаловал? Грозил ему? Не помню. Отступил он от Ревеля, простояв до зимы напрасно,—я ногти с досады грыз, а ему отписал так-то ласково, отечески. Что он томил наше войско без славы, я и то ему простил, пада его гордыню.

МАРЬЯ. Прилег бы ты, ладо мое! Дай сапожки сниму.

ИВАН (дик о). Заплатил мне за все... Ехидным ядом изъязвил он мое сердце. Ум мутится!.. Больней не мог он ужалить меня...

МАРЬЯ. (гладит ему голову). Ладо мое, затихни. Я здесь, с тобой! Просияй! Вымолви, кто твой обидчик?

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ (гремя саблей, вращая глазами и усами). Кто обидел тебя? Имя скажи.

ИВАН. Андрей Курбский бежал от нас. Отъехал к польскому королю.

МАРЬЯ. Ладо мое, то — добро для нас. Курбский был вором, собакой, от века дышал на тебя изменой...

ИВАН. Позором нашим купил себе отъезд... Под Невелем, уговораясь, дал разбить себя гетману Радзивиллу... Войско утопил в болотах. Сам о двух-конь бежал... За все-то польский король ему — на место ярославских-то вотчин — город Ковель жалует с уездами... Воля ему теперь без моей узды... Бняжи стародовским обычаем! Томлюсь — казни ему не придумаю... (Вынимает из кармана свиток)... С Васькой Шибановым эписистолю мне прислал вместе с васькиной головой... (Тыча пальцем в свиток.) «Почто, царь, отнял у князей святое право отъезда вольного и царство русское затворил, аки адову твердыню...» Ему царство наше — адова твердыня! А уж я-то — сатана, на московских пустошах пью кровь человечью!.. А он-то за королевским столом меды пьет, гордый ростиславич, а меды покажутся кислы, — в Германию отъедет и дважды отечество продаст... «Почто, царь, поморил еси казнями многими единокорных княжат от роду великого Владимира, кого твой дед и отец еще не разграбили и не казнили?..» Каких княжат? Выдай мне их, Андрей, поименно... Да мы и без него пальцем в окошко все их дворы пересчитаем... Вот они, вон, крыши медные... Стонут княжата — служба им — неволя! Неохота в кольчугу влезать — брюхо толсто... Ах, бедные! Дремать бы им нематежно по вотчинам

своим! Да царь-то, с совестью прокаженной, хочет парство свое в одной своей руке держать, рабам своим не давать над собой властвовать... Противно разуму сие! Это ли, православие пресветлое? Мне быть под властью рабов! Я есмь — русская земля! Почто я казни на них воздвиг? А я еще казней на них не воздвигал... Еще не воспалился разум мой...

МАРЬЯ. Брат, государю бы до первых пелухов поспать безбурно. Уйди, оставь нас.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Государь, голова моя и сабля эта — твои.

ИВАН (отмахнулся). Поди, поди, гуляка!

Михаил Темрюкович уходит.

Марья снимает покрывало с постели.

МАРЬЯ. Взгляни на меня ласково, ладо мое.

ИВАН (подходит, усмехаясь).

А что, Темрюковна, — побьют меня три короля, побьют и парство разорят?

МАРЬЯ. Ты их сам, баяночка, на-попы разобьешь. (Идет к поставцу и ижекувшина наливает чару вина.)

ИВАН. Подвяжем мы лапотки с тобой и побредем в чужие земли — куда глаза глядят, христовым именем, былые царь с царницей. Где хлеба дадут, где кваском напоют — вот и хорошо!

МАРЬЯ. А ну пойдем, мне и горя мало. Выпей, месяц мой ясный.

ИВАН (берет чашу и, не отпив, ставит ее). Не короли мне страшны — Москва, толща боярская. Им на разорении земли богатеть да ленивить! Им государство — адова твердыня! Замыслил я неведомое, Марья Темрюковна, — небывалое. Да, видно, еще слаб да робок. С малых лет боярами пуган, а ждать нельзя. Побьют меня три короля. Вот ум и бьется о стены.

МАРЬЯ (опять подает ему чару, и он пьет). Отгони черные мысли, развесели сердце, пожалуй меня любовью, чтобы ныче постелю нашу тихий ветер качал, румяная заря в лицо ладу моему светила.

ИВАН (целует ее). Не сыт я тобой! До гроба сыт не буду. Ярочка белая, стыдливая... Глаза дикие, глаза-то угли. Ну что, что дрожишь? Косами меня задушить хочешь? Задушусь твоими косами, царьца. (Он отстраняет ее и глядит ей в лицо.) Нарумя-

нилась сегодня, али заждались? Что за наваждение? Что с тобой, Марья? (С испугом видит, как лицо ее розовеет, выделяется все отчетливее.)

В дверь стук.

(Бешено кидается к двери)
Кто посмел?

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ (просовывается в дверь). Государь, пожар великий в Китай-городе. Горит кругом Пороховой башни. Как бы не случилась беда.

ИВАН. Кто во дворце?

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Все ближние: Грязной, Вяземский, Суворов...

ИВАН. Беги за ними! Буди! Да пошли за Малютой.

Михаил Темрюкович кубтает.
Иван надевает кафтан.

Жена, шодай саблю!

МАРЬЯ. Государь, кольчугу шадень.

ИВАН. Не надо. Пабат слышишь? Не одному мне Курбский письма прислал. Завтра с Лобного места поговорю с Москвой опричь всего... Опричь всего... (Отрывает от себя руки Марьи.)
Ложись, да не спи, — жди, вернусь.

Картина восьмая

Лобное место на Красной площади. За кремлевской стеной, покрытой досчатой деревянной кровлей, видны купола соборов и золоченые, луженые причудливые крыши деревянных дворцов.

Зимний день. В морозной мгле висит красноватое большое солнце. Слышны триштыль звуки костяных рогов и прозяжные голоса бирючей. Стеклопущийся толсюду народ не виден, так как приорок Лобного места значительно выше площади.

подножкя Лобного места похаживает едор Басманов. Он в черном кафтане. На ножнах сабли висит большая кисть в виде метлы.

ЛОС ПЕРВОГО БИРЮЧА. Закрывай лавки, бросай торговать! Государь сказал итти на Лобное место!

ЛОС ВТОРОГО БИРЮЧА. Мужики деревенские, люди слободские, посадские, айда на Лобное место!

ЛОС ТРЕТЬЕГО БИРЮЧА. Князья, бояре, окольникиче и всяких чинов дворцовые и приказные люди; идите на Лобное место!

ИВАНОВ (помахивает в пиз — туда, где шумит толпа). Побли-

же, поближе, торговые люди, шичего не бойтесь! Самые добрые — выходите на одному.

Купцы и за ними ремесленники поднимаются на приорок и кланяются Басманову.

ПЕРВЫЙ КУПЕЦ. Купец скобяного ряда. Ше стопалов, где стать-та?

БАСМАНОВ. Колпачком прикройся, кушачок отсунь, стой весело.

ПЕРВЫЙ КУПЕЦ. Да уж как можем...

ВТОРОЙ КУПЕЦ (с лицом и бородой, как пшут на иконах). Мы купцы Алексеевы, нитощники, каиятельщики.

БАСМАНОВ. Э-ва, какой ты старый!

ВТОРОЙ КУПЕЦ. Бада! Татарское иго помню.

А я еще ничего...

ПЕРВЫЙ РЕМЕСЛЕННИК. Мы — оружейники с Арбата.

ВТОРОЙ РЕМЕСЛЕННИК. Кожевники от Мясицких ворот...

БАСМАНОВ. Ремесленникам стоять отдельно.

Ругань, крики. Выбегает, толстая румяная женщина в двух шубах и трех платках.

КУПЧИХА. Как — зачем бабу вперед? Как — зачем бабу? Купчиха я добрая. Здравствуй, боярин!

БАСМАНОВ. Здравствуй, печь!

КУПЧИХА. Уж и печь! А я вправду — что печь, на мне хоть блины пеки.

БАСМАНОВ. Чем торгуешь, добрая?

КУПЧИХА. Да, что ты, батюшка! Да в обжорном ряду да я первая купчиха. Да ты ел ли широг-то мой? Пресвятая богородица! Да в лавке у меня что хошь спрашпвай, и отказу нет, и ходить тебе больше некуда...

ПЕРВЫЙ КУПЕЦ. Расступись, народ! Суконная сотня идет.

ТРЕТИЙ КУПЕЦ. Кланяюсь тебе, боярин — суконной сотни купец Калашников!

БАСМАНОВ. Живешь по-здорову, Степан Парамонович?

ТРЕТИЙ КУПЕЦ. Торгуем помаленьку.

КУПЧИХА. Живем по-божьи: кто кого обманет.

ТРЕТИЙ КУПЕЦ (строго). Вдова?

КУПЧИХА. Вдова.

ТРЕТИЙ КУПЕЦ. И видно, что бить некому.

БАСМАНОВ. (мужикам, которые подходят). Христиане, подходите, подходите, не бойтесь! Откуда?

МУЖИК. Мы — мужики из деревни Раздоры.

БАСМАНОВ. А что высоко подьясались? Али драгые собрались?

МУЖИК. Само собой, не для шуток народ сгоняют.

Крижи, щелканье кнутов.

БАСМАНОВ (кричит в ту сторону).
Не пускай их близко! Князя, бояре, из саней вылезайте, идите пешком...

СБОМОРОХ (выскакивает из толпы, размахивает бумагой). А вот я — с челобитьем на нашего воеводу. большого боярина, такого-то доброго да милостивого, что зажили мы богато: есть стало нечего, скота много — две кошки дойных да мышь на снесе, мелной посуды — крест да пуговница, а в огороде — репей да луковица...

Хочет. Вдали шум и ругань. Размахивая длинными рукавами, полками шубы, спешит князь Оболенский-Овчина, чтобы стать первым у Лобного места. За щем несколько бояр.

ОБОЛЕНСКИЙ. Куда хочу — туда еду. где хочу — там из саней вылезая. Шубу на мне всю ободрали. Четыреста лет мы, рюриковичи, пешком-то не ходим. Обида!

БАСМАНОВ. Князя, бояре и всяких чинов приказные люди, становитесь по левую руку.

ОБОЛЕНСКИЙ. Это ты тут главный, Фелька? Дожили! Он — лапотник — наверну, я — внизу... Обида!

БАСМАНОВ. Вытрись платочком, князь, прохлади спесь! Лопнешь...

В толпе смех.

ОБОЛЕНСКИЙ. Сгинь, смерд!

Кидается на него с посохом. Бояре с приговором: «Уймись, уймись», оттаскивают его.

Появляются княгиня Ефросинья и Владимир Андреевич, затем — князь Репнин.

ЕФРОСИНЯ. Пару-то черного, подлого! Да кто их, страдников, пустил к Лобному месту?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Нелоброе государство задумал. Не уйти ли нам, любезная матушка?

ЕФРОСИНЯ. Ничего, не бойся, стой крепко, — мать за тебя все сделает.

К ней подходит Репнин и — тайно:

РЕПНИН. Человек найден.

ЕФРОСИНЯ (перекрестясь). Кто так?

РЕПНИН. Из немцев. На Варварке вино курял и пиво варял. Царь велел шинок его разбить. Оттого он зол.

ЕФРОСИНЯ. Достаточно ли зол?

РЕПНИН. Метить хочет.

ЕФРОСИНЯ. Надежен ли?

РЕПНИН. До денег жаден. Ловок и увертлив.

ЕФРОСИНЯ. Здесь он?

РЕПНИН. Вот — стоит.

ОБОЛЕНСКИЙ (боярам). В храм пресвятой богородицы нас никого, ближних, не пустили. Не хочет царь Иван с нами молиться богу. Недостойны! С кем же он обедню стоит? Сам-третей: он, парипа да — тьфу! — третий с ним — поганый татарин, касимовский царенок, Симеон Бекбулатович...

Среди бояр смущение, ропот: «Небыточное это... Не бывало...»

ОБОЛЕНСКИЙ. У него на Воздвиженке, на дворе, стоят два десятка кобылиц дойных. Симеон Бекбулатович кобылье молоко пьет и жеребячье мясо ест, а царь — его крестный отец — жалует его нам на бесчестье.

Перезвон колоколов. Люди снимают шапки, крестятся.

БАСМАНОВ (народу). Царь и государь Иван Васильевич вышли!

На переднем плане — безмолвная стена: Ефросинья и Репнин проходят мимо человека в кожаных узких штанах, в широкой бархатной куртке и плюсовой шапочке с пером. Репнин кивает Ефросинье на человека, она улыбается ему, немец понимающе подмигивает и приоткрывает нолу куртки, под которой у него спрятаны лук и стрела. Ефросинья роняет кошель. Немец быстро поднимает.. Мимо проходит Василий Блаженный.

ВАСИЛИЙ (Ефросинье). Копеечку дай, дай, добрая!

ЕФРОСИНЯ. Нету, нету, нету ничего.

ВАСИЛИЙ. Все огдала, милостивая?

РЕПНИН. У царя проси копейку. Ну, — пошел, пошел!.. (Толкнул его.)

ВАСИЛИЙ. Пожалели бояре копейки... Ох, ох!

В толпе ропот: «Не трогайте, не трогайте блаженного». Особенно громко зашумели мужчины

МУЖИК. Эх, боярин-ста! Ты нашего не замай!..

ПЕРВЫЙ ремесленник. Зачем толкаешь блаженного, ай разуму нет?

ПЕРВЫЙ купец. Иди к нам, Васенька!

ВТОРОЙ купец. На, божий человек, поешь просвирочку.

ВАСИЛИЙ (идет, взмахивая руками). Кыш, кыш, кыш! На куполах-то вороны. Кыш! На крышах-то вороны, на деревьях-то вороны. Кыш! От вороньих крыл свету не видно... Кыш! Кыш!

На Лобное место всходит Василий Грязной. Он в черном кафтане, в черной шапке, к поясу привязана метла. Положив руку на рукоять сабли, оглядывает толпу.

ГРЯЗНОЙ. Московские люди, государь хочет с вами говорить.

Сейчас же у подножья Лобного места становятся с бердышами Михаил Темрюкович, Темкин, Суворов и другие. К ним Басманов подводит юношу лет восемнадцати, также одетого в черное.

БАСМАНОВ. Не робей, становись с ними.

ГРЯЗНОЙ. Кого привел?

БАСМАНОВ. Царь велел ему стоять.

ГРЯЗНОЙ. Кто таков?

БАСМАНОВ. Борис, окольного Федора Годунова сын.

ГРЯЗНОЙ. Пусть стоит.

На Лобное место всходит Иван. Толпа затихает. Позади него Грязной и Симеон Бекбулатович — толстый, круглолицый, без бороды, с висячими усами, в парчевой золотой шубе, высоком колпаке о лисьей опушкой. Иван кланяется на три стороны.

ИВАН. Прощайте, прощайте, прощайте!

Толпа разом вздохнула и затихла. На Лобное место вскарабкался Василий блаженный и сел, пригорюнясь.

Жития нам в Москве более не стало... Сколь ни грозил я и ни вразумлял, враги мои, недоброхоты людские — князья и бояре мои, и окольные, и все приказные люди, а с ними вкуче епископы и попы, — держа за собой поместья и вотчины великие да жалованье государственное получая к тому же, — обо мне, государе, о государстве нашем, обо всем православном христианстве радеть не захотели... От недругов, с кем ныне ведем войну, государство оборонять не хотят... Ищут расхищения казны. Мучительства ищут всем добрым христианам. Понирают благочестие душ своих ради сребролюбия, ради сладости мира сего, мимотекущего. А захочу я кого казнить, — милые мои! Да крик-та, да шум-та! Епископы да попы, сложась с

боярами да князьями, начнут печаловаться о воре-то. Уж я для них — лев-гровадец, я для них — дьявол злопыхающий... Твердыня адава — им самодержавное государство наше... Хотят жить по-старому, — каждому сидеть на своей вотчине, с войском своим, как при татарском иге, да друг у друга уезды оттягивать... Разума нет у них и ответа нет перед землей русской... Государству нашему враги суть, ибо, согласись мы жить по старине, и Литва, и Польша, и немцы орденские, и крымские татары, и султан кинулись бы на нас через все украины, разорвали бы тело наше, души наши погубили... Того хотят князья и бояре, чтобы погибло царство русское... Увы! Рассвирепела совесть моя. С князьями и боярами и наперсниками их жить в согласии более не можем. С великой жалостью сердца надумали мы оставить Москву и поехать куда-нибудь поселиться опричь.

Опять вздох в толпе, плач и опять тишина.

ВАСИЛИЙ. Так, так, батюшка! Так, так...

ИВАН. Хотим жить по-новому на своих уделах и думать и скорбеть о государстве нашем опричь земщины. Вам, гости именитые, купцы посадские, и слобожане, и все христианство города Москвы и деревень московских, сомнения в том на меня никакого не держать. Гнева и опалы на вас у меня никакой нет.

Крики: Горе нам, горе нам! Останься, останься!

ИВАН. На расхищение вас не отдам и от рук сильных людей вас избавлю.

МУЖИК. Батюшка, не тужи! Надо будет — мы подможем.

ТРЕТИЙ КУПЕЦ. Ты, государь, только спроси, а уж мы дадим.

ИВАН (кланяется налево — боярам). Не люб я вам. Хочу рубища вашего али еще чего худого? Припала мне охота есть вас, кровь вашу пить? Так, что ли? Прощайте! А как вам, князьям и боярам, без царя жить не можно, жалую вам царя. (Дернул за руку и вытащил вперед себя Симеона Бекбулатовича). Вот вам царь вся земщины. (Кланяется ему.) Жалую тебя, государь Симеон Бекбулатович, князьями и боярами моими, уделами и уездами ихними и градом Москвой.

Симеон Бекбулатович, сося и
вращая глазами, поправляет на голову
высокий колпак, бояре пятятся, закры-
ваются руками, ахают, начинают кричать:
«Бес, бес!»

ОБОЛЕНСКИЙ. Чорт в него вошел, чорт!
РЕПНИЦ. Государь головой занемол!

ЕФРОСИНЯ. Царица его зельем опоила!

ИВАН. Не быть тому! Отходите от меня, из-
менники, в земщину! (Берет у Гряз-
ного метлу.) А мы идем опричь, не
щадя отца и матери, брата и сестры, не
щадя рода своего, этой метлой мести из-
менников и лиходеюв с земли русской.

ВАСИЛИЙ (вдруг поднялся, засло-
няя собой Ивана). Не надо, не
надо. Не отнимайте дыхания его.

Тишина. Звон стрельы. Пронзительный
стенный крик.

КУПЧИХА. Убили!

Василий падает, пронзенный стрелой.
Иван наклоняется в нему, схватывает его
повисшую голову, прижимает к себе и
глядит в толпу страшными глазами.

Картина девятая

Палата нового дворца в Александровской
слободе. В замерзших окнах — сумрак ран-
него рассвета. Басманов, поднимая
фонарь, вглядывается в лица сидящих на
лавке — дьяка Висковатого, дьяка
Новосильцева, Юргена Ференс-
баха — молодого человека, ливонца — и
князя Воротынского;

БАСМАНОВ. Висковатый — здесь. Новосиль-
цев — здесь. Юрко Ференсбах. (Тот
вскрикивает.) Сиди, сиди смррно.
Списки принес?

ФЕРЕНСБАХ. Так, так, — списки рыцарей я
принес...

ВОРОТЫНСКИЙ (заслоняясь рукой). А ты
не слепи фонарем в глаза-то, шалун!

БАСМАНОВ. Мне же отвечать, Михайло Ива-
нович. Государь — накрепко приказал
прийти всем пораньше.

НОВОСИЛЬЦЕВ. Когда он спит только?

БАСМАНОВ. А почитай, совсем не спит.

Входит Малюта.

МАЛЮТА. Зюрово! (Садится.)

БАСМАНОВ. По-зоровому тебе, Малюта!

МАЛЮТА (Басманову). Ефросинья Ива-
новна опять к царице пошла?

БАСМАНОВ. Не ола, с ввучкой. Царица по-
желала осмотреть княжлу.

МАЛЮТА. Подлинно ли царица пожелала ви-
деть ефросиньну впучку?

БАСМАНОВ. Княжлу нынче будут принцу
Магнусу показывать, — не знаешь, что
ли...

Входит Грязной, прямо с мороза, треп-
уши, топают ногами.

ГРЯЗНОЙ. Ох, братцы! Опричьина — потруд-
ней монашеского жтня. Полсуток с
седла не слезал.

БАСМАНОВ. Ты, невежа, на копышню при-
шел — ногами стучать?

ГРЯЗНОЙ. Да ведь мороз-жа. До костей проб-
рало и в брюхе со вчерашнего дня пе-
тухи поют.

МАЛЮТА. А ты привык воевать вокруг ен-
довы с медом, опричник!

ГРЯЗНОЙ. Не цепляйся ко мне, Скуратов.
Взгляни лучше, каких я коней отобрал
двенадцать тысяч голов. Один иноходец,
сивый, с черным хвостом, — ну, колы-
бель!

МАЛЮТА (с усмешкой). Колыбель!

БАСМАНОВ (мигнув ему). Василий, се-
годня возвеселимся.

ГРЯЗНОЙ. Что ты говоришь! Эх, вот бы...
Давно что-то не веселились.

БАСМАНОВ. Приказан большой стол.

ГРЯЗНОЙ. По какому случаю?

БАСМАНОВ. Обручать будем принца Магнуса
с княжной Старичкой.

ГРЯЗНОЙ. Ох, я и напысь до удивления...

БАСМАНОВ. Да государь-то что-то суров.

Входит Иван со свечой. Вглядывается в
окна, гасит свечу и садится на стул у
стены — напротив лавки, с которой вска-
кивают сидящие на ней. К нему подхо-
дит Басманов.

ИВАН. Собаки выли всю ночь.

БАСМАНОВ. Это замечалось, государь.

ИВАН. С чего собаки выли?

БАСМАНОВ. Зверя чуют, государь. Мороз
очень крепок, зверь из лесов вышел.

ИВАН. Зверя чуют. Зачем Ефросинья почева-
ла во дворце?

БАСМАНОВ. Ты сам приказал княжне Старич-
кой с бабушкой быть наверху.

ИВАН. А тебе бы стать против меня да
спросить смело, если чего не понял...
Думать ленивы стали...

БАСМАНОВ. Да где же Ефросинья с княжной
почевать? Все подлетни у нас забыты
опричьниками. Да она нынче тише воды,
ниже травы.

ИВАН. Так, так, вы все правы, один я крив.
Давеча кричали громко у ворот и с фо-
нарями бегали — что случилось?

БАСМАНОВ. Умора, государь. Из Москвы
бояре пожаловали целым обозом, да заб-

лудились в лесу-то. Я их от ворот повернул в слободу — стать на мужицких дворах. Здесь, говорю, не Москва, здесь — опричина. Так-то обиделись.

ИВАН. Обедать их позови, а посадить за нижний стол.

БАСМАНОВ. Воля твоя! Только крику будет много, государь...

ИВАН. Дьяки...

Висковатый и **Новосильцев** тоспешно подходят к нему, кланяются. **Иван** достает из кармана два святника.

Два послания написал ночью: императору священной Римской империи и аглицкому королю. (**Висковатому**, передавая грамоту.) Тебе ехать в Вену... (**Новосильцеву**.) Тебе — в Лондон... Пустые слова стали говорить про меня при королевских дворах. Я, вишь, головой занемог... Царство свое разоряю потехи ради... Сажусь пировать — за столом у меня девки срамные песни кричат, а я, распаяясь похотью, им груди ножом порю, кровь пью... Князья да бояре, восстав единодушно, меня за то из Москвы прогнали, как лса бешеного... Укрылся я здесь в Александровской слободе с опричниками смирочами и разбойниками... Вот и поднялись на меня три короля совершить божеское правосудие. Воеводы мои вместе с Андрюшкою Курбским разбежались, и войска у меня более нет, по лесам хоронится... Ах, ах, как такого паря земля терпит!..

ВИСКОВАТЫЙ. Кто же сказкам таким поверит, государь!

ИВАН. Верят! Свидетели моим злодеяниям пересылаются из Москвы в Варшаву и далее. Слухи — как птицы летят... Грузны седалища у князей удельных, непомерны чрева у бояр моих, языки их, как у ехидны, остры для клеветы. (**Новосильцеву**.) Как ты станешь говорить с аглицким королем?

НОВОСИЛЬЦЕВ. Скажу, что ты, государь, скорбишь о великих трудах аглицких торговых людей, за то, что им далеко и трудно плыть из Лондона в Архангельск, и хочется тебе, чтоб плыли они коротким путем, через Варяжское море в Нарву, в Ревель и Ригу.

ИВАН. Так, так, так...

НОВОСИЛЬЦЕВ. И только любви ради и дружбы к аглицким торговым людям начал ты ливонскую войну...

ИВАН. Не поверят, дьяк. Они люди умные... Про короткий путь в Москву они лучше

тебя знают... Скажешь: воюю я со шведским королем, который запер проливы в Варяжское море, и воюю спольским королем, которому помогают немцы, в Ригу аглицких кораблей пускать не хотят. Но лучше ли будет аглицкому королю не сидеть, сложа руки, дожидаясь конца моих бранных трудов, а послать бы свои корабли — подмочь мне с моря... Вот тогда и заговори с ним о любви-то...

НОВОСИЛЬЦЕВ. Помял, государь.

ИВАН. И еще скажешь: третий король Христиан Датский, — который аглицкому королю больше других досадил, — нынче со мною в любви и мире, и я выдаю племянницу мою за сына его принца Магнуса... Вот какой я человекоедец... (**Висковатому**.) Твоя служба в Вене будет труднее. Как станешь говорить с императором?

ВИСКОВАТЫЙ. Двоемысленно, государь...

ИВАН. Так, так... В Вене люди коварны. Там надо пужать да собольими шубами одаривать. Говори, что у нас с императором один враг — турецкий султан, случится беда — ему никто не поможет, помогу один я. А турецкому послу, подарив шубу с моего плеча, скажешь, невзначай, что нынче у меня пове войско стало, — на коней посажены двадцать тысяч опричников, искусных к бою...

ВИСКОВАТЫЙ. Государь, а буде в Вене станут спрашивать, что за диковинка — опричина?

ИВАН. Скажи, — бранная сила моя. Скажи, — перестали мы терпеть старый обычай — сидеть царем на Москве без своего войска, а случись война — кланяться удельным князьям, чтоб шли на войну со своими мужиками, с дубем да рогагиной... Захотели мы — великий государь — войско свое великое иметь, шбо земля наша велика, и замыслы наши велики... И такое войско, опричь всего, мы завели... А впрочем, этого императору не говори, зачем ему знать... Скажи только: государь нынче правит государством один, собирает доходы в одну казну и нашел молодых воинов, любящих смертную игру, и их припускает близко к себе, и во всем им верит. То есть опричнина...

ВИСКОВАТЫЙ. Так, государь.

ИВАН. Да не уставай повторять турецкому послу, что нынче мы хана Девлет Гирея не боимся: наш степной воевода Михаил Иванович Воротынский всю Дикую степь

сторóжами преградил от крымских татар, у него в степи сто тысяч станичников с коней не ссаживаются. (Воротынскому.) Так ли, князь Михаил? (Подходит к Воротынскому и обнимает его.) Михайло Иванович, здравствуй!.. Здоров ли?

ВОРОТЫНСКИЙ. Здоров, государь.

ИВАН. Экий ты какой седатый стал. Княгиня, княжата, княжны — все здоровы ли?

ВОРОТЫНСКИЙ. Здоровы, государь.

ИВАН. А ты печален? Нужды у тебя нет ли какой?

ВОРОТЫНСКИЙ. Есть у меня нужда.

ИВАН. Говори, преси...

ВОРОТЫНСКИЙ. Государь, отпусти меня в монастырь.

ИВАН. Что ты? В келью хочешь? На покой? А крымский хан пускай лезет через Оку, жжет Москву?

ВОРОТЫНСКИЙ. Стар я. Телом еще силен, но головой немощен. Не уразумею, что творится. К чему, зачем это? Приехал из степи в Москву, иду во дворец, — на моем отчем троне сидят татарин пучеглазый, усами шевелит, как таракан. И которые бояре ему — царскому чучелу, страшилищу — уж кланяются, деревенек просят.

ИВАН (громко, весело и злобно засмеялся). А ты не поклонился?

ВОРОТЫНСКИЙ (гневно). Нет!

ИВАН. Обидел, обидел великого царя Симеона. Он же ваш, земский. А я только князек худородный на опричных уделах.

ВОРОТЫНСКИЙ. Не пойму! Плач и стенание в Москве: у монастырей земли отбирают, вотчинных князей с древних уделов сводят и с холопами гонят на Дон и далее. Зачем?

ИВАН. И твой стольный град Воротыньск мы в опричнину взяли; прости, Христа-ради, да — нужда. По смоленской дороге до Литвы, и по ржевской, и по тверской до самой Ливонии все города и уезды опричникам моим розданы малыми частями. Помнишь ли золотые слова премудрого Ивашки Пересветова: «Вельможи-то мои выезжают на службу цветно, и коню, и людно, а за отечество крепко не стоят и лютою против недруга смертною игрой играть не хотят. Бедный-то об отечестве радуется, а богатый — об утробе». Вот — правда. (Указывает на Ференсбах.) Вот, поверил ему, пленнику. Он из Ливонии мне семь тысяч юношей привел с огненным боем.

ФЕРЕНСБАХ. Так, так. Воины добрые.

ИВАН. Васька Грязной двадцать тысяч молодцов собрал по уездам, да таких, что и на кулачки против них не становись, одел их, обул и смертному бою научил. То есть опричнина. Ну, ну, прости, Михайла Иванович, что кричу и ядом слюны на тебя брызгаю. Люблю тебя. Таких-то богатырей у нас мало. Не сердчай, на — прими, — теплое с моего тела, — отцов крест медный. (Снимает с себя крест, надевает Воротынскому, целует его в голову.) Поди отдохни. За обедом сядешь со мной.

ВОРОТЫНСКИЙ. Государь, отпусти меня в монастырь.

ИВАН. Курбский в Польшу бежал, ты — к святым старцам? Ужалил, ужалил... Скориня! Вот вы как ненавидите меня... (Садится на стул, закрывает рукой глаза.) Содрать с него кафтан, дать рубище ему. Нищим захотел быть — лишь не служить нам! Изменил!

ВОРОТЫНСКИЙ. Не изменник я!

ИВАН. Врешь! Смрад от тебя. Труп живой! Иди от меня прочь! Напаяль клубук, сиди на гноище. Не замолишь тебе сегодняшнего греха. А я тебя забыл.

ВОРОТЫНСКИЙ (стоя перед ним, опустив голову, расставя руки). Трудями, рапами и кельи не заслужил?

МАЛЮТА. Уходи, чего стоишь?

БАСМАНОВ. Уходи, князь, не гневи государя.

Воротынский, со всхлипом, поклонился Ивану, который и не взглянул на него, и, пошатываясь, вышел. Малюта тихонько рукой помахал на дверь Висковатому, Новосильцеву, Ференсбаху, они, молча поклонившись, тоже ушли; за ними вышел Басманов.

ИВАН. На что тогда сказано: возлюби? На что тогда умиление сердца? На что ночи бессонные? У лучшего и храброго поднялась рука поразить меня, когда ему на шею крест теплый с груди надевал.

МАЛЮТА. Все они таковы, государь. Свой — за своего. Разворонил древнее гнездо, так уж довершай дело.

ИВАН. Так, так, Малюта... А я робок? Доверчив? Да плаксив, что ли? Письма врагам пишу, когда плаха нужна и топор? Чего глаза отвел? Договаривай.

МАЛЮТА. Не мне тебя учить, ты — в поднебесьи, мы — в днях сухих, рассуждаем попросту. Да вот хотя б, Василия-то убили на Красной площади. По розыску будто бы ничего не найдено, а ведь дело это большое, тайное, боярское.

ИВАН (подскочил к нему). Что ведомо тебе о вассальном деле?

МАЛЮТА. Государь, нынче ничего тебе не скажу, жги меня огнем.

Иван отходит к окошкам, в которые уже пробилась солнечный свет.

ГРЯЗНОЙ. Эх, государь, дал бы ты мне сотни три опричников,—чесанули бы мы боярскую Москву. Такой бы испуг сделали...

ИВАН. Врешь, лукавый раб! То добро, что верить человеку. А что ж, и обманут! Девять обманут,—казни их. Десятый не обманет. За десятого бога благодари. Десятый найден,—люби его. Достаточно у меня темных ночей да собачьего оя, допросов к совести моей. Не для кровопийства утверждаем царство наше в муках. Ты не смей усмеяться, что я много писем пишу врагам моим. К письменному искусству страсть имею, ибо ум человеческий — кремь, а жизнь мимотекущая — огниво. Жизнь я возлюбил. Я не схимник. (Толкнул в грудь Грязного.) Ну, ты — становись на кулачки.

ГРЯЗНОЙ. Что ты, государь, я ударю — умрешь же...

ИВАН. А ну, выдержи. (Ударяет его в грудь.)

Грязной отлетел на несколько шагов.
(Иван засмеялся.)

Входит Басманов.

БАСМАНОВ. Государь, дозволю. Время тебя наряжать. Принц скоро будет.

ГРЯЗНОЙ. Постой, давай, что ли, дохеремся.

ИВАН. Ну, ну, знай свое место... Поди, скажи дьяку, чтобы тебе указ написали: ехать тебе вместо князя Воротынского в степь воеводой.

ГРЯЗНОЙ. Мне, конюху, большим воеводой в степь? Да батюшки! Честь-та!..

В глубине двора, слышен женский крик, встревоженные голоса, топот ног. Иван весь вытягивается, слушает.

ИВАН. Царица?

Бегает Михаил Темрюкович.

МИХАИЛ ТЕМРЮКОВИЧ. Нет, нет!.. Девка ближняя, любимая царицы, упала вдруг да белая стала, зыбилась, и пена у ней на губах. Падучая, что ли?

ИВАН. Ефросинья была наверху?

Картина десятая

Там же. За столом на троне сидит Иван в царском облачении, направо от него — Марья в царском облачении, налево — принц датский Магнус — длинный, молочно-розовый молодой человек, в куртке с прорезными рукавами, в коротком бархатном плаще. Напротив него — Владимир Андреевич. За троном Ивана — Висковатый, который переводит ему слова принца; за стулом принца — толмач, иноземец, приземистый, бритый, остроносый.

Столы, где сидят опричники и бояре, не видны зрителю, — они размещены в глубине, по обе стороны столов, поддерживающих расписные своды палаты. Иван торжественно важен, но говорит с лукавством. Он берет руками с блюда, стоящего перед ним, и накладывает на золотую тарелку, которую держит Басманов.

ИВАН. Хлеба, мяса, плодов земных у нас достаточно. Хотим мы делать со всеми народами любовь. Мужик — паши ниву, лонукай лошадку, — с богом! Купец — садись на кораблик, плыви по синему морю, — торговых городов для всех хватит, — выноси товары, сняв колпак — зазывай добрых людей — святое дело!

Кончил накладывать куски на тарелку. Басманов понес ее принцу и — с поклоном.

БАСМАНОВ. Принц датский Магнус, государь тебя жалует блюдом — лосиной губой в рассоле с огурцами.

Магнус, которому толмач все время переводит на ухо, встает и кланяется Ивану.

МАГНУС. Благодарю, великий государь, за блюдо!..

ИВАН (вытирая пол-тенцем рукав). Ужаснулся мы, услышав, как французский король тешился в ночь на святого Варфоломея. В стольном граде Париже по улицам кровавые ручьи текли. Это ли не варварство! В угоду вельможам надменным, князьям да боярам своим, зарезать, как баранов, тысячи добрых подданных своих! А вина их в чем? По Маргьену Лютеру хотят богу молиться. Э-ва! Их грех — их ответ. С богом у них и будет свой расчет. Варвары, ах, варвары европейские короли!

МАГНУС (толмачу, который быстро ему переводит). Чего он все проповеди читает! Пил бы да ел спокойно, говорил бы о деле.

ИВАН (Новосильцеву). Чем недоволен прини?

НОВОСИЛЬЦЕВ. Не дерзится — одеде хочет слышать.

ИВАН. Потерпит, пускай привыкает к русскому чину. (Магнусу.) Обижаются на меня короли, будто я хочу Ливонию положить из края в край пугу и попытами коней моих берега Варяжского моря вытоптать... Варвары, варвары! На свою меру меряют меня! На что мне Ливония пуга и безлюдна? Ливония издревле русская земля, но люди в ней живут не русские, так что же мне их резать, как французскому королю поданных своих в ночь на святого Варфоломея? Всякая тварь бога любит по-своему, и бог всех любит. Пускай молятся по Мартыну Лютеру, лишь бы жили мирно и исправно. И суд, и расправу, и обычай, и торговое дело оставлю — такие были в Ливонии. Будь ливонское королевство под твоей, Магнус, державной рукой — наш меньшой брат.

МАГНУС (толмачу). А про деньги на почин моего двора он ничего не сказал?

ТОЛМАЧ. О деньгах не вымолвил.

МАГНУС (встает, Ивану). Если велишь мне быть королем и правителем Ливонии, — хочу оправдать доверие, завоевать Ревель одной своею шпагой. Отдай мне Ревель.

ИВАН (Новосильцеву). Экий петух долговязый, и глуп к тому же... (Магнусу.) Возьмешь пращупом Ревель — отдам город тебе в столицу.

МАГНУС (которому толмач перевел слова Ивана). Спасибо, спасибо, великий государь!.. Твой слуга!..

ИВАН. А для начала любовного согласия между нами хотим закрепить его союзом естества, по примеру предков человеческих Иакова и Лии...

МАГНУС (толмачу). Что за чорт, не хочет ли он мне подсунуть дурную да старую девку?

ИВАН (Новосильцеву). Чего он вспомохнулся?

НОВОСИЛЬЦЕВ. Испугался, что обманем с девкой.

ИВАН (засмеялся). А стоило бы его на козе женить. (Громко.) Что же не видно, не слышно суженой-ряженой, или заспалась крепко, или еще чулочки не надели на белые ноги?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (встает). Государь, вели мне пойти за дочерью.

ИВАН. Поди, поди, скажи: суженый уныл сидит, не пьет, не ест, ножом всю скатерть испорол.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Иду, государь. (Поклонившись, уходит.)

ИВАН (Марье). Чего глаза опустыла, слова не молвишь, сидишь, как на поминках?

МАРЬЯ. Государь, прости, буду весела.

ИВАН. А чего бледна, смутна-то чего?

МАРЬЯ. Не гневайся на меня, ладо мое.

ИВАН. Или младенец, что ли, томит тебя?

МАРЬЯ (тихо, со страхом). Нет, младенец как будто покоен.

В глубине появляются Обленский и Решнин. За ними несколько опричников.

ОБОЛЕНСКИЙ. Что хотите со мной делайте, — не сяду и не сяду за нижний стол...

РЕШНИН. С мужиками, с конюхами нас посадили! Спасибо тебе за честь, за место, великий государь!

ОБОЛЕНСКИЙ. Господи! Куда же теперь деться-то, свет клином, всё под твоей властью, Иван Васильевич. (Заплакал.)

МАГНУС. Чего они кричат? Кто эти люди?

ИВАН. Мои шуты. Великие искусники, — уж рассмешат, так до слез.

ОБОЛЕНСКИЙ. Вотшину шутами сделал ты нас. Выйдешь на двор-та, взмахнешь рукавами — над опустелой Москвой одни вороны тучами. Добился своего. (Становится на колени.) Делай с нами, что хочешь, только убери от нас царя Симеона. Вернись в Москву.

РЕШНИН. Насмешил Москву! Весь свет насмешил... Уж будет!

МАГНУС. Мне не смешно, и никто не смеется.

ИВАН (Обленскому). Шут, плохо веселишь гостя. (Решнину.) Ну, а ты чем позабавишь?

Опричники подталкивают Решнина к столу.

БАСМАНОВ. Петухом покричи, или в чехарду попрыгай, ну-ка! Чего заробел, князь?..

РЕШНИН. Вот я сел, вот я сел! (Шлепается на пол, оскалась, глядит на всех.) Тут мое крайнее место. Унесите меня отсюда, вперед ногами.

ИВАН (Магнусу). Не смешно?

МАГНУС (захохотал). Очень смешно.

ИВАН. Еще смешнее будет. (Опричникам, указывая на князей.) Унесите их, парядить обоих по чину.

Опричники с хохотом подхватывают брыкающихся князей и уволаживают их из

палаты. Магнус катается от смеха. Иван зло кусает конец шелкового платка.

Мы люди простые. Забавы у нас невинные.

Появляются Владимир Андреевич и Ефросинья, которая ведет княжну под покрывалом.

ЕФРОСИНЬЯ. А вот и суженая-ряженая наша.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Принц Магнус, по обычаю, тебе встать да у юницы покрывало поднять, да в уста ее целовать, да чару за ее здравьице пить.

МАГНУС (толмачу). Чорт меня возьми, будь что будет!

ЕФРОСИНЬЯ. Принц батюшка, девки у нас на Москве красивые, а эта — внученька моя, — как ландыш лесной, как ясный месяц среди звезд.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (наливает чару). Принц Магнус, прими-ста от дочери моей поцелуй и чару.

МАГНУС. Готов исполнить волю великого государя и царя всея России.

ИВАН (кусая платок). Еще бы ты поцеловался!

Магнус поднимает на княжнине покрывало и отшатывается, пораженный ее красотой.

МАГНУС. Несказанная красота!

ИВАН. Не обманываем, торгуем честно.

МАГНУС. Хорош русский обычай. (Целует княжну.)

Княжна, обмерев от страха, как куля, подставляет губы.

ЕФРОСИНЬЯ. Довольно и одного разика, батюшка, сладкого понемножку.

МАГНУС. О, я счастлив!

Марья встает, держа обеими руками чашу.

МАРЬЯ. Принц Магнус, хочу пить здравие твое и нареченной невесты. (Идет к принцу и княжне. В это время к Ивану подходит встревоженный Малюта и — на ухо.)

МАЛЮТА. Государь, ничего не пей, не ешь, и царю не вели ни пить, ни есть.

ИВАН. Что?

МАЛЮТА. Девка, которая кричала утром, померла. Была отравлена.

Иван сходит с трона и идет к Марье.

МАРЬЯ (принцу). Книжалу подобно красота женская сердце пронзает, и нет покоя сердцу уязвленному, нет ему ис-

целения, лишь одна ему любовь истинница.

ИВАН (Марье, тихо). Не пей.

МАРЬЯ. Вино чистое, государь... За лютую эту чашу. (Выпивает, клянется и идет к столу.)

Иван идет за ней.

ИВАН. Девка твоя умерла.

МАРЬЯ. Марфуша умерла? (Покачнулась.) Смерть бродит около и я утайла от тебя... Давеча, глядя яблочко на столе откуда-то взяло. Надкусила его и Марфуше отдала... О и съела... (Покачнулась.) Кружится голова моя, от вина, что ли... Нушкно, я лишь кусочек съела маленький, и не понравилось мне яблочко. Горькое такое... (Упала на стул. Страшно... Дитя не шевелится во мн лежит, как мертвое... Не забывай меня, лад мое.)

ИВАН. Царице плохо!

ЕФРОСИНЬЯ. Господи, что это с ней?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. За врачом пошли. Эй, кто-нибудь! За врачом!

МАГНУС (толмачу). Царница беременна, дело пустое, от этого не помирают. (Отходит в глубину.)

МАРЬЯ. Ладно, возьми лицо мое в руки... Видеть тебя хочу. Где глаза твои страшные? Наклонись ближе, что же ты... Месяц мой ясный, муж мой, батюшка мой... Орез мой сияющий... (Вскрикнула.) Плохо мне! Прощай, прощай! Не забывай...

ИВАН (падает на колени около нее). Очнись! Марья! С тобой в гроб велю себя положить. Слышишь ты меня?

МАРЬЯ. Слышу.

ИВАН. Дыханья у нее нет больше. Уста холодеют. Уходит в тьму без возврата. (В отчаянии падает на пол, рвет на себе волосы.) Покинула, покинула, покинула... Ушла любезная... Где ты, Марья? Дайте умереть мне... Быть не хочу! Смерть, смерть проклятая!

С хохотом опричники приволакивают Оболенского и Репнина, одетых в шутовские кафтаны и колпаки.

МАЛЮТА (всем). Уходите, прочь! Государь хочет быть один.

Картина одиннадцатая

Там же. Ночь. Под сводами палаты темно. Свет от потрескавшихся свечей падает только на покрытый парчей гроб на вы-

соком помосте со ступенями. У изголовья гроба за раскрытой книгой стоит Иван. То, что лежит в гробе, нам не видно, лишь видно лицо царя. Хор, невидимый под сводами, поет: «Придите, дадим последнее целование».

Из-под темных сводов палаты двигаются опричники и бояре для прощания с Марьей Темрюковной.

Грязной, перекрестясь, поцеловал, нахмурился, вздохнул, встретился взглядом с Иваном, покачал головой, прошел..

Басманов, целуя, заплакал, зло вытирая слезы, оглянувшись в темноту на бояр, прошел.

МАГНУС (замешкался у гроба, всплеснул руками, жалобно сморщился)... О, государь!..

Иван помахал ему кистью руки, чтобы принц не нарушал тишины, проходил бы.

МИХАИЛ ТЕМРЮБОВИЧ (шумно бросился к гробу, приник, зарыдал)... Сестра, сестра!..

ИВАН (сквозь зубы, негромко). Проходи, не мешкай!..

Оболонский, с вклочоченными волосами, тяжело дышит, всходя по ступеням. Поднес персты ко лбу, затряс распухшим лицом. Встретился с неподвижным испытующим, холодным взглядом Ивана, захлебнулся от волнения и страха.

Иван коротким кивком приказывает ему пройти.

Малюта истоиво прощается, медленно, сурово взглядывает на Ивана, который шевелит губами, читая по книге. Проходит.

ЕФРОСИНЯ (еще издали видит насторожившиеся глаза Ивана. Идет смело, со сжатым ртом, с платком для слез в левой руке. Перекрестясь, взглядывает на покойницу, закидывает голову, заламывает руки и начинает голосить так, что невыносимо слушать этот вопль.) Ах, да зачем, зачем ты нас покинула... Ах, да на кого ты нас оставила... Ах, да не с нами, не с нами душевья твоя голубиная!..

У Ивана задрожало все лицо, он вытянул шею, вслушиваясь. Ефросинья грохнулась на колени, поклонилась гробу, и, тяжелая, плачущая сползла со ступеней.

РЕШНИИ (движения его озабочены, торопливы, мелкие. Исполнив обряд прощания, хочет отойти, но, притянутый взором Ивана, поворачивается к нему и — горестно,

просто). Жертва злости нашей, жертва окаянства нашего. Перед уснеием красоты этой — все шелуха, ветром гонимая, все — суета-сует.

ИВАН (с тихой ненавистью, раздельно). Проходи.

Ведут под руки митрополита Филиппа. Иван вытягивается, будто ему не хватает дыхания.

ФИЛИПП (преклоняется перед гробом, дает последнее целование и, опираясь на посох, глядит на Ивана.) Зачем ты стоишь у гроба? Не молись ты. Не скорбь, не покорность воле божьей, не кротость червя земного в душе твоей? Как тигр, ты ищешь жертвы. Отмщения алчешь. Доколе же тебе лютовать? Смирись, не оскверняй великой тишины усения.

ИВАН (весь сотрясаясь от гнева, но сдерживаясь). Молчи. Только молчи, одно говорю — молчи, Филипп. Молчи и благослови ее.

Филипп благословляет покойницу и широким размахом креста осеняет Ивана. Царь отпалтывается. Ко гробу на помост грузным шагом восходит Малюта. Филипп повернулся к нему, потом взглянул на Ивана, тяжело вздохнул через заперкшиеся уста.

ФИЛИПП. Брезгаешь, государь?

ИВАН. Да!..

ФИЛИПП. Прощай, государь.

ИВАН. Прощай.

Малюта помогает свести митрополита с помоста. Под сводами движение, пошопот. Ко гробу идет Владимир Андреевич. Он бледен, лицо опущено, в руке, так же, как у матери, шелковый платочек. Владимир Андреевич поднимается, закрыв глаза, медленно крестится и чуть прикасается к покойнице и сейчас же, будто от обильных слез, подносит платок к лицу. Иван поднимает руку и отрывает платок от его лица. Губы Владимира Андреевича растягиваются в блуждающую жалобную улыбку. Иван, потрясенный, вплоть придвигается к нему.

ИВАН. Ты? Ты? (Схватывает Владимира Андреевича за руку, вместе с ним спускается с помоста и садится на последнюю ступеньку.)

Владимир Андреевич, не сопротивляясь, опускается рядом с ним.

Владимир, брат, — ты убил ее?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. О чем спрашиваешь? Не пойму я, братец Иван.

ИВАН. Ты на ухо мне сказывай, тихонько. Яблочко царице ты положил на стол?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Господи, господи, ничего не знаю.

ИВАН. И вино было отравленное? Ты, что ли, за столом отраву подсыпал? (Гладит его по голове.) Отвечай, не бойся. Беда-то больно большая. На Красной площади Василия ты убил?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Нет, нет, нет!

ИВАН. Братец Владимир, не говори — нет, говори — да. Я все знаю. (Указывает на гроб.) Она перстами незримиыми вдруг мне глаза открыла.

Владимир Андреевич ударил себя в лицо ладонями, плечи его затряслись.

Поплачь, поплачь, ты уже стоишь у врат смерти, Владимир. А совесть-то ведь больше жизни, знаешь. Стыд-то — страха смерти сильнее...

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Братец, опутали меня.

ИВАН. Знаю... знаю.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Не хотел я престола твоего, ни казни твоей... Страхнулся я, говорил им.

ИВАН. Кому? Кому говорил?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Братец, да как их перечислю-то. Все ищут твоей погребли... Ты вот казначею Фуникову веришь...

ИВАН. Ну? Ну?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Он в Варшаву да в Вильну тайно подарки посылает, чтобы король-то нам всем помог.

ИВАН. Врешь... Ох, врешь!

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Чего мне врать, я теперь всех тебе выдам. Чай, знаю, — у митрополита Филиппа в келье собирались. Я не хотел, плакал, как Филипп-то благословил меня на царство.

ИВАН. На царство русское тебя благословил? Как же так? А ведь я еще жив. И яблочко он тебе дал?

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Господи, тоска-то какая! Нет, нет, не давал! Да вот еще, братец, — в Новгороде заговор большой.

ИВАН (схватил его за плечи). Сейчас уж ты не ври.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Крест святой целую.

ИВАН. Сейчас, сейчас дам тебе святой крест... (Отпустил Владимира и начал шарить у себя на груди.)

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Новгородский-то епископ Пимен — да с боярами переговариваются с Литвой, чтоб Новгороду от тебя отпасть...

ИВАН. Владимир, страшными пытками тебя буду пытать.

ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Дай, дай крест, целую.

ИВАН. Креста нет, другому предателю на шею надел. Ах, зачем же я щадил вас? (Ударяет себя в голову.) Убогий... Сопливый... Нерадивый... (Стремительно встает, поднимается к гробу и горестно прощается с Марьей.) Прощай, прощай, красота моя... Прощай, орлица моя. (Закрывает покрывалом гроб, оборачивается к опричникам.) Малюта! Вели стучать в литавры и трубить в рога!

Среди опричников движение.

(Закрывает лицо рукой, мгновение так стоит, опускается на колени, страстно прижимает руки к груди, поднимает голову.) Гол и ныц перед тобой, господи... Отнял у меня веселье, теплое гнездо души моей... Бolee я не человек... Хлеб и вода — пища моя, жесткая доска — ложе мое... Умер я, умер, господи... И восстал слуга твой не лукавый, несу тяжесть непомерную царства... Исполни меня ярости хладной... Не отмщения хочу... Но да не дрогнет моя рука, поражая врагов пресветлого царства русского... Да свершится великое... (Встает, спускается с помоста.) Опричники, в поход... Басманов, саблю мне подай...

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЦАРЬ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ.
 АННА — княгиня Вяземская.
 АФАНАСИЙ ВЯЗЕМСКИЙ
 МАЛЮТА СКУРАТОВ
 ГОДУНОВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ
 ВАСИЛИЙ ГРЯЗНОЙ
 ФЕДОР БАСМАНОВ
 СУВОРОВ
 ТЕМКИН
 ЧЕЛЯДНИН ИВАН ПЕТРОВИЧ — ближний боярин.
 КНЯЗЬ ОБОЛЕНСКИЙ-ОВЧИНА ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ.
 КНЯЗЬ МСТИСЛАВСКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ.
 ЮРЬЕВ НИКИТА РОМАНОВИЧ.
 КНЯЗЬ ШУЙСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.
 КОЗЛОВ ЮРИЙ ВСЕВОЛОДОВИЧ.
 ПИМЕН — митрополит Новгородский.
 КНЯЗЬ ОСТРОЖСКИЙ — воевода новгородский.
 ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ.

СИГИЗМУНД-АВГУСТ — король польский.
 КЕТЛЕР — великий магистр Ливонского ордена.
 КОНСТАНТИН ВОРОПАЙ — посол литовский.
 МАГНУС — принц датский.
 ДЕВЛЕТ ГИРЕЙ — крымский хан.
 МУСТАФА — великий улан.
 ВИСКОВАТЫЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ — дьяк.
 ПЕРЕВОДЧИК у литовского посла.
 ТОЛМАЧ у крымского хана.
 КАСЬЯН — писец.
 Мамка Анны, княгини Вяземской.
 ХЛУДОВ
 ПУТЯТИН
 ЛЫКОВ
 ГАЛАШНИКОВ
 Первый мужик.
 Второй мужик.
 Опричники, бояре, дворяне, митрополиты, купцы, посадские, мужики, писцы, служки, немецкие рыцари, магистр Фюрстенберг, воевода Двойна, турецкий посол.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Трудные годы

Пьеса в двенадцати картинах

Картина первая

Каменный мост через Неглинную. Налетво — Троицкие ворота Кремля. Направо — ворота Опричного двора; они окованы луженым железом, на створках — жестяные львы, стоящие на задних лапах, с разинутой пастью и зеркальными глазами; надо львами — черный орел. За кирпичной стеной Опричного двора видны медные и луженые крыши деревянных палат. У самой стены — звонница с наружной лестницей. На мосту, со стороны Опричного двора, стоит Борис Годунов в черном кафтане и черном колпаке. Из Кремля доносится колокольный звон. На звоннице Опричного двора тоже зазвонил опричник.

Троицкие ворота в Кремле отворяются. Выбегают нищие и убогие, рассаживаются на земле, поют Лазаря. Из ворот Кремля выходит Василий Шуйский в цветном кафтане и раздает денежки нищим.

ШУЙСКИЙ. Нате, нате, безвинно обиженные... Нате, нате, сироты божины... Нате, нате, моельники наши.

Нищие вопят и теснятся к нему.

Ну вот и — пуст кошелек... (Идет по мосту, сняв колпак, кланяет-

ся Годунову, который усмешкой следил, как он раздавал милостыню). Здравствуй, Борис... Или вас, опричников, с «вичем» сказывать велишь? Борис Федорович, по-здорову...

ГОДУНОВ. Молод, гляжу, ты, Василий, а разумом не обижен.

ШУЙСКИЙ. Погибнешь нынче без разума, Бориска. Мне бы, недорослю, без печали прохлаждаться за батюшкиной спиной... А я уж саблей опоясался. Нынче знатным родом да высоким тьмю у себя на дворе не отгородиться... Да ведь и ты, Бориска, одним разумом дышишь, — чай, и твоё житие на ниточке висит.

ГОДУНОВ. Чего ты ко мне привязался, ступай к себе на земский конец.

ШУЙСКИЙ. Бориска, Бориска, собачья голова, чай, у тебя у седла осталась, не кусайся... Вспомни-ка, давно ли мы, бывало, Бориска да Васютка, так-то дружили, — водой не разольешь... Что из того, что на тебе черный кафтан, на мне — зеленый... Кафтан к телу не приклеен, — сорву его с плеч, да брошу в Неглинную... Эй-ей...

ГОДУНОВ. Никогда у нас с тобой дружбы не было, врешь...

ШУЙСКИЙ. Ну, будь так, не сердчай... Ах, тяжела клятва опричная, — отрекохся от отца с матерью и друга забудь... Бориска, почему нас, Шуйских, великий государь не жалует, чем мы провинились?

ГОДУНОВ. Великий государь праведных жалует, а неправедных казнит.

ШУЙСКИЙ. А мы неправедные? Господи! Вернее Шуйских нет слуг у государя... Бориска, улучи время — шепни ему: Васька, мол, Шуйский хоть молод, да зорек, — ох, как служба его может пригодиться... Меж удельных князей я — свой, и с боярами — свой...

ГОДУНОВ. Не буду о тебе шептать государю.

ШУЙСКИЙ. Ну? А как за это государь да и спросит с тебя, — знал-де, да не сказал...

ГОДУНОВ. Чего знал? (Схватил его за грудь.) Ласа коварная...

ШУЙСКИЙ. Государь будет отходить ко сну, ты наклонись да и шепни: Васька-де многое знать может... На нас люди смотрят, Бориска, опусти кафтан... Что буду знать — скажу тебе, а ты — ему... Тебе от того — власть, а мне — покой... Дай в уста поцелую.

ГОДУНОВ (отталкивая его). Не верю я тебе, пошел прочь...

ШУЙСКИЙ. А ты все-таки мои слова запомни.

На звонницу поднимаются опричники, в скуфейках и черных подрясниках, под которыми видны сабли: Малюта, Афанасий Вяземский, Василий Темкин, Федор Басманов, Алексей Суворов.

СУВОРОВ. Не спешат что-то великородные, — растрезвонились...

БАСМАНОВ. Служит митрополит Пимен Новгородский, он любит древний чин...

СУВОРОВ. Как бы за такую дошку не осерчал государь...

БАСМАНОВ. Для того Пимен и томит со службой, чтобы государь осерчал...

ТЕМКИН (Вяземскому). Гляди, посол литовский пеший идет.

ВЯЗЕМСКИЙ. Посол литовский две недели добивался, чтобы ему к воротам на коне подъехать, только и выторговал — пройди под руки, по сукну.

СУВОРОВ. Ишь, с досады-то как слезью надулся...

БАСМАНОВ. Ах, кафтаны на них хороши! Что-что, а кафтаны хороши...

Из ворот Кремля выходит литовский посол Воропай, его ведут под руки рыцари, перед ним люди из его свиты стелют сукно. Годунов, подбоченясь, становится в конце моста, у Обычных ворот.

ГОДУНОВ. Что за люди идут?

Посол остановился. Среди свиты его — смущение. Вперед выскакивает переводчик.

ПЕРЕВОДЧИК. Великий посол литовский, Константин Воропай, шествует к великому князю Московскому.

СУВОРОВ (Басманову). Это — как так? К великому-де князю! Ах, собака, — «паря» не хочет выговорить...

ТЕМКИН. Малюта, слышишь — бесчестие государю...

МАЛЮТА. Слышу, слышу, — выговорит он все положенное...

ГОДУНОВ. Великого князя Московского мы не знаем, про такого не слыхали...

Опричниками на звоннице громко засмеялись.

СУВОРОВ. Годунов ответит! Ах, зубаст!

ГОДУНОВ. В царствующем граде Москве пребывает — божьей милостью — государь Иван Васильевич, царь всея России, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Ливонский, царь Казанский, царь Астраханский и других земель отнич и дедич...

ПЕРЕВОДЧИК (послу). Московиты велят сказать полный титул...

ВОРОПАЙ. Будь так. Пусть отворят ворота.

ПЕРЕВОДЧИК. Великий посол литовский шествует к божьей милости государю Ивану Васильевичу, царю всея России, Московскому, Киевскому, Владимирскому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханскому...

ГОДУНОВ. Царю Ливонскому пропустя...

СУВОРОВ. Годунов-то! Вот крючок! А!

ВОРОПАЙ. Ничего не опускай... Русские упрямы... Скажи...

ПЕРЕВОДЧИК. Царю Ливонскому и других земель отнич и дедич...

СУВОРОВ. Выговорил, собачий сын...

ГОДУНОВ (ударяет в ворота рукоятью сабли). Великий посол литовский пришел.

На звонницу к опричникам поднимается царь Иван. Черная борода его с проседью на скулах. На худощавом лице резкие морщины и тени под глазами. Держа на ладони, он щиплет и ест прософу.

ПЕРЕВОДЧИК. (Воропая). Сам царь вышел на звонницу...

Воропай. Который из них — царь?

ПЕРЕВОДЧИК. Вот — тот, в одеянии монашеском.

ИВАН (звонарю-опричнику). Замокни! (Глядит вниз на Воропая, и тот с изумлением глядит на царя.) Отворите ворота.

Ворота юворяются, выходит стража — опричники в черных кафтанах.

Посол со своей свитой проходит в ворота.

МАЛЮТА. Государь, двинулся Земский Собор... Сойди вниз, как бы люди не увидели тебя в простом платье...

ИВАН. А увидят — в рукав смеяться, что ли, станут?

МАЛЮТА. Смутятся, государь, смутятся люди...

ИВАН. Я стою высоко... Плохонький мой подьячник ризами золотыми покажется им, скуфеечка — солнцем ярким на моей голове... Не так ли?

МАЛЮТА. Нет, не так... Не всем так покажется, государь.

ИВАН. Душа у тебя, Малюта, как дождь осенний. (Указывая на выходящий из ворот на мост Собор.) Укажи перстом... Кто из них мой враг? Епископ Пимен Новгородский, что ли? Скажешь — Челяднин? Или князь Мстиславский? Ножи у них, ядом напитанные, за пазухой? Нет, Малюта, враги нынче со мной примирились... Хоть и тяжел я для них. Чада мои, спесивые, строптивые, как агнцы, шествуют на Опричный двор... (Звонарю.) Звони в большой, звони гласом грома небесного... (Передает Малюте просфоры, схватывает конец веревки от колокольного языка и, поднимая длинные руки, с яростью начинает звонить.) Так надо, так надо встреч русской земле...

МАЛЮТА (опричникам). Заслоните государя...

Картина вторая

Палата в Опричном дворце. Стены из красного елового леса. Окна с мелкими свинцовыми переплетами расположены высоко и украшены наличниками из резанных по дереву виноградных листьев и лоз. На стенах — ковры с изображением Адама и Евы, четырех стихий, Правосудия, Добродетели. На поставках — золотые кубки, кувшины и блюда.

На возвышении на стуле, резанном из слоновой кости, — царь Иван. На нем — парчевый кафтан, расшитый кругами жемчуга, шапка, низанная драгоценными камнями; к трону прислонен посох, украшенный индийскими самоцветами. С боков трона — боярин Челяднин и князь Мстиславский держат на подушках скипетр и державу. Ниже их стоит дьяк Висковатый. За тронном — рынды. Перед царем Иваном стоит литовский посол Константин Воропай. В палате на скамьях под окнами — члены Земского Собора.

Воропай. Королевство Польское и Великое княжество Литовское, божьим вразумлением соединясь унией, столь великую силу возобладали, что не только турецкого султана и крымского хана, но и твое, государь, бесчисленное войско можем одолеть...

Среди опричников, стоящих за тронном и сидящих на скамьях, ропот.

ИВАН (с усмешкой). Ошибся ты, Константин Воропай, — в грамоте того не сказано, что-де «можем одолеть...»

Воропай. Воистину сказано, великий государь.

ИВАН. В грамоте к тем высокопышавшим словам прибавлено: «можем-де одолеть с божьей помощью»... Разверни, прочти... Ах бог-то, глядишь, по-своему рассудит: вам ли даст победу, али мне, грешному, с моими худыми людишками.

Воропай (держа развернутую грамоту). Прибавлено — «с божьей помощью», — точно.

ИВАН. Читай далее.

Воропай. Мой всемилостивейший король Сигизмунд Второй Август, радея о душах христианских и в нежелании пролития невинной крови человеческой, хочет с тобою, государь, сказать дружбу и мир на десять лет...

Оболенский-овчина (сидя на лавке, вздохнул всей утробой). О господи, наконец-то...

Иван быстро обернулся к нему.

(Оболенский замотал лицом). Молчу, молчу, государь, разумею...

ИВАН (Воропая). Видишь — чашу меда жаждущим принес, — весели сердца да-лее...

Воропай. Всемилостивейший мой король Сигизмунд Второй Август ради дружбы и мира готов не спорить с тобой о городе Полоцке, взятом тобой на саблю. И Полоцк будет твой. Готов признать твоими

повоеванные тобою немецкие орденские города Нарву и Юрьев.

ИВАН. К чтению книг ты прилежен, Константин?

ВОРОПАЙ. Прилежен, государь.

ИВАН. Дьяк принесет тебе летописи русские и свечу потопице. Пободришься над старинными письменами. Прощаю тебе на первый раз твое невежество.

ВОРОПАЙ. Но города Ригу и Ревель и, повоеванные тобой, ливонские города Венден, Вольмар, Раненбург, Кокенгаузен, Марьенбург с поветами и городками — признать твоими не можно, зане королевство Польское и великое княжество Литовское взяло те города у немецких рыцарей орденских под защиту и на том стоит крепко. И тебе из тех городов ливонских уйти и за них не спорить. Да будет на том божье благоволение. Аминь. (Свертывает грамоту.)

ИВАН (обернувшись к опричникам). Приведите пленников.

Малюта уходит.

Константин Воропай, не казни бы ты смертью страшной раба, кто в безумии расхитил именье твое, так что дети и внуки, нищенствуя, пошли бы меж двор куски собирать? Ответь...

ВОРОПАЙ. Так, государь, казни бы того раба...

ИВАН. Подними на меня глаза. Вопросы... Перед тобой — раб лукавый, трижды окаянный? Убоюсь мук душевных да скорой седины в бороде, лица себе чаши сладкого вина да сладчайшей забавы с жемчужкой, — отеческую землю хочю расхитить? Так ли? Что есть Ливония? От времен Владимира Святого — наша древняя вотчина. Прочти мне в летописях наших. Могу ли я, нож взяв, отрезать от груди кусок мяса да послать брату моему Сигизмунду Августу, прося мира? Приблизься, потрогай меня перстами: изменник я отечеству моему? Ах, тогда придумывайте мне страшную казнь!

ВОРОПАЙ. Государь, я говорил лишь, что вручено мне...

ИВАН. Срам и бесчестье тебе вручено! Рукой безумца написано послание твоего короля!

ВОРОПАЙ. Неслышанное дело, государь, гневно кричать на посла королевского...

ИВАН. Кричать? Ты смел, да прост... (Вопзает посох в помост.) Недалеко ты был сейчас от немоты вечной.

Фюрстенберга, полоцкого воеводу Двойну, немецких, литовских и польских рыцарей.

МАЛЮТА. Государь, привел пленников...

ВОРОПАЙ (взглянув на них). О господа, боже милостивый!

ИВАН (Воропаю). Грозилшь одолеть меня с божьей помощью. Гляди.. Перед тобой — великий магистр ордена ливонского, преславный рыцарь Фюрстенберг. Спроси его — кому в этой войне бог помогает? Чьи седины срамом повиты? Мои или его? Спроси славного воеводу полоцкого Двойну, не он ли передо мной землю целовал, прося живота? (Указывая на остальных.) Рыцари! Да дюже какие! Где уж нашим людшкам с ними справиться без божьей помощи... Константин, спроси еще великого магистра: цепи, что на нем, взяли мы не из его ли разбитого обоза? Для меня, для воннов русских vez он те цепи... Да кованы-то как ladно, крепко. На звене на каждом — клеймо: Магдебург... А я курфюрсту магдебургскому не раз отписывал, прося с кротостью — прислать книгу латинских добрых. А он на место книги послал врагу моему цепи для меня... Цепи для меня! Воистину греха не боитесь вы, живущие на закат солнца... Курфюрсты да короли скудо-земельные... Как паучки, сидя в городках своих, раздуваются злобой да коварством... Стыдно мне за род человеческий... Уйди, Константин, иди, дабы не сказать мне лишнего...

ВОРОПАЙ. Прими, великий государь, слова мои не во гнев, но в милость. (Низко кланяется.)

Иван протягивает ему руку для поцелуя. Воропай, пятясь уходит вместе со свитой. Годунов подносит Ивану таз и кувшин. Шуйский — утиральник. Иван моет руки.

МАЛЮТА. Перебежавший к нам рыцарь тебе челом бьет, государь, на службе и жалованьи. Искусен всякому бою.

ИВАН. Который?

МАЛЮТА (указывая). Вот этот.

ИВАН. Имя его?

МАЛЮТА. Генрих Штаден из Ганновера, бывалый человек.

ИВАН. Покормить мясом — будет зверь?..

МАЛЮТА. Зверь будет, государь...

ИВАН. Покорми, опосля приведи на двор, — погляжу, попытает. Дьяк... Висковатый...

Малюта вводит пленников в окопах: великого магистра ливонского ордена

Дьяк Висковатый подходит.

Магистру Фюрстенбергу милости не будет.

ВИСЬОВАТЫЙ. Государь, обещано ему снять цепи...

ИВАН. Не будет... Скажи ему: не вручат его три короля — ни польский, ни швейцарский, ни датский... Сказано: прощай врагам своим. Не умею... Грешен... Уведите пленников...

ВИСЬОВАТЫЙ. Слушаю, государь.

Пленников уводят. Иван, вытерев руки, бросает утиральник. Челядники и Мстиславский в то же время уносят занепокр и державу и затем занимают места на скамье.

ИВАН (обращаясь к Собору). Что скажете, отцы духовные? Что скажете, князья, бояре? Что скажете, добрые люди московские и других городов? Кончат ли нам войну или будем биться далее? Воюем четырнадцать лет. Преклонили под нашу державу царства казанских и астраханских татар, томивших нас прежде под игом, и тем возвратили древние границы княжества Святослава — прародителя нашего. В жестоких наездах побиты мы броненосные войска Ливонского ордена, томившего под игом русские земли по Неве, и Нарове, и Чуди, и Двине, и вывели коней наших на берег Варяжского моря... Короли — недоброхоты мои, — не годя о славе русской, — не хотят мира, но хотят пролития крови нашей и оскудения нашего... Стонет русская земля... Как быть нам?..

ШУЙСКИЙ (Челяднику, который проходит мимо него). У государя глаза веселые, Иван Петрович, будь сторожек...

ИМЕН. Новгородская и псковская земли пусты лежат, как от чумы. Где было сто дворов — стоит один. Людишки о хлебе забыли, как звери лесные — едят кору с дерев, а иные разбрелись врозь. Вгуне звонят колокола церковные. Мир есть елей на язвы наши. Хватит тебе, государь, чести от Полоцка, Нарвы да Юрјева... И те не стоят крови за них пролитой. Мира жаждем...

Бояре, переглядываясь и взмахивая пестрыми платками для пота, заговорили: «Мира, мира хотим». Среди купечества и посадских — смущение.

МСТИСЛАВСКИЙ. Не под силу нам война. Уж как-нибудь сдержки сердце-то. Поторгуйся с польским королем, может, усту-

пит... Как воевать дальше? Отписал мне управитель: по деревняшкам меж пустых дворов одни лисы да зайцы скачут. Истину сказал митрополит Имен Новгородский: мира жаждем...

ОБОЛЕНСКИЙ. Обнищали, оскудели, обезлюдели, обезлопадели... Последнее отдали на эту прорву... Землицу-то уж бабы папнут...

Голоса на скамьях: «Бабы, бабы папнут...»

ИВАН. И то все, что можете сказать о великом деле, для коего мы живем и трудимся и пот кровавый проливаем? Иван Петрович Челядник, возлюбленный слуга наш, скажи ты, порадуй...

ЧЕЛЯДНИН. Не неволь, государь, — ум мутится в таком деле, уста запечатаны...

СУВОРОВ. Когда надо — у земских уста запечатаны.

МАЛЮТА. Ибо изменой дышат...

ВЯЗЕМСКИЙ (Малюте). Замолчи, сатапа, Иван Петрович честный человек...

МАЛЮТА. Я всегда молчу, князь Афанасий...

ЧЕЛЯДНИН. Оттого литовский посол замерил высоким безмерием слова свои, что весь свет поднялся против тебя, государь... Короли идут с запада. Крымский хан топчет конями Дикую степь; плывут в Азов корабли султана, турецкого; Ногайские татары, и Астрахань, и Казань только и ждут его помочи... Спрашиваешь — как быть? Мы давно уже думать-то перестали... Не знаю... Думай ты... А нам — умирать покорно, воли велишь умирать...

МАЛЮТА. Гиепа лукавая... Ах, гиепа...

ВЯЗЕМСКИЙ. Правда-то, видно, как рыба кость тебе — поперек горла волкнулась...

МАЛЮТА. Дал ему бог ума и пронырства, а не дал совести, — так-то, князь Афанасий...

ИВАН. Жду, Иван Петрович, каков твой будет аминь?..

ЧЕЛЯДНИН. Аминь, государь, — твоя воля...

ИВАН. Огорчил меня, Иван Петрович, печалил... Моя воля — не для смерти вам, но для жизни... Господень разум вращает солнце и звезды и бытие дает червю и человеку. Кто восстал против господнего порядка? Сатана! По злобе к живому и существу. И свергнут сатана в ад, в неслеп безобразный. Волю мою утверждаю, — уподобляюсь миродержателю, и в том вижу добро и порядок добрый, укрепление земли, изобилие плодов и благочиние людям. Волю мою утверждаю по совету с совестью моей в тревоге и в

трепете вечном... Аз емь единоподержатель и ответ держу даже за каждую слезу вдовью... Некто, повергающий меня в прах, как Давид Голиафа, всю землю русскую повергает. Мне — срам и бесчестье — вся земля русская стыдом закрывает лицо свое... Позвал я вас для совета и дела, как отец, ибо трудны дела наши... Пусть скажут опричники. Сабли у них изострены, коши под ними пляшут... Знаю, знаю — черные кафтаны с метлой да собачьей головой для иных из вас — хуже чумы... Опричный двор — здесь на Воздвиженке — преужасное звериное логовище, недаром на воротах-то — львы дыбом поставлены... Потешается царь Иван, глумится над Москвой... Любезных опричников землей верстает, а вотчинных князей да бояр с земли сводит... Чего потупились? Правду говорю... Не ради потехи завели мы опричнину... Спросите их: отдавать ли немцам наши деревни, кровью возвращенные, ливонские города, как нам велит Константин Воропай?.. Быть ли стыдному миру? (Суворову.) Скажи ты...

СУВОРОВ (земским). Вы люди пешие, мы на конях сидим... Вы много речей слушаете, — мы одно слушаем... (Подносит саблю к уху.) Подруга верная, укажи дорогу... (Свистнул саблей по воздуху.) Она прямую дорогу скажет... Чего там!

Среди опричников — одобрение.

БАСМАНОВ. Вот что, земские люди, — нам не только городов — десятины одной не отдавать ливонской земли... Аминь!

СУВОРОВ. Турки под Азовом, али татары в Дикой степи — потеха любезная... Гуляй! Чего там!..

Одобрение.

ТЕМКИН. Где мне скажет государь стать — там стану, хоть тридцать три короля с нами бейся... Велено одолеть — одолеем...

ОБОЛЕНСКИЙ. Гляди — беснуется княженок! Родословец-то свой прошил, в чужом кафтане ходишь! Стыдно, князь Темкин...

ТЕМКИН. Я — опричник, хоть не ниже тебя сижу, князь Оболенский-Овчина.

ОБОЛЕНСКИЙ-ОВЧИНА. Сядь, сядь рядом — я тебя спихну с лавки, щенок.

МАЛЮТА. Земские люди... Государь у вас не спрашивает — отдавать ли города нем-

цам... Государь у вас спрашивает — любите ли вы его? Любите ли его, как мы любим? Для того опричники, черные кафтаны надели, чтоб ни жену, ни детей, ни отца с матерью любить, а любить одного государя... Ну, простите...

ИВАН (Вяземскому). А ты что молчишь, Афанасий? Тебе бы первому подать голос... Или хлеб, что ли, мой не достаточно солон? Или саблю на молодую жену променял, — скучно тебе с нами?

ВЯЗЕМСКИЙ. Государь, я твой слуга... Умру, где прикажешь...

ИВАН (махает на него платком). Стань на место. (Годунову, который во время этого разговора подошел к нему.) Привезли?

ГОДУНОВ. Только что, государь... Везли без отдыха, — я подставы до самой Твери выслал... Уж больно страшны, не знаю, как их и показать... Я им по ковшу вина поднес...

ИВАН. Веди.

ГОДУНОВ. Веду, государь. (Уходит.)

ИВАН. Обидно нам было видеть великую тесноту наших торговых людей в Варяжском море... Задумали мы позлатить былую славу Великого Новгорода, и Пскова, и Нарвы... Да как позлатишь, когда прямой разбой кораблям русским. Послушайте, поглядите, что сделали они с нашими торговыми людьми...

Годунов открывает дверь. Слуги вводят троих ободранных людей. Раны их открыты, лица распухли, волосы и бороды дико взерошены. Они вопят, простирая руки.

КУПЕЦ ХЛУДОВ. Глядите на нас, глядите...

КУПЕЦ ПУТЯТИН. Убили нас...

КУПЕЦ ЛЫКОВ. До нитки ограбили.

КУПЕЦ ХЛУДОВ. Вот, они, вот они, раны кровавые!.. Мать родная не узнает...

Со скамьи встает купец Калашников, всплескивает руками.

КУПЕЦ КАЛАШНИКОВ. Это Хлудов, Кондратий, первой сотни московский купец. Господи, что с ним сделали!

ХЛУДОВ. Разбили нас немцы, ножами резали, с кораблей в морскую пучину свергли...

ПУТЯТИН. Плыли мы в Англию честно, мирно...

ЛЫКОВ. Все, все немцы у нас отняли...

ХЛУДОВ. Осталось нам, сиротинам, милостыню просить. Заступитесь, московские люди... Государь, заступись!

ИВАН. Мы вас жалуем кораблями, и товарами, и кафтанами добрыми с нашего плеча...

Хлудов, оба его товарища и купец Калашников закричали: «Спасибо, великий государь».

А что толку? Отплывете из Нарвы,— опять обдерут вас немцы и в море покидают. Такого ли мира с королями хочет Земский Собор?

КАЛАШНИКОВ. Государь, я суконной сотни купец Калашников, дозволю оказать...

ИВАН. Тебя мы станем слушать, Степан Парамонович, как глас колокольный... Унышнее, а не благое строение в царстве нашем будет, прежде, покуда не установится наша бранная сила. О ней забота ложет мои ночи. Ты, епископ Пимен, гневно велишь нам мира... А в былые времена монахи-то кольчугу надевали и мечом опоясывались... Вспомни-ка, Пимен, как многие попы да монахи, яро не давайсь врагу, в церквах сжигались... А ты, бедный, задремал на лавке... Вложи персты в раны поругленным, посеченным, дай им целование, благослови на отщепенце...

ПИМЕН (встает). Веселись, государь, на скоморошьем игрище, а я пойду ко двору. (Идет к двери.)

Тишина. Иван обводит взором собрание. Раздается легкий треск — с рукоятки его посоха, которую он стиснул в руке, сыплются и падают на ступени драгоценные камни. Шуйский кидается поднимать их.

ОБОЛЕНСКИЙ (Челядину). Ишь — зверь в нем клокочет...

ЧЕЛЯДИН. Хорошо, хорошо, пускай Москва видит зверя-то в нем...

ИВАН. Владыка, вернись...

ПИМЕН. Напрасно ты посмеялся надо мной... Буду яр... Нам с тобой добром не спориться, Иван Васильевич...

СУВОРОВ (Басманову). Это как надо почитать?

БАСМАНОВ. На рожон лезет владыка...

Малюта идет и становится в дверях на пути Пимена.

ИВАН. Еще прошу — вернись...

ПИМЕН (Малюте). Отступи от двери...

МАЛЮТА. Подобаает тебе смириться... Смирись...

ПИМЕН. Прочь! Прочь! Нечистый...

ШУЙСКИЙ (со вздохом в наступившей тишине.) Ах, да страшно то как...

ИВАН (сходит с тропа и медлепно идет к Пимену). Взгляни, Пимен,

как люди со стыда глаза опустили... Утри пену с уст... Ибо уста у человека для благоухания... На, утрись... (Подает ему платок... По палате пронесется общий вздох облегчения). Видишь, как люди добра хотят... Дай мне доброе целование.

Картина третья

Опочивальня царя Ивана. Стены обиты писанной золотом кожей. Постель приготовлена на широкой лавке. Дубовый стол с книгами и свитками, у стола — венецианский стул. В углу — лампады перед темным ликом с гневными глазами. Близ стола на лавке сидит Малюта. Басманов подливает масло в лампы.

БАСМАНОВ. Не люблю я, когда ты в опочивальню ходишь. Опять не дашь ему спать. Бес в тебе, что ли, сидит? Что ты за человек, — не пойму...

МАЛЮТА. Чего масло трещит? Доброе масло не должно трещать. Опять воды подмешали?

БАСМАНОВ. Я воду подмешал, я масло вору... Это масло прислано в дар от султана турецкого, прямо с Афона, две бочки. А из Вены от императора пять бочек прислали, но масло вонючее. Мы его по худым монастырям роздали.

МАЛЮТА. Император — пять бочек, а султан — две... Так и будем отдаривать... Зря ты сказал, что во мне — бес... Дурак ты, Федька... Такой дурак, — только около постели тебя и держать... Перед смертью блаженной памяти митрополит Макарий взял с меня клятвенное целование: жену и детей своих забудь, о сладостях мира забудь, о душе своей забудь... Обрек на людскую злобу...

БАСМАНОВ. Чтобы ты при государе, как цепной пес...

МАЛЮТА. Я и есть пес... Государь доверчив, лезет, без меры горяч... Совершит, — потом — головой бьется... Устал я, Федька...

БАСМАНОВ. А ты подремли, я окликну, когда надо...

МАЛЮТА. И он тоже ведь обречен на людскую-то злобу. Чего легче, — пил бы да ел бы, да прохлаждался, а бояре бы за него думали, а на уделах бы князья княжили... Жили бы, не тужили, как при царе Горохе... А он ворота на хребет взвалил да и понес...

БАСМАНОВ. Какже ворота?

МАЛЮТА. Ворота от града нам с тобой невидимого, — от града Третьего Рима, си-речь — от русского царства...

БАСМАНОВ. Да... Напрасно это все, по-моему...

МАЛЮТА. Чего напрасно?

БАСМАНОВ (смахнул слезу). Не видишь, что ли,—он, как свеча, горит... Разве человеку вытерпеть такой жизни...

МАЛЮТА. Единодержавие — тяжелая шапка... Ломать надо много, по-живому резать... А другого пути ему нет... А еще чего турецкий султан прислал?

БАСМАНОВ. Фиников.

МАЛЮТА. Дай горстку.

БАСМАНОВ. Ей-богу — в чулане, итти далеко... Да и ключи у государя...

МАЛЮТА. Врешь... Уж кто собака, так это ты...

БАСМАНОВ (достает из кармана горсть фиников). На, что ли...

Малюта начинает медленно есть финики. Слушай,—а ведь у него опять на уме женщина. Ей-ей... Мучается как... Знаешь кто? Сказать?

МАЛЮТА. Нет, не говори. Я и без тебя знаю. Нехорошо это. Добром это не кончится...

За низенькой дверью, едва различимой в полумраке, голос Ивана.

ИВАН. Наклонись, наклонись, голову зашибь.

Малюта встает и отходит в тень, так же отходит в тень и Басманов. Входят Иван и Воропай.

Возлюбил я тебя, Константин, хоть и осерчал вчера, а пылче возлюбил...

Воропай. Теснота в моей гортани... Молчать, не могу... Великий государь... Молвь о тебе шумит по всей Литве и Польше... Шляхта саблями рубится,—оные за тебя, оные против... Все горячие головы за тебя...

ИВАН. Вот дивно-то! С чего бы?

Воропай. Сигизмунд Август стар и немощен,—ждем его смерти... Кому быть королем? Прости... Захмелел я от твоих речей, то ли от меду твоего... Ехал я к тебе ждал зверя увидеть во образе человеческого...

ИВАН. Зверя — человекаядца,—так Андрей Курбский тебе говорил обо мне...

Воропай. Истинно,—Андрей Курбский много ругал тебя, и Радзивилл, и Мишиек, и Сапега. На смерть меня провожали в Москву. Зачем черная слава о тебе летит? Или велик ты слишком?

ИВАН. (резко). Кого прочат в польские короли?

Воропай (шопотом). Не выдавай... Тебя, великий, тебя, грозный.

ИВАН. А нам о том и заботы нет... (Быстро уходит в темноту и сейчас же возвращается с косяным ларчиком.) За то, что вышла у нас с тобой любовь,—прими, Константин, от души к душе.

Воропай. Великий государь, спасибо...

ИВАН. Жену твою Катериной зовут? Здесь щепа от колеса великомученицы Екатерины.

Воропай. Матерь божья!

ИВАН. Вспомни-ка писание,—ангел поразил мечом огненным римлян, кои терзали на колесе чистое тело Катерины, и колесо разбило... Не терзаема ли — подобно так — земля русская. Прими щепу. На ней кровь запеклась.

Воропай преклоняет колено, целует полу его кафтана.

Воропай. Истинно ты щедр и велик, пресветлый государь.

ИВАН (поднимает, целует его). Прощай, Константин, не легко тебе было с нами... То ли дело на западе: весело живут и короли, и вельможи,—странишки махонькие, делишки махонькие... А у нас дела — великие, трудные... И мы — люди трудные... Иди с миром...

Воропай уходит. Иван останавливается посреди палаты. Нахмурился, усмехается. К нему подходит Малюта.

Опять приступил когтями рвать мою совесть, рыжий...

МАЛЮТА. Оп тебе не друг. Он недруг... Ты ему святыню отдал...

ИВАН. Нет, я ему святыни не отдавал... Щепа, как щепа... За обман — бог простит... Константину и его людям припели завтра столешнего меду бочку... Шляхта из-за меня саблями сечется, слышал? Не откажемся, коли выберут в польские короли... Королей-то у них выбирают, слышь, как у нас губных старост да целовальников... Ах, Константин, Константин, двуликий Янус... Нет... Ни за литовский княжеский стол, ни за польскую корону — равно Ливония им не отдам. (Малюте.) Что у тебя ко мне? (Отходит к окошку.)

МАЛЮТА. Опять хлопоты с зятем твоим, с принцем датским Магнусом,—топчется около Ревеля, не может его взять, а вернее, не хочет. Просит еще денег и

войска в подмогу, а сам тайно ссылает-
ся со швейцарским королем.

ИВАН. Кому известно это?

МАЛЮТА. Мне известно.

ИВАН. Еще что?

МАЛЮТА. Годунов говорил со мной о Василье
Шуйском, — что-де Васяка многое знает
и хочет быть полезен...

ИВАН. Еще что?

Малюта молчит.

Завтра потолкуем. Спать хочу. Светает.

МАЛЮТА. И то бы лег спать, чем в окошко
глядеть на голубей... Иван Васильевич,
борода-то уж с проседью. Ты думаешь —
никто не видит, как ты чуть свет тай-
ком пробираешься в Успенский собор?..
Стража отворачивается, люди с дороги
окорачь лезут со страху... Как ты греха
не боишься? Душа у тебя бездонная,
что ли?

ИВАН. Будешь за мной тайно следить — убью
своими руками...

МАЛЮТА. Ты велел мне правду говорить —
терпи...

ИВАН (подходит, глядит в глаза).
Напугать меня хочешь? Ты сильнее ме-
ня хочешь быть? Малюта! А ну-ка —
уйди...

МАЛЮТА. Ах, боже мой, боже мой... (Ухо-
дит.)

ИВАН (один). Спина согнется, колени за-
стучат, повиснет мясо на костях, — то-
гда, что ли, покой?.. Плоть алчная!

Иван садится на постель. Появляется
Басманов, приседает, чтобы стащить с
него сапоги. Иван отпихивает его.

Ты мне сиде руки, ноги свяжи, повали
меня на постель, — подушку грызть...
Сговорились с рыжым?

БАСМАНОВ. Да ничего я с ним не сговари-
вался... Пойдем, если хочешь.

ИВАН. Куда — пойдем?

БАСМАНОВ. Ах ты, господи...

ИВАН. В Успенский собор на голубей гля-
деть?

БАСМАНОВ. Ну да, на голубок...

ИВАН. Ты меня к ней подвел, ты мне на нее
указал, отравил мое сердце... Покуси-
тель...

БАСМАНОВ. Государь, чего маяться-то. Эва, —
полюбилась чужая жена... Мы все
твой... Метни, приведу, хоть сейчас.

ИВАН (тихо, с ужасом). Кого приве-
дешь?

БАСМАНОВ. Да ее же... Она, чай, уж там, у
раблей... А князь Афанасий, пьяншей,
спит здесь, на Опричном дворе... Самое
удобное...

ИВАН. Молчи, молчи...

БАСМАНОВ. Да государь жа, не стоит она
твоих мук... Приведу, ей-ей... Ломаться
станет — припружаю... Султан нам фля-
жиков прислал — финиками ее заманю.
Сдастся. Я здесь лавку еще одну при-
ставлю, постель помягче приберу, — по-
шалишь с ней, успокоишься...

ИВАН. Налугаешь ее, искусишь, — и придет
краса моя?

БАСМАНОВ. Ей-ей, придет, — бабы все одним
лычком шиты.

ИВАН. Придет краса моя... Горе ей тогда.
Ах, горе мне будет!.. Не верю тебе, не
железоглазый... Не придет она сюда...
Грозить будешь, — обомрет, упадет,
умрет, — она же, как яичко голубиное в
пуховом гнезде... А у меня — ключья
седые... Не любит меня, не хочет...
Афонька, пьяный, ей люб...

БАСМАНОВ. Вот наказание привязалось!..
Хочешь — с Афонькой Вяземским пору-
гаюсь, зарублю его? Со вдовой легче
справишься... Ладно? А то приворотного
зелья достану, ей-ей... Вели.

ИВАН. И приворотным зельем не хочу ее пе-
волить. Скажи лучше, как жало вы-
рвать из сердца? Плачу, душу развер-
заю перед рабом последним, — не стыдно
ли? Дай простой кафтан, колытак, плат
темный — лицо закрыть... Постояю около
нее. Она вздохнет, молясь, я вздохну,
она припадет, я припаду... Она глаза
на купол поднимет, я загляжусь на
нее... Не испугаю, чай, урождеством-то
моим? (Надевает кафтан, взяв
шапку, платок, уходит.)

Картина четвертая

Едва озаренные дрямным _рассветом
сквозь окна столбы Успенского собора,
покрытые живописью. Откуда-то из глу-
бины слышен голос дьячка, читающего
часы. У одного из столбов стоят
Анна — княгиня Вяземская и старуха-
мамка.

АННА. Не буду больше сюда ходить... Стол-
бы какие страшные... Лики святых гла-
застые... Хорошо в перьях низенькой, —
здесь и святого духа на куполе не
видно. Чего молчишь, мамка?

МАМКА. Слушаю тебя, княгинюшка, слушаю,
дитячко.

АННА. Боюсь я Москвы... В деревеньку хо-
чу... Прохлаждались бы там век без
нечали... В Москве и кукушка-то не
кричит, одни разбойники свистят по но-
чам... А у нас на Истре сейчас — зря
румяная, туман над речкой, кукушка в

роще проснулась... Мамка, почему меня муж не любит?

МАМКА. Любит он, моя княгинюшка, любит, касаточка.

АННА. Любил бы — дома почевал...

МАМКА. Служба царская неволит его, сердешного...

АННА. Голубиться хочу, ласкаться хочу... Жила без печали с батюшкой, с матушкой, с подруженьками... Для чего тогда замуж выдали?.. Глаза выплакивать у косятата окошка, на постылых воробьев глядеть? А он худой какой стал, мамка, бледный... Тоска у меня, не будет мне в Москве счастья...

Появляется Иван, в простом кафтане, фуфу с платком он держит у лица, закрывая лицо до глаз.

Мамка, опять этот человек, что за наказанье!

Иван по положенному прикладывается к иконе, потом встает близко от Анны.

Мамка, у него глаза черные...

МАМКА. А ты гляди на огоньки, лапушка, думай про доброе...

АННА. Помнишь, — нагадала мне про черные глаза?.. Мамка, а может, это — Будеяр-разбойник, уйдем-ка лучше...

МАМКА. Он смиренно стоит, и кафтан на нем хороший, — купец какой-нибудь...

АННА. Мамка, как дышит, боюсь...

МАМКА. Чай, горе какое, вот и дышит, бога просит.

АННА. Он на меня дышит, да глядит, да жарко...

ИВАН. Анна, не бойся меня...

АННА. По имени назвал...

МАМКА. Господи помилуй!

ИВАН. Голубка... Сердце себе ножом вырежу, тебя не трону, не страшись...

АННА. Ох, грех какой, — чего тебе падо-то? Помочь, что ли?

ИВАН. Дитя безгрешное... Вели мне уйти, вели, вели...

АННА. Лучше я уйду, от тебя... Ты не хмельной ли?

ИВАН. Любовным зельем опоен...

АННА. Ой! Отойди от меня, бесстыдник...

ИВАН. Огонь чрево пожирает, — сердце стонет... Испытание мое... Заря прекрасная... Царство небесное променявают на такую красу...

АННА. Постой, ты про кого говоришь-то?

ИВАН. Про тебя невинная...

АННА. Про меня? Ой мамка, уйдем скорее...

МАМКА (Ивану). Бесстыжий ты человек, а еще одет чисто...

Анна и за ней мамка уходят вперед, за колонны.

ИВАН. Пойди, пойди, умойся росой, утрись светом...

Входит Мстиславский. Иван быстро проходит вперед, за колонны, вслед за Анной.

МСТИСЛАВСКИЙ (оглядывается). Поздненько, поздненько, надо бы уж им быть... (Подпевает голосу дьячка, прикладывается к иконам.)

Входит Оболенский, также осматривается, крестится.

ОБОЛЕНСКИЙ. Ты один, князь Иван Федорович?

МСТИСЛАВСКИЙ. Человек какой-то еще здесь, — не наш...

ОБОЛЕНСКИЙ. Отойдем к притвору... Ах, ах... Ночь я не спал, ворочался, — истома, докука...

МСТИСЛАВСКИЙ. Всех нас думы гложут, Дмитрий Петрович...

ОБОЛЕНСКИЙ. Ты посудя: село Бородино у меня отняли под опричнину, Можайские вотчины на куски поделили, опричникам пожаловали, из города Дмитрова меня выбили. Ныне сижу, как пес голодный, на двух деревеньках, и те не отческие, а купленные... Землю мне, видишь ты, царь отвел за Рязанью — пустоши великие в степи... Не поеду я за Рязань!

МСТИСЛАВСКИЙ. Тише гуди, Дмитрий Петрович, тайну соблюдай...

ОБОЛЕНСКИЙ. Князя Репнина царь вконец разбил и оголодил да и зарезал потом... Мне что остается? Плюнуть ему в глаза, как князь Репнин, — разорил, на теперь, — режь меня...

МСТИСЛАВСКИЙ. А тебе бы делать, как делает братец твой двоюродный, Иван Петрович Челядин.

ОБОЛЕНСКИЙ. А как это?

МСТИСЛАВСКИЙ. Он вотчины свои жертвует монастырям и жертвенные листы пишет особенные, — не навечно, а на небольшой срок...

ОБОЛЕНСКИЙ. Кто же его так падоумил?

МСТИСЛАВСКИЙ. Князь Курбский ему письмо прислал, так посоветовал...

ОБОЛЕНСКИЙ. Ох ты!

МСТИСЛАВСКИЙ. Хоть не Ивану Петровичу, а уж детям его вернется вотчины-то.

Входит Челядин.

ЧЕЛЯДИН. Князь Иван Федорович, князь Дмитрий Петрович, просил я вас быть к обедне поранее ради великого дела.

Тайно приехал один человек с письмами от короля Сигизмунда Августа и князя Андрея Михайловича Курбского. Я эти письма читал и готов вам показать, да и сжечь их нужно...

ОБОЛЕНСКИЙ. Приехал-то что за человек?

ЧЕЛЯДНИН. Надежный. Он с Курбским тогда отъехал в Польшу, — Юрий Всеволодович Козлов, княжий постельничий... Послушайте его и удостоверьтесь, — вождищу ли хочет Сигизмунд Август нам помочь.

Входит Козлов, одетый в суконный купеческий кафтан. У него сухощавое, злое, презрительное лицо с плоскими ушками и небольшой бородачкой. Подойдя к Челяднину, он, не здороваясь, прикладывает к иконам.

ОБОЛЕНСКИЙ. Он?

ЧЕЛЯДНИН. Он.

КОЗЛОВ (говорит, глядя на икону).

Все еще думаете, князь, бояре! А царь вам по одному головы сечет. На Земском Соборе не могли отстоять мيرا, войну приговорили. Спасибо! Московские купцы уж деньги соберут царю в кошель... А вы — потомки князей удельных — только рукавами машете, — ахти да ахти... Смеются над вами в Польше и Литве...

ОБОЛЕНСКИЙ. Что ты! Над нами смеются?.. Врешь!

МСТИСЛАВСКИЙ. Вольной шляхте легко смеяться. У нас рот запечатан.

КОЗЛОВ. Все вы стали смердами царя Ивана, в пугачевские колпаки обрядились...

ОБОЛЕНСКИЙ. Опомнись! Кому ты говоришь!.. Пес!..

ЧЕЛЯДНИН. Не кричи на него, Юрий Всеволодович от великой обиды говорит. Правду говорят...

КОЗЛОВ. Хожу по Москве, земля сапожки жжет. На Красной площади — плахи да колеса на шестах — в чьей крови? В вашей, князь. Вами сыты вороны, галки московские, крик-то какой птичий — уши затянешь да прочь бежать! Одни волостель на Москве — царь Иван с опричниками! Ах, стыдно! Ах, обидно!

МСТИСЛАВСКИЙ. Творится необычайное, — все мы ждем конечного разорения.

ОБОЛЕНСКИЙ. Постыдиг — и будет, без тебя сыты стыдом-то. Дело говори.

КОЗЛОВ. Сигизмунд Август послал меня к вам и велел сказать: королевское ухо преклонилось к вашим страданиям, король готов помочь, ежели вы сами начнете...

ОБОЛЕНСКИЙ. Чего мы начнем?

КОЗЛОВ. Мятеш.

ОБОЛЕНСКИЙ. Ахти! Мятеш!

МСТИСЛАВСКИЙ. Трудное дело, опасное дело...

ЧЕЛЯДНИН. Не так, князь, не так. В одной Москве тысячи детей боярских можно посадить на коней; холопов, охочих погулять с пожом да кистенем, на каждом дворе — тьма... Только крикни: «Бей черные кафтаны!» Великий Новгород и Псков против Ивана встанут поголовно... Они давно к Литве тянут, — таять нечего — Литва для нас не чужая. (Указывая на Василия Шуйского, который медленно подходит.) Хотя бы за Шуйским пойдут единодушно все замоскворецкие посады.

ШУЙСКИЙ. Как знать, как знать, пойдут ли, — не спрашивал... (Зажигает свечечки.)

ОБОЛЕНСКИЙ. Исполать тебе, Иван Петрович, если так говоришь, — тогда дело святое... Только надо — дружно в колокола-то ударить. Ты как, Иван Федорович, думаешь?

МСТИСЛАВСКИЙ. Дружки мои, а ведь я в Византии императоров свергали и ослепляли и на растерзание черни бросали... Нам, чай, и бог простит...

ОБОЛЕНСКИЙ. От бога же, издревле, у власти стоим... А ему — Ивану хуродному — кто власть давал?.. Чорт ему власть дал... На опричниках сидит, — против этой скверны всю Москву поднимам...

ШУЙСКИЙ. А не поднимается Москва — отвечать придется... А не лучше ли проще устроить, да вернуть?..

КОЗЛОВ. Со мной надежные люди — постоережем его хоть здесь, в соборе, у обедни, уходим ножей в пять... Да я и один с тираном управлюсь, — при отъезде я благословение получил... (Показывает нож.)

Из глубины, из-за колонн быстро выходят Анна и мамка.

АННА. Боюсь, боюсь, домой пойду, и не проси меня...

МАМКА. Вот — люди, с ними побудем.. Как же ты — не отстояла обедню-то?

АННА. Это — искуситель, мамка, — средю я таких речей не слыхала... Ноженьки мои не стоят, головушка кружится... Нет, нет, не буду стоять обедни, на волю хочу...

Анна и мамка уходят. Во время их появления Челяднин, Козлов, Оболенский, Мстиславский и Шуйский осторожно, по одному, уходят вглубь, за колонны. Запе-

вает хор. Появляется Иван. Глядит вслед Анне. Из-за другой колонны быстро идет Козлов. Увидев Ивана останавливается пораженный. Рука его лезет за пазуху.

ИВАН. Что глядишь на меня, человек? Слушай, слушай... (Указывает в глубину, где поет хор.) Возлюбим и умилился. Ибо живем для любви... И мучаемся, и мучаем, и душу свою надрываем, и бьем себя в грудь, и власы раздираем, и так хотим, ибо в великих страстях жизнь наша, и нет иной... Се человек...

Картина пятая

Полуразрушенная, пробитая ядрами зала средневекового замка. Огромный очаг из грубых камней, где пылают обрезки бревен. Перед очагом — на сиденьи, прикрытом медвежьими шкурами, сидит старый король Сигизмунд. Второй Август, на нем — меховой кафтан и дорожные сапоги, под ногами — ковер. В стороне на полу — его латы и оружие. На коленях он держит самострел. В глубине зала — грубо сплетенный стол на козлах, уставленный оловянной посудой и кубками. По другую сторону очага сидит на обручке дерева магистр Кетлер, в черном плаще, под которым виден панцирь. Магистр мрачно смотрит в огонь. Перед жаром стоит Воропай. Подывает ветер, в пробоины виден рассвет. Время от времени под сводами зала кричит филин.

СИГИЗМУНД. Не обращай на меня внимания, пан Константин, я не обрываю золотой нити нашей беседы, я лишь слежу за этим проклятым филином, — всю ночь он не давал мне закрыть глаз... Продолжай...

ВОРОПАЙ. Царь Иван Васильевич умн и просвещен, как никто другой. Его ум — особенный, русский, трудный для нашего понимания. Царь готов сидеть без сна за книгой всю ночь при тоненькой свече, и даже соколиная охота нечасто прельщает его... Царские кладовые полны сокровищ не меньших, чем у царя индийского...

СИГИЗМУНД. Чорт возьми, я всегда ему завидовал! Откуда у него столько денег?

ВОРОПАЙ. Царь стал полновластным хозяином неизмеримых земель бывших вотчинных княжеств, которые он взял в опричный удел. Ему принадлежат два завоеванных татарских царства...

СИГИЗМУНД. Он ловко устраивает свои дела, не то, что мы с вами, магистр Кетлер.

ВОРОПАЙ. Все мытные сборы, солеварни, торговля пенькой, дегтем и корабельным

лесом, вывоз шкуры в католические страны — все идет в его казну... Сам же он часто довольствуется в обед звеном печеной рыбы, несоленным хлебом и ковшком кваса.

СИГИЗМУНД. О варвар!

ВОРОПАЙ. Движения души его, как все в нем, свосовольно, — он предается иногда разгулу, и тогда особенно и непонятно опасен.

СИГИЗМУНД. С ним это тоже бывает? Тсссс... (Поднимает самострел.) Птица дьявольски любопытна, сейчас я отлучно ее вижу... Продолжай, пан Константин.

ВОРОПАЙ. Он завершает дело, завещанное отцом и дедом: собрать и укрепить русскую землю. Он раздвинул границы московские от Урала до Варяжского моря; он создал новое войско из служилых людей — опричников и окружил себя преданными псами... Он возвысил царскую власть, уподобляясь византийским императорам, и на пути к самовластияю его не останавливают ни родственные связи, ни святость старины. Одна мечта владеет его разгоряченным умом...

СИГИЗМУНД. Стать новым Тамерланом, завоевателем вселенной... Старая сказка... (Стреляет под своды.) Ранен!..

КЕТЛЕР. Убит, — весьма меткий выстрел, ваше величество...

СИГИЗМУНД. Вы мне льстите, магистр, — я, как всегда, промахнулся... (Бросает самострел.) Лучше выпьем вина...

Воропай наливает вина ему и магистру.

Какая же мечта владеет нашим любезным братом царем Иваном?

ВОРОПАЙ. Он верит, что московское царство должно стать источником добродетели и справедливости. Он неимоверно горд тем, что он — русский царь.

КЕТЛЕР. Хотел бы я заживо содрать с него кожу, да и возить по ярмаркам на потеху просвещенным народам.

СИГИЗМУНД. Вы забываете, магистр, что царь Иван — помазанник и мой брат, и мечтать в моем присутствии о содрании с него кожи — не совсем учтиво... Итак, пан Константин?

ВОРОПАЙ. Царь Иван — умный и опасный враг, великодушный и верный друг...

СИГИЗМУНД. И мой великодушный друг снова послал в Ливонию сто тысяч опричников и татар и заставляет меня дрожать от холода в дырявом замке... Чорт хочет мира, чорт возьми!..

? Пороч, сказанным тобой, царь

Иван увидел лишь острие германского меча...

БЕТЛЕР. Разрази меня господь бог — ничего не понимаю... Я велел бы повесить такого посла...

СИГНЗМУНД. Тогда — уйди от преха, пан Константин... Да пришли ко мне Юрия Всеволодовича Козлова, если он способен ворочать языком...

Воротай уходит.

Скучно, магистр.

БЕТЛЕР. Король, наш орден отдал Ливонию под твою державную руку не для того, чтобы московские гарнизоны продолжали осквернять наши замки и города...

СИГНЗМУНД (мешая кочергой угли). Несомненно, несомненно...

БЕТЛЕР. Тысячи рыцарей стекаются со всей Германии на помощь нам... Сегодня мы сильнее, чем десять лет назад. Мы отвоюем у варвара святую Ливонию и нанесем ему такой удар, что Европа навсегда избавится от восточной угрозы...

СИГНЗМУНД. И Европа будет тебе рукоплескать, — браво, браво... Разгром Московского царства развлечет многих. Увы, за последниа годы история стала беззубой старухой... После ночи святого Варфоломея ничего как будто не случилось замечательного...

БЕТЛЕР. Король, приезжие рыцари требуют денег и кормов...

СИГНЗМУНД. Мой денежный сундук к твоим услугам, магистр, — черпай из него, куда не увидишь дно... Увы, я не так богат, как царь Иван... К тому же в жизни все пустеет — и сундуки с казной, и душа с ее желаниями... Скучно, магистр...

БЕТЛЕР. Благодарю, король... Позволь привести к тебе трех храбрых рыцарей, прибывших сегодня из Бранденбурга и Швабии.

СИГНЗМУНД. Они голодны?

БЕТЛЕР. Им не терпится испытать крепость мечей на головах москвитов. (Отворяет дверь.) Войдите, благородные рыцари...

Входят три рыцаря. На них грубые железные жалы, вкрученные сапоги и пыльные плащи, порываемые от непогоды.

СИГНЗМУНД. Великолепные бродяги!

БЕТЛЕР. Рыцарь фон Розен, рыцарь фон Штейн, рыцарь фон Вольф.

Рыцари кланяются королю и преклоняют колена.

СИГНЗМУНД. Рыцарь фон Розен, бедный искатель приключений, по вашим сапогам и панталонам я вижу, что у вас больше желаний, чем золотых цехинов... И у вас дела не лучше, фон Штейн и фон Вольф... Не беда, вы молоды, тысяча чертей! За стол, рыцари!.. (Встает, идет к столу.) Набивайте желудки ветчиной и колбасами, заливайте вином адский пожар в кишках... Рассказывайте, сколько купцов вы ободрали ночью на лесных перекрестках, сколько девушкам развязали пояса на юбке, сколько раз и в каких именно магистратах вас собирались повесить? Нью за ваши волчьи зубы.

БЕТЛЕР. Рыцари, за здоровье нашего короля!
РЫЦАРИ (вскочив, кричат). Хох, хох, хох нашему королю Сигнзмунду Августу...

СИГНЗМУНД. Великолепная здравица! Не задумываясь, они признали меня своим королем. А вель — проезжай они немного далее на восток — чего поди, кричали бы здравицу моему брату, царю Ивану.

БЕТЛЕР. Никогда, храни нас бог!

РЫЦАРИ. Никогда, храни нас бог!

БЕТЛЕР. Король! Верность — святое знамя германского рыцаря...

РЫЦАРИ. Верность!

БЕТЛЕР. Ты посмеялся над ними, вспомнив, должно быть, о несчастном рыцаре Генрихе фон Штадене, ставшем опричником у царя Ивана. Король, вот письмо от Штадена. Он предлагает мне помощь. Будучи приближенным к царю, он узнал все входы и выходы, — как пройти через леса и болота к Москве и как всего проще побить московское войско. Для завоевания Московского царства понадобится не более десяти тысяч рыцарей, хорошо закованных в броню. Генрих фон Штаден пишет о сказочных сокровищах царя Ивана, которыми мы можем завладеть...

РЫЦАРИ. Хох, хох, хох...

БЕТЛЕР. Он предлагает для устрашения русских превращать в пустыню их землю а пленных привязывать кверху ногами к бревну и, насадив их, как на вертел по сорока и более человек, бросать в бревном в реку...

Рыцари хохочут.

СИГНЗМУНД. Остроумно придумано... Чем еще позабавите меня?

БЕТЛЕР. Мы споем тебе славную песню рыцарей, идущих на восток.

КЕТЯЕР И РЫЦАРИ (поют).

Солнца адский огонь...

Шагает мой верный конь...

Рыцарю путь на восток...

Боже, как путь далек...

Стой! — зазвенел мой меч...

О шпору звенит мой меч...

Рыцарь, очнись — враг, —

Шли ему вечный мрак.

И снова шагает конь.

Крепка у рыцаря броня.

Входят Воропай и Козлов с обвязанной головой, в изодранном платье.

СИГИЗМУНД. Продолжайте, продолжайте, рыцари, не обращайтесь на меня ни малю внимания, шумите и пейте, как в природном трактире. (Встает и отходит на свое место к очагу.) Здравствуй, Юрий Всеволодович, — долго ты гостил в Москве.

КОЗЛОВ (бросаясь к его ногам). Всемилошвейный король, в Москве меня опознали, я скитался по лесам, умирая голодной, озлябая студеной смертью... С боем перешел границу.

СИГИЗМУНД. Что скажешь о нашем брате любезном?..

КОЗЛОВ. Царь Иван обрядил опричное войско новым оружием, привезенным из Англии и Голландии. Как чума, его войско песется по Ливонии. Он жажлет ныне всего христианского мира разорения. Гордости его и самовластия нет предела. Дьявол вселился в него. Опасность велика. Он — коварен, хитер, кровожаден...

СИГИЗМУНД (Воропаю). Кому мне верить, — ему или тебе?

ВОРОПАЙ. У людской молвы — глаза крота, уши осла и язык змеи.

СИГИЗМУНД. Так будем верить тому, чему мы хотим верить. (Козлову.) В Москве перед самовластием царя Ивана склонились покорно удельные князья и великовельможные бояре? Так ли?

КОЗЛОВ. Нет, всемилошвейный король... Господь уже занес руку над бесчинством царствия его... В Москве, и Новгороде, и Пскове люди на площадях кричат: «У опричников-де собачьи головы у седла, то слуги антихристовы...» Бнязья и князата сабли наточили и в щипали свинец забили, готовясь к мятежу... Многие тысячи холопей их, как верные псы, рвутся с цепи... Мы ждем только знака, знаменья твоего...

СИГИЗМУНД. Юрий Всеволодович, и я ждал обещанного знамени, да и ждать перестал...

КОЗЛОВ. Прости... Казни... Был я близко от него, — лишь руку протянуть... И нож зажал... Не смерти испугался, не лютых пыток... Из очей его вышел свет столь ужасный, как будто передо мной предстал Егорий Храбрый!

СИГИЗМУНД. Кто?

ВОРОПАЙ. Святой Юрка. Так русские зовут Георгия Победоносца, поразившего змия...

КОЗЛОВ. Колени мои застучали, нож выпал... Прости... Вели еще раз посягнуть... Выполнию... Верь...

СИГИЗМУНД. Я тебе ничего не велел, раб... Ниже греха брать на душу... Ступай на поварню... (Встает, идет к столу.) Рыцари, дарю мой кошелек тому, кто застрелит филина, мешающего вашему королю покойно спать... Позабывшимся охотой. Затягивайте песню и — начнем...

Картина шестая

На башне новгородского детинца. У зубцов, глядя вниз, стоят Василий Шуйский и Челяднин. Внизу крики и шум драки. Набатный звон.

ШУЙСКИЙ. Сбесились новгородцы! Весь день спокойно было, — на тебе: вдруг лазки закрыли, в набат ударили и — драка на мосту...

ЧЕЛЯДНИН. Как бы на башню сюда не влезли, — обдерут шубу да и побьют еще, — ах, разбойники, ах, воры!

ШУЙСКИЙ. Мост трещит, как бьются... Эка сила ломит силу... Потеха!

ЧЕЛЯДНИН. Чернь проклятая!.. Кто их мутит противу нас?..

ШУЙСКИЙ. Не в нас дело, Иван Петрович. Подожди, кричат...

ЧЕЛЯДНИН. Чего кричат?

ШУЙСКИЙ. За шумом плохо слышно...

Входит разъяренный митрополит Пимен, за ним — трое служек. Он останавливается около зубцов и глядит вниз.

ЧЕЛЯДНИН. Владыка, из-за чего спор поднялся?

ПИМЕН. В Новгороде от века повелось — дела и споры на мосту решать кулачным боем меж стороны Торговой и Софийской...

ШУЙСКИЙ. Ломит наша сторона... София ломит!..

ЧЕЛЯДНИН. Владыка, не для того мы в Новгород пришли, чтобы кулачными боями тешиться... Единодушныя хотим от вас... Скажи им высокое сло... уими брань...

ПИМЕН. Единодушия нет... Люди соблазнены.
Вышли из воли нашей... (Тихо.) Прокляну...

ШУЙСКИЙ. Про Литву кричат... Из-за Литвы у них спор...

ЧЕЛЯДНИН. Что им до Литвы?... Сидели б смиренно...

ШУЙСКИЙ. Кричат — «измена»...

ПИМЕН. Измена? Кому измена? Богу? С богом денно и ночью мы пребываем...
Лишь в бесовском ивановом царстве не хотим быть...

Быстро входит воевода — князь
Острожский.

ОСТРОЖСКИЙ. Мятеж! Вся Торговая сторона встала за Москву... Чорт им какой-то в уши нашптал...

ЧЕЛЯДНИН. Да чего хотят-то они?

ОСТРОЖСКИЙ. В Софию пробыться, к собору...
Чтоб им мощи святого Антония показали... (Челяднику.) И жернов, великий камень, на коем святой Антоний в мимо прошедшие времена приплыл по Волхву, — и жернов им подай...

ШУЙСКИЙ. С Торговой стороны еще бегут, да дюжие какие... «Мощи, — кричат, — мощи, покажи...»

ЧЕЛЯДНИН. Владыка, подними мощи святого Антония, пусть чернь узрит...

ОСТРОЖСКИЙ. Нет мощей в соборе... Увеселены...

ЧЕЛЯДНИН. Святыня новгородская увезена из Софии! О господи! Куда? В Литву, что ли?

ОСТРОЖСКИЙ. Куда увезены — то дело тайное...

ПИМЕН. Пусть царь Иван в смолу кипящую свергнет меня, — мощей святого Антония ему не отдам...

ЧЕЛЯДНИН. И жернов, великий камень, увезен?

ОСТРОЖСКИЙ. Утоплен в заемном месте.

ЧЕЛЯДНИН. Ай, ай, ай, поторопились вы...

ОСТРОЖСКИЙ. Иван Петрович, у нас уже и грамоты польского короля и гетмана литовского под алтарем положены... Ждали — вот-вот придет князь Курбский с войском — вызывать нас из московского гта...

ЧЕЛЯДНИН. Литва не поможет сейчас, — связана войной... Надо начинать самим, не мешкая. В Ильин день ударим в набат единодушно в Москве, в Новгороде и Пскове... Мы готовы, вы — не робейте...

ШУЙСКИЙ. К мосту человек идет, — здоров, ок здоров! — подоясан, рукавицы натя-

гивает, плечами переваливается... Этот позабавится на мосту...

ОСТРОЖСКИЙ (глядит вниз, с тревогой). Владыка, Васыла Буслаев пододет... За ним — его ватага... Не выдержим...

ПИМЕН (оборачиваясь к служкам). Ванюша, Костка, Микитупка, снимите-ка подрясники да скуфейки, сбегите вниз, подсобить нужно, — потешьтесь.

Трое служек торопливо кланяются в ноги Пимену, приговаривая: «Благослови, владыка», и, на ходу стягивая подрясники, сбегают через пролом башни. Крики и шум драки сильнее.

ШУЙСКИЙ. Буслаев стену ломит, дьявол!

ЧЕЛЯДНИН. На вашей стороне неужто нет богатыря?..

ОСТРОЖСКИЙ. Владыко, благослови закрыть ворота... Придется раздать оружие...

ПИМЕН. Делай по совести.

Острожский идет к пролomu. В это время взрыв криков... Из пролома на площадку башни высказывает Буслаев в разорванном кафтане и собольем колпаке, сбивтом на ухо.

ОСТРОЖСКИЙ (отступая перед ним). Буслаев, Васыла! Не озоруй!

БУСЛАЕВ. Кого тут бить?

ПИМЕН (поднимая крест). Пади ниц, шалун!

БУСЛАЕВ (валится ему в ноги. Поднявшись, целует крест, вырывает крест из руки Пимена и сует Шуйскому). На, князьенок, поддержи. (Пимену.) Теперича бить можно тебя? Чортушка! Зачем Новгород продаешь?

ОСТРОЖСКИЙ (кидается на него с шестопером). Давно я тебя нищу!

БУСЛАЕВ (вырывает у него шестопер и также сует Шуйскому). Поддержи. (Острожскому.) Давай рассудимся на кулаках, по чести. Бей первый, воевода.

ОСТРОЖСКИЙ. Вор! (Со всей силой ударяет его.)

Шуйский во время драки срыгается в пролом.

БУСЛАЕВ (пошатнувшись от удара). Ой, светушки, не могу, ступил комар на ногу. А ну! Вдарь еще, князь Острожский. Бойшься? Теперича, — аз, купец молодой, буду тебя судить по-божьи. Эх, что-то плечико мое не разворачивается... (Замахивается.) А ну-ка, перед смертью скажи, воевода,

за сколько серебрянников святыню продал?

ОСТРОЖСКИЙ. Не глумись, бей, уткуйните!
НИМЕН (встает между ними). Что уподобляешься бесподобным опричникам яростного царя Московского? Чудо перазумное! Не о вас ли, не о Новгороде ли мимошедшей славе плачем мы кровавыми слезами. Вольные! Неволя уготована вам, топор да плаха.

БУСЛАЕВ. Ох, светушки, испугался-то я как, владыка. Это кто же меня на плаху пошлет?

НИМЕН. Царь Московский! Уготовил он всем истому вечную... Что вы, малоумные, о Польше и Литве шумите? Вертоградом зеленым зацветет Новгород под Литвы державной дланью. Вкусим от мира и благолепия... Опричников ждете? Укусят они вас больно песьими зубами... Не пали, Василий... Иди-ка на площадь, кричи, собирай ватагу... Копья изострите, щитами прикройтесь, становитесь крепко в воротах новгородских... Забудем, братия, междоусобие, един у нас враг.

ЧЕЛЯДНИН. Аминь!

БУСЛАЕВ (Пимену). Шалун же я,—ты шалишь, владыка... Вот тебе мой ответ: мощи святого Антония и его каменную лодку покажи тут же, сейчас, либо тебя будем метать с этой башни в Волхов, и воеводу Острожского, и бояр московских покидаем туда же. (Подходит к пролому, свистит.) Ребятюшки, дегушки, сюда, наверх, в детинец! (Возвращается к Острожскому.) Стой теперь крепко.

ОСТРОЖСКИЙ (схватывает из кучи оружия алебарду). Ребятюшки твои за воротами остались. (Кричит.) Ко мне! На помощь!

Из пролома выскакивают служки: Ванюша, Костка и Микитишка, дети боярские и Шуйский.

Вяжи ему руки.

БУСЛАЕВ. Да ну? А ведь я дался... Ой, горе горькое, побил, связали купца молодого, растрепали ему русые кудри. Берите меня... (Кидается на вооруженных, расталкивает их и через зубцы спрыгивает с детинца.)

Внизу рев толпы.

ШУЙСКИЙ (жидается к зубцам и глядит вниз). Дьявол! Прямо в Волхов прыгнул.

ОСТРОЖСКИЙ. Стреляй! (Вхватывает у одного из вооруженных лук и несколько стрел и, подскочив к зубцам, стреляет.)

ЧЕЛЯДНИН (останавливает его).
Князь Григорий, не гоже так, не надо, уйма гнев, не дразни чернь...

Картина седьмая

Русский лагерь в Ливонии. Густой туман. Около царского шатра на шнях сидят подьячие и, положив на щодено бумагу, пишут. Дьяк Висковатый, в накиннутом на плечи нагольном тулупе, диктует им. Около него — воеводы: Никита Романович Юрьев и Иван Федорович Мстиславский. В глубине, в тумане, слышен скрип колес, голоса, саряки, ржанье жоней.

ЮРЬЕВ (Висковатому). Крепость-то мы осадили кругом, да начинать опасно,—видишь, какой туман, своих побьешь. Вот — прояснит — тогда ударим из больших пушек и полезем на стену...

ВИСКОВАТЫЙ. Эх, Ливония,—одна-то сырость. И лагерь же выбрали где поставить... Ни сесть, ни лечь, ни богу помолиться...

ЮРЬЕВ. А что в Москве слышать, Иван Михайлович?

ВИСКОВАТЫЙ. В Москве — смирнехонько... (Подъячим.) Рты разинули! Пишите... (Диктует по грамоте.) «Нотайские татары — наги и бесконны и тебе не помогут, напрасно нам грозить погайцами. И султан турецкий тебе не помощник, — султан ходил в прошлом году на Астрахань, да ни с чем и вернулся, только войско притомил и людей приморозил» (Стучает одного подъячего тростью по голове.) Чего язык высунул! Пиши — татары — твердо-аз-твердо-аз-рцы-еры, — татары.

ЮРЬЕВ. Крымскому хану пишете?

ВИСКОВАТЫЙ. Хану, хану... Ссорим его с турецким султаном и с польским королем. Как вы опять в Ливонию полезли, — польский король ему, Девлет Гирею, тридцать шесть телег прислал всякой рухляди, и просит дружбы. Девлет Гирей написал поносное письмо государю, требует, чтобы мы посадили в Казани царьком его сына Адыл Гирей, а не посадим — грозит прийти на Оку и Москву съехать...

ЮРЬЕВ. Крымский хан любит того, кто больше ему даст, — тот ему и друг...

ВИСКОВАТЫЙ. Истинно, Никита Романович...

(Диктует.) «...Тебе, хан Девлет Гирей, об Астрахани да Казани нам не поминать. Бог нам эти царства дал в бережение, и мы — сам знаешь — сидим на коне и сабля наша изострена. Мы государи великие и бездельных речей слушать не хотим. Государи между собой ссылаются поминками, а городами да царствами не ссужаются, — этому статья нелзя. Польский король тебе послал поминки, как холопу своему. Зачем ты их взял? Попросил бы меня — чего тебе пехватает — я бы дал без корысти, как другу...»

ЮРЬЕВ (смеется). Письмо государь тво-
рило?

ВИСКОВАТЫЙ. Никому же доверяет, все сам.
(Подъясчим.) Пишите... Девлет, —
добро-есть-веди-люди-есть-твердо-ер...

В глубине появляется Годунов и,
обернувшись, кричит в туман.

ГОДУНОВ. Пушкарям — когда стенобитные
пушки поставят на место — по царя-
водки... (Висковатому.) Иван Ми-
хайлович, меня спрашивали?

ВИСКОВАТЫЙ. Обожди... Буки-оп-глагол-ер
бог...

ГОДУНОВ (Юрьеву). Никита Романович,
дозволь молвить.

ЮРЬЕВ. Ты, — опричник, — чего спраши-
ваешь?

ГОДУНОВ. Будто бы к нам Васык Шуйский
ночью пришел с мужиками — конно и
оружно? Дивлюсь...

ЮРЬЕВ (кивая в туман). Вон он — те-
бя ищет.

Годунов отходит в том направлении.

ВИСКОВАТЫЙ. Кого нам в Дикую степь по-
слать большим воеводою? Точат, точат
сабли в Бахчисарае. Войска у нас в
степи мало, нужен человек тяжелый.

ЮРЬЕВ. По родословцу большим воеводою в
степь ехать князю Ивану Федоровичу
Мстиславскому.

МСТИСЛАВСКИЙ. Нынче не по роду честь,
а кто побойчее — тот тебе и на шею
сел, тот и величается. Велели быть в
степи воеводою Васыке Грязному! Му-
жику! Конюху! Мы и руками развели.
Спасибо хану, что Грязного в плен
взял. Да я да после Васыки? Смеешься
надо мной, Никита Романович.

ЮРЬЕВ. Мы все строитивы, князь Иван
Федорович, да сила солому ломит.

МСТИСЛАВСКИЙ. Не поезду в степь...

В глубине сцены Шуйский подходит к
Годунову.

ШУЙСКИЙ. Здравствуй, Борис Федорович.
ГОДУНОВ. Ты зачем приехал в лагерь?

ШУЙСКИЙ. Погулять на коне с вострой саб-
лей, Борис Федорович...

ГОДУНОВ. Ишь, какой прыткий! Сидел бы
лучше дома со своими князьями-то...

ШУЙСКИЙ. С удельными мне не по пути
стало, Борис Федорович. Смердят. А я
жить хочу. У государя выслужиться
хочу какой ни на есть службой...
Был я в Новгороде. Вот страх-то! Едва
ноги унес. Да оттуда, проезжая батюш-
киными вотчинами, пригнал вам полто-
ра ста мужиков (добрых в помощь).

ГОДУНОВ. Ох, не знаю, кого ты перехитрил
хочешь...

ШУЙСКИЙ. Верь мне, Бориска... Хитрые-то
вам нужны, глупые — не нужны...
Помнишь — у Опричных ворот ты на
мне кафган рвал... А ведь мы тогда с
тобой договаривались, — счастье вместе
искать...

ГОДУНОВ. Ну? Ты чего знаешь? Говори...

ШУЙСКИЙ. Да — говорить ли? Ведь — руки,
ноги дрожат. Про Москву, про Новгород
ничего здесь не слыхали, — какие там
чудеса готовятся?

ГОДУНОВ. Какие чудеса?

ШУЙСКИЙ. Отойдем подальше.

Уходят. В тумане слышится тусклое
пламя, раздаются пушечный выстрел.

ЮРЬЕВ. С крепости ударили.

МСТИСЛАВСКИЙ. Взяли крепость, отдали,
опять возьмем и опять отдадим... О, го-
споди, когда конец-то?

Со стороны шатра появляется Иван. У
него поверх кольчуги накинута баранья
шуба. Поднимает голову.

ИВАН. Ветерок?

ЮРЬЕВ. Нет, государь, тихо. Это ядро про-
летело, и ветви зашумели.

ИВАН. Воевода, мне ветер нужен!

ЮРЬЕВ. Ждем, — солнышко повыше подни-
нется, тогда потянет.

ИВАН. Вели готовиться. Чтоб лестницы
осадные в руках держали. У гуляй-
города колеса смазать, а те дуже скри-
пят. У каждой пушки поставить бочку
укуса и поливать не уставая, — стре-
лять будет докрасна... Войска благосло-
вили?

ЮРЬЕВ. Нет еще, государь.

ИВАН. Благословить войска...

ЮРЬЕВ. Слушаю, государь. (Уходит.)

ИВАН (останавливает Мстиславского). Князь Иван Федорович, помирись со мной. Перед смертным часом рубаху чистую надень, и душа будь чиста...

МСТИСЛАВСКИЙ. Пригинаешь ты нас, государь, как ветер сухую траву.

ИВАН. Нужно пригнать-то вас, Иван Федорович... Вам трудно и мне — трудно... Вернемся в Москву — опять будешь первым, а здесь уступи Юрьеву...

МСТИСЛАВСКИЙ. Государь, в родословце будет отмечено, что я позже Юрьева был...

ИВАН. Сам в родословце помечу, что ты выбывался, а я волю твою сломал...

МСТИСЛАВСКИЙ. Ломай, ломай древний лес, государь... Тебе виднее...

(Уходит.)

ИВАН (Висковатому). Скоронища мне.

ВИСКОВАТЫЙ (одному из подьячих). Касьян.

Касьян живо кланяется в ноги Ивану, поправляет висящую на нем чернильницу, ловко из-за уха достает свежее перо, из-за пазухи — свежий свиток пергамента.

ИВАН (Висковатому). Иван Михайлович, выкупать мне у хана воеводу Ваську Грязного или пускай еще потомится в плену?

ВИСКОВАТЫЙ. Человек-то, он храбрый и верный.

ИВАН. Храбрость — дорога, а верности и цены нет, так, что ли? Много ли у меня верных? Их бы всех собрать, как лалы и алмазы, — украсить ими державу нашу. Души человеческие в тумане вокруг нас бродят... В тумане путь наш... (Подходит к скоронищу.) Ниши. «Ты мне отписываешь, Грязной, что по грехам взяли тебя крымцы в плен. Надо было тебе, Васюшка, без пути средь крымских улусов не ездить; ты, что ли, думал: в объезд поехать с собаками за зайцами? Или думал — в Крыму будешь шутить, как у меня, стоя за кушаньем. Ты сказываешься великим человеком; что греха таить, — мы вас, мужиков, к нам приблизили, надеясь от вас службы и правды. Только, видно, крымцы не так крепко спят, как вы, умеют вас, неженков, женок, ловить. Стыдно, Васюшка. Мы перед ханом не запираемся, что был ты у нас в приближении, и с великой досадой дадим за твой выкуп две тысячи рублей, а до тех пор такие, как ты, по пятьдесят рублей бывали...» (Скоронищу.) Дай перо... (Под-

писывает письмо и — Висковатому.) Пошлешь в Бахчисарай к Годуновым.

ВИСКОВАТЫЙ (подавая ему другие письма). Подпиши хану, государь.

ИВАН (проглядывая письмо.) Буде хан спросит Годунова: кто у нас в степи большим воеводой? В грамоте того не сказано.

ВИСКОВАТЫЙ. Быть старшему по месту князю Ивану Федоровичу Мстиславскому.

ИВАН. Глуп он, дремуч и неповоротлив...

ВИСКОВАТЫЙ. Да роду-то уж больно знаменитого... Его отец и дед татар били жестоко...

ИВАН. Будь так, — вступи воеводой Мстиславского. (Взглянув на появившегося из тумана Малюту.) Ветер мне, ветер подай, Малюта...

МАЛЮТА. Государь, беда большая...

ИВАН. Говори...

МАЛЮТА. В крепости сидит противу нас в осаде твой зять, принц датский Магнус.

ИВАН (вскрикивает, точно его ужалили). Не верю!

МАЛЮТА. Ночью, как в крепость пробился обоз с хлебом, я мужика одного с телеги сбил и въехал в ворота, на базар. Все сведал. В крепости рыцарей-броняносцев — три тысячи да латников с огненным боем тысяч десять. Путешного зелья у них много, и хлеба запасено...

ИВАН. Ты видел Магнуса?

МАЛЮТА. На городской стене перед ним несли королевскую хоругвь, и рыцари, бывшие с ним, руку ему целовали.

ИВАН. Не верю. Глаза твои обманули... Магнус с нашим войском стоит под Ревелем.

МАЛЮТА. Был. А — как немцам сюда подходить, — бросил войско и прискакал сюда, и племянницу твою, принцессу с детьми привез. Ждали, что он будет оборонять город, — он сразу отворил ворота немцам и наших осадных людей всех им выдал...

ИВАН. Выдал... Предал... Принц датский... (Притянув к себе Малюту.) Ну, а ты мне верен? Как душу мне твою увидеть? Совесть оцупать? Ведь я тебя, раба, ни золотом, ничем не одарю... Верен?

МАЛЮТА. Государь, о верности разве спрашивают, — чай, грех.

ИВАН. Приведи мне Магнуса... Сам лезь на стены... Пройбейся к нему... Возьми живого...

Онова вспыхивает свет и прохочет шумка.

МАЛЮТА. Достану, приведу живого... Поди, взгляни, войска готовы, и фитили горят у пушкарей, и стрелы на тетивы наложены.

Иван и Малюта идут в глубину, в туман. Из шатра, поставленного по другую сторону сцены, выходит Вяземский, глядит в сторону уходящего с Малютой Ивана.

ВЯЗЕМСКИЙ. С дружкой своим не расстается...

ВИСКОВАТЫЙ. Поздно спишь, Афанасий...

ВЯЗЕМСКИЙ. Да сырость проклятая, разломил, ноют раны мой...

ВИСКОВАТЫЙ. А зачем озорничаете: без спросу шатер близко царского шатра поставил?

ВЯЗЕМСКИЙ. Иван Михайлович, ведь скучно стоять на болоте-то с лягушками. А ко мне вчерась жена приехала.

ВИСКОВАТЫЙ. Сомневаюсь — хочет ли государь видеть тебя близко...

ВЯЗЕМСКИЙ. А вы все тому и рады, что государь меня озлобил! Псы цепные! Чем я перед ним провинился? Не лаской веет, в глаза не допускает взглянуть. За что? Бывало — Афонька да Афонька, часу без меня не мог... Что ж я — опальный?

ВИСКОВАТЫЙ. А жену возишь за собой — зачем? По турецкому обычаю, что ли?

ВЯЗЕМСКИЙ. Да случает без меня, глупая, все плачет...

ВИСКОВАТЫЙ (подъядчим). Кончили? Ступайте кашу есть, опосля съличу.

Подъядчие уходят.

С огнем играешь, Афанасий, не сносить тебе головы. (Уходит.)

ВЯЗЕМСКИЙ (вдогонку ему). Погоди — рано меня хоронишь... Как бы опять не стал у меня блюда за столом лизать!..

Из глубины возвращается Иван.

ИВАН (Вяземскому). Почему ты не на коне?

ВЯЗЕМСКИЙ. Великий государь...

ИВАН. Ступай к своему полку... (Оглянув его, злобно усмехнулся.) Иди к Малюте, скажи, — велю тебе быть с ним, когда на стены полезете... Щитом его прикрывай, — за каждаю его рану ответишь. А убьют тебя, красавца, черговку на костях поставлю...

ВЯЗЕМСКИЙ. Великий государь...

ИВАН. Иди...

ВЯЗЕМСКИЙ. Позволь челом бить на последней милости... Болен я, саблю едва могу поднять... Убьют — так уж ты не оставь ее-то... Призрей ее-то... Как отец родной. Она ведь как дитя малое...

ИВАН. Афонька! Ты чего пугаешь?

ВЯЗЕМСКИЙ. Чую, — сложить мне голову... Для того и велел привезти ко мне государыню-княгиню мою...

ИВАН. Анну!

ВЯЗЕМСКИЙ. Анну, Анну...

ИВАН. Где она?

ВЯЗЕМСКИЙ. В шатре.

ИВАН. В шатре? Своей волей приехала?

ВЯЗЕМСКИЙ. Сама, сама пожелала. У нее ведь ни отца, ни матери, — спрутка... Она, как птичка, к гнездышку жметя...

ИВАН. Отдаешь ее в дочери мне? А ну, как я отец окажусь дурной, — ее не по-отцовски начну ласкать?

ВЯЗЕМСКИЙ. Господи, она дурочка, на всякую ласку согласна...

ИВАН. Так и сговорились с ней, что согласна?

ВЯЗЕМСКИЙ. О чем гневаешься-то?.. Не понимаю, государь...

ИВАН. Все понимаешь!.. Змей!.. Сводник-растлитель!.. Жене твоей, что ли, медной крышей терем покрыть? Покрою... Ожерелье жемчужное в два пуда на шею повесить? Повешу, чтоб удавилась... Продад, продад непродажное... Или не поверить тебе? Своему виденью верить?

ВЯЗЕМСКИЙ (шопотом). Мне для тебя-то разве чего-нибудь жалко? Самое дорогое отдаю... И чиста, и кротка, и бела... Зайди в шатер, поговори с ней...

ИВАН. Нет, Афанасий... Не пойду в шатер, — я мертвый... И тебе тоже нехорошо быть живым... |

ВЯЗЕМСКИЙ. Государь, я же по глупости если что сказал... Смилуйся...

ИВАН. Не кричи... Умирай тихо... (Левой рукой он схватывает его за лицо, правой прижимает к себе с такой силой, что Вяземский задыхается.)

Из шатра появляется Анна. Кидается к Ивану, отталкивает его, обхватывает руками мужа.

АННА. Кто ты — у меня мужа отнимать! Уйди, злой человек... (Обернув голову, глядит на Ивана, — крикливо.) Он! Это он!

ВЯЗЕМСКИЙ. Тихо, тихо, Анна...

АННА (Ивану). Черными глазами не сверкай... Царь... Базни нас обоих...

ИВАН. Анна, подойди ко мне.

ВЯЗЕМСКИЙ. Ну что уцепилась, глупая...
Подожди к государю...

ИВАН. Аннушка, подойди ко мне.

Она отпускает мужа и, притянутая взглядом Ивана, подходит к нему. Иван низко ей кланяется.

Милая, красе твоей кланяюсь...

АННА. Иван Васильевич, не надо, нехорошо... (Обернулась к мужу, и он ушел в шатер.)

ИВАН. Успеешь к мужу... Побудь еще. Глядеть на тебя — сердце стонет... Какими словами обласкал тебя, голубка? Во сне блаженном таплето живут...

АННА. Ох... Что ты так-то убиваешься...
Чай, мне жалко... Стыдно мне... Ах, батюшки...

В это время — усиливающийся шум ветра в вершинах сосен. Из тумана — крики: «Ветер, ветер, ветер!»

ИВАН. Дивно, Анна!.. Ты вышла из шатра — и развеялся туман... Счастливая... А я еще не мертв, не жалею меня, не стыдись, что мучаешь. Слышишь — ветер, — знак добрый...

Крики, звон оружия. Туман развеивается клочьями, сквозь них проступают зубцы башен. Тяжело ударяют русские пушки. Из шатра выбегает Вяземский, в шиняке и кольчуге, пристегивая саблю.

ВЯЗЕМСКИЙ. Анна!

Анна не оборачивается, глядит на Ивана. Он, как жулачный боец, уперся в бока, следит, как в тумане проходят ратники с лестницами, другие — тащат гуляй-город. Трубы, грохот пушек. Из-за царского шатра выбегают опричники, среди них — Басманов, Суворов, Темкин.

БАСМАНОВ. Эй, конюхи, коня государю!

Темнога. Снова — свет. Солнце висит низко. Над башнями — черный дым пожара. Из царского шатра слуги вынесли и поставили на ковер золоченый стул с орлом на спинке, с грифонами на место подлокотников. Трубят рога, литавришки бьют в огромные литавры, похожие на котлы. Приходят воины с добычей и складывают ее у царского места, около которого стоит Висковатый. На другом конце сцены у своего шатра стоит Анна.

ВИСКОВАТЫЙ (ратникам). Дрова свалю-ваешь? Клади бережнее. Положил, имя сказал писцу и отступи в сторонку, — никого не забудем... (Кому-то — невидимому за кустами.) Сотник, присматривай, чтобы шлемы с головами не приносили, головы бы из шлемов вынимали и прочь выбрасывали... Эка, варвары!..

АННА (глядя в сторону крепости). Вои он! Как молния, сверкнул. Конь под ним прыщет, рвы, канавы между копыт пускает. Стал у ворот, конь в землю по колена врос, — вот как его конь встал у ворот. Пленные все ниц упали, стяги, знамена перед ним наклонились... А он — грозен — глядит, на шлеме солнце горит...

ВИСКОВАТЫЙ. Чего ты, княгиня, как из сказки причитываешь? Ушла бы в шатер.

АННА. У его, у буланого коня дым из ноздрей, пламя изо рта, — видела своими глазами.

ВИСКОВАТЫЙ. Нище государь грозен. Победа большая. Пошады городу нет, — не то, что в прошлые годы...

АННА. Повернул коня, опять скачет.

ВИСКОВАТЫЙ. А ты все-таки уйди, — бабе здесь не место: народ разгоряченный. Собери мужу попить, поесть, а поглядишь в щелку.

Анна уходит в шатер. Входит Басманов с черным знаменем, на котором нашит белый адест.

БАСМАНОВ. Гула поставить?

ВИСКОВАТЫЙ. Прислони к стулу.

БАСМАНОВ. Где у тебя писец? (Обернулся к писцу.) Пиши, — десятник первой опричной сотни, Федор Басманов, с бою взял знамя магистра ливонского.

ВИСКОВАТЫЙ. Хвастай умеренно, Федор.

БАСМАНОВ. Ладно. Причем, при взятии знамени двух рыцарей-знаменосцев рассек на-полю...

Входит Суворов, гоня перед собой на аркане трех рыцарей: Розена, Штейна и Вольфа.

СУВОРОВ. Палетел на них, понимаешь, как закричу по-татарски, одного сбил конем, другого — булавой по башке, он и руки раскинул, грохнулся с седла, третьего сдернул арканом... Ахнуть не успели — я их скрутил. Где писец?

ВИСКОВАТЫЙ. Рыцари-вля чак — латники?
СУВОРОВ. Латники! Эх ты, чернильная лу-

ша! Первейшие германские рыцари,— королевских кровей... (Рыцарям.)
Гляди веселей,— чего там! Опосля поднесу зеленой, русской, по чарке...

РЫЦАРИ (квивают ему, пэвторыя).

Русский хорошо, водка — хорошо.

СУВОРОВ (толкает к писцу). Говорите имена, дьяволы...

Входят Темкин, волоча Козлова.

ТЕМКИН. Злого чорта добыл! Всю кольчугу на мне иссек саблей. (Писцу.) Пмени он не говорит, пшии приметы. Это птица особенная.

Козлова замечает Шуйский и протискивается ближе к нему.

ТЕМКИН (Козлову). Ты кто — поляк, литовец, русский?

ШУЙСКИЙ (Темкину). Убей его, это вредный человек.

ТЕМКИН. А ты поди сам — добыть такого, тогда распоряджайся.

Входят Малюта и Вяземский с связанной головой, они ведут Магнуса, у которого на плече — корона, на плечах — плащ с горностаем.

ВЯЗЕМСКИЙ. Принц датский Магнус, — взят мной и Скуратовым...

ВИСКОВАТЫЙ (горестно). Принц Магнус, что ты сделал?

МАГНУС. Я король этой несчастной страны. Развяжите мне руки. Это неприятно!

ВИСКОВАТЫЙ. Развяжите руки зятю государеву.

МАЛЮТА (развязывая ему руки). А государя обманывать прилично?.. Эх, принц, принц!.. Не шали, стой смирно...

МАГНУС. О, какой вздор! Я отказываюсь что-либо понимать!

МАЛЮТА. Сейчас поймешь!

Появляется Иван, — разгоряченный, весело оскаленный. Садится на стул, ставит саблю между колен и, наклонившись, глядит на Магнуса.

ИВАН. По-здорову живешь, зятек?..

МАГНУС. Великий государь, я пришел оправдаться.

ИВАН. Спасибо... А я думал — принес мне ключи от Ревеля. (Протягивает руку.) Где ключи? Дай...

МАГНУС. Не по моей вине не был взят Ревель. Ты велел быть при войске дуракам: Иоганну Краузе, Иоганну Таубе, Францу Вахмейстеру и Юргену Ференс-

баху, — это хорошие военачальники за пивной кружкой. Они продали твою службу шведскому королю за две тысячи марок. Ночью они зажгли русский лагерь и с ливонским полком, в котором все до одного — разбойники и бродяги, как вот эти рыцари, ушли чорт их знает куда. Русские полки выбежали из горящего лагеря, и я остался один... В большом страхе я прискакал в этот город...

ИВАН (Висковатому). Врет?

ВИСКОВАТЫЙ. Нет, не врет, государь, — так было под Ревелем.

МАЛЮТА. Не врет, но главное утаивает.

ИВАН. Посадил я тебя королем в Ливонии, прекрасный город этот дал в столицу. А ты ворота отворил моим лютым врагам. Затеял со мною брань. Изменной и хитростью хочешь отнять у нас кровью завоеванное! Что мне с тобой делать? (Глядит на него, на опричников, останавливает взгляд на Малюте.)

МАЛЮТА. Кончать, государь?..

ИВАН (Магнусу). Стань на колени, твое королевское величество.

МАГНУС. О, нет! Тебе этого не простят. Не унижай меня перед мужиками... Не надо...

ИВАН. Пустое, — нас и без того все короли бранят...

ВИСКОВАТЫЙ (наклоняясь к уху Магнуса). Вымалывай свою голову...

ИВАН. Не прибудет тебе чести, что не хочешь у меня в ногах поваляться... Магнус, Магнус, где твоя честь? Потерял ее, потеряешь и голову... (Быстро нагнулся, сорвал с него корону, швырнул на землю, крикнул.) Кончай его, Малюта!

МАГНУС (упал на колени). Виноват... Прости... (Хватает его за ноги.) Дьявол попутал... Пощади...

БОЗЛОВ (исступленно). Стыдно! Варвара безумного колена обнимать! Встань, принц датский!

Все отплатились от Козлова, только Шуйский остался близ него.

ШУЙСКИЙ (негромко). Откуси себе язык.

ИВАН (ищет глазами, кто крикнул, и встречается со взглядом Бозлова). Ты крикнул? А ведь я тебя знаю... Не тебя ли я в церкви по голове погладил? Вот ты кто?

БОЗЛОВ. Не боюсь тебя! Мучитель человек! Над бесами владыка, ибо сам бес...

ИВАН. Погоди, погоди... Ведь тогда мы с тобой не договорили... Подведите его ближе...

КОЗЛОВ. Порази меня железом... Варвар! Ничего тебе не скажу... Язык мой вырви,— слова от меня не узнаешь... На тебе мой язык!

Козлов втыгивает голову в плечи и, помогая себе рукой, откусывает язык и выплювывает его к ногам Ивана. К Козлову кинулись опричники, окружили, повели.

ИВАН. Видишь, Магнус, легко ли мне быть государем? Русские люди зры, ни мук, ни смерти не боятся: ишь, язык откусил, чтобы товарищей своих не выдать... А чести у него, изменника, больше, чем у тебя... Малюта, возьми его под стражу, пусть поразмыслит над своей совестью...

МАГНУС. Великий государь, испущю вину...

ИВАН (Годунову). Подними корону, отдай ему для ношения... Не будь ты сыном любезного брата нашего Христиана, а бы осерчал не так.

Магнуса уводят.

(Взглядывает на трех рыцарей): А эти кто?

СУВОРОВ. Мой полон, государь, с одного поезда — трое...

ИВАН. Имена их?

СУВОРОВ (справляясь у писца). Рыцарь Фриц Розен, рыцарь Вольдемар Штейн, рыцарь Ганс Вольф... Принцы,— чего там!

ИВАН. Хотят ли они служить у нас?

СУВОРОВ (Висковатому). А ну-ка спроси их по-немецки.

ВИСКОВАТЫЙ (рыцарям). Великий государь хочет простить вам службу у польского короля и спрашивает, согласны ли вы своею волей служить царю русскому без воровства и отъезда?

РЫЦАРИ (живо переглянулись, повеселели и, преклоняя колена, закричали). Хох, хох, хох! Царь, Иван Васильевич!

ИВАН (Висковатому). Хорошо. Скажи им, что я не беру их на службу, (Годунову.) Борис! Повезешь хану письмо, так забодно подарить ему этих рыцарей. Посади их на телегу добрую, да чтоб не отощали в дороге. Хану скажешь, что-де кланяюсь ему тремя рыцарями, а поправятся — и еще пригостю. За них немалые деньги выручит хан Гирей...

ГОДУНОВ. Большого выкупа не выручит, государь,— на неметчине нынче голодно, рыцарь дешев.

ИВАН (сходит с трона). Афанасий, сходи, попроси княгиню,— жажду, милости прошу — поднесла бы мне меду своими руками.

Вяземский быстро уходит в свой шатер.

(Подходит к Шуйскому.) Не думай, что я глух. Как имя тому, кто язык себе откусил?

ШУЙСКИЙ. Обезумел я, государь, как он тебя, святыню, бранить стал поносными словами...

ИВАН. Имя скажи...

ШУЙСКИЙ. Козлов, родственник Андрея Михайловича Курбского... Государь, Борису Годунову все известно...

ГОДУНОВ. Дело тайное и страшное, государь... Шуйский всех выдал...

ИВАН. Подожди. Не огорчай меня.

Из шатра выходит Анна с подносом и чашей. Иван стремительно оборачивается к ней.

АННА. Милости прошу, государь Иван Васильевич, испей во здравие...

Иван подходит к ней, опустившей глаза, берет рашу, жадно выпивает, бросает чашу на землю.

ИВАН. Спасибо, счастливая... (По обычаю, целует Анну в губы три раза и еще раз так, что у нее дрожат руки и колени.)

Картина восьмая

Низкий сводчатый подвал на кирпичных столбах. В глубине — мрак. На переднем плане, на лавке у приземистого стола сидит Иван, закрыв рукой глаза. Перед ним — свеча в железном светце и много листов с показаниями. С краю стола сидит Малюта и читает вполголоса по листу, относя его далеко от глаз.

МАЛЮТА. Боярин Бутурлин, Андрей Андреевич, вооружил дворовых холопов более сотни... Окольный Нарышкин, Василий Степанович, вооружил дворовых холопов восемьдесят душ, некоторых же — огненным боем... Боярин Салтыков, Александр Петрович, вооружил дворовых холопов два ста душ... Боярин Кольчев, Михаил Семенович, брат митрополита Московского Филиппа, вооружил дворовых холопов и мужиков деревенских тысячу душ...

ИВАН. Филипп взят под стражу?

МАЛЮТА. Бог над ним смилостивился — мятрополит Филипп отошел с миром...

Иван взглядывает на него.

Ночью вчера задушен у себя в келье...

ИВАН. Зачем ты это сделал?

МАЛЮТА. Читать далее, государь?

ИВАН. Зачем ты это сделал?

МАЛЮТА. Не годится тебе брать на себя филиппову кровь. В Москве Филиппа чтут...

ИВАН. Читай дальше...

МАЛЮТА. Князь Дмитрий Петрович Оболенский-Овчина пригнал из своих вотчин пять ста мужиков и вооружил же...

ИВАН. Всего сколько жаждущих моей погибели?

МАЛЮТА. По московскому списку, — князей твоего рода — семеро, князей удельных, бояр и окольных — сто двадцать два... В новгородском списке более того... Щадил ты их, государь, и развелась измена...

ИВАН. Щадил? Да, щадил...

В глубине подвала, в темноте, неясно различимые люди проводят кого-то, стонущего тяжело и хрипло. Иван отнимает руку от глаз, взглядывается. Малюта идет в темноту и возвращается с листом.

МАЛЮТА. Провели князя Дмитрия Петровича Оболенского-Овчину, пытали в третий раз. (Просматривает список.)

ИВАН. «Вошел страх в душу мою и трепет в кости мои...» Не ошиблась ли совесть, не помутился ли разум? Доколе еще вырывать плевелы, и сучья гнилые рубить? Остаюсь гол, как древо... Господи, молил со смирением и слезами, и яростно истязуя себя, и с пеной во рту молил... Сделай так, чтобы русская земля от края до края лежала, как пшеница чиста... Хотел я веселиться и плясать, как царь Давид... И — вот сижу в застенке, — кровь на руках и кровь на кафтане заскорузла, и душа уже не хочет оправдания... Бедно видение сне и горек позор человеческий...

МАЛЮТА. Дмитрий Петрович оговаривает князя Ивана Федоровича Мстиславского, что-де о мятеже знал и говорил: императоров-де византийских свергали и ослепляли, а нам-де и бог простит...

ИВАН. Оболенский врет! С себя вину снихивает... Несбыточно! Оговор!.. Мстиславский чист!.. Не могу я корни рубить! (Хватает у него допросный

МАЛЮТА. Здесь Оболенский и про второй твой корень сказал... Читай ниже... Как его клутом ударили, оговорил — Ивана Петровича Челяднина... Что-де он всему мятежу был заводчик и вождь...

Иван бросает лист, встает и ходит от стены к стене, засунув руки в карманы черного кафтана.

Пу да, Челяднин гнена известная... Велить взять его под стражу?

ИВАН. Челяднин! Его мать, Аграфена Ивановна, меня на руках вынянчила, оберегала от боярской злобы. Нам по три годочка было, обнявшись, сказки слушали да засыпали на лавке под треск сверчков... Он у тропа мой скипетр держит... Богат несчетно... Взыскан у меня более, чем я у бога... Ищет терзать мой внутренности? Глена! Все, все таковы! Ненавидят, строптивые псы, хозяина своего... Богатины ленивые... Идут от обедни, распустив брады, ладаном да розой помазанные, закатив зрачки — милостыню раздают... И так хотят жить, обнявши богатство свое перстами... И был бы я любезен им, сияя в сипелите их, надувшись глупостью да ленью, да им кивая... На плаху головы их! Пусть клянут! Грай вороний да лай собачий мне их воли! (Обернулся в темноту.) Басманов!

МАЛЮТА (глядя на лист). Оболенский-Овчина еще и третьего оговорил...

ИВАН. Кого?

МАЛЮТА. Страшно сказать...

Входит Басманов. Иван подгаскивает его к свече.

ИВАН. Что не глядишь в глаза? Что бледен? Оговора боишься? Бойся, если виноват... Нынче мы этой свечой во все души светим... (Оставил Басманова, сел у стола, закрыл лицо руками и — спокойнo.) Ступай на двор к Ивану Петровичу Челяднину... Возьмите его, в чем езд... Привезешь его на седе... Торопись...

БАСМАНОВ. Как уж тебе и сказать-то, — подойти к тебе страшно... Иван Петрович Челяднин нами нынче на заре найден на берегу Неглинной, на куче навозной, убитый и обдранный... Из гостей он, что ли, конный ехал. Как он туда попал, кто его убил? И его стремянный лежит неподалеку...

ИВАН (Малюте). Кто убрал Челяднина?..

МАЛЮТА (вздохнул). Не знаю... Государь, не знаю.

ИВАН. Плохо метет твоя метла...

БАСМАНОВ. По моему-то разуму это дело Васьки Шуйского,— может я дурак, не спорю,— это он... (Уходит.)

МАЛЮТА. А третьего он оговорил — князя Афанасия Вяземского.

ИВАН (вскочив). Афанасия! (Кидается в темноту.)

МАЛЮТА. Государь, ты к Дмитрию Петровичу? Он вряд ли говорить способен. (Берет свечу и уходит за Иваном.)

Картина девятая

Бахчисарай. Высокий, узкий зал ханского дворца, перегороженный занавесом. Перед занавесом стоят Годунов и ханский толмач — шустрый человечек в халате и туфлях.

ТОЛМАЧ. Ваш царь сидит на троне, а наш хан сидит на диване, превыше всех. По обе руки от него сидят царевичи — сорок четыре ханских сына.

ГОДУНОВ. Сорок четыре сына! Сколько же хану лет?

ТОЛМАЧ. Хану не так много лет: жен у него много.

ГОДУНОВ. Тьфу, поганые!

ТОЛМАЧ. Не плюйся, за это у нас плетями бьют. Но сегодня царевичей не будет. Они прохлаждаются на соколиной охоте.

ГОДУНОВ. Зачем врешь. Время сейчас не для соколиной охоты.

ТОЛМАЧ. Думай, как хочешь... Ты пойдешь к хану по этому ковру. Иди, маленько приседаю,— вот так... (Показывает.) Подступив к хану, упадешь на лицо.

ГОДУНОВ. Да ты в уме! Русского царя послу перед крымским ханом на лицо падать? Не стану.

ТОЛМАЧ. Заставим, золотой, серебряный!

ГОДУНОВ. Не знаю, как вы меня заставите. Касьян!

Появляется писец Касьян с большим мешком.

Шапочку достань жунью: (Толмачу.) Государь приказал тебе шапочкой этой кланяться.

Касьян достает шапку, встряхивает ее, дует на мех и подает толмачу.

Неси во здравье.

ТОЛМАЧ. Шапочка, шапочка...

ГОДУНОВ (угрожающе твердо).

Шапка!

ТОЛМАЧ. А на колени перед ханом стать можешь, золотой, серебряный?

ГОДУНОВ. Поклопюсь хану перстами до полу.

ТОЛМАЧ. Ой, ой, ой! А с каким титулом будешь выговаривать царя Ивана?

ГОДУНОВ. С великим титулом.

ТОЛМАЧ. Зачем тебе это пужно? Хап соскутится слушать.

ГОДУНОВ. Кинжал будете приставлять к горлу — все равно скажу великий титул, с царем Казанским и Астраханским.

ТОЛМАЧ. Позволим только сказать: государь Иван Васильевич, царь Московский.

ГОДУНОВ. Касьян, достань беличью шубу.

Касьян достает из мешка шубу, подает Годунову.

(Встряхивает ее и подает толмачу.) Государь велел тебе этой шубой кланяться, носи во здравье.

ТОЛМАЧ. Ай-ай-ай! Худая шубенка, рыжая, траченная.

ГОДУНОВ. Ах ты, вор, собака! С государева плеча шуба!

ТОЛМАЧ (услышав шаги, поспешно прячет шубу под ковер на одном из диванов). Идет Мустафа, великий улан, кто у хана возлежит на сердце. Золотой, серебряный, кланяйся ему ниже.

Из-за занавеса появляется одноглазый мрачный татарин в халате и тюрбане.

МУСТАФА (Годунову). Ты что за человек?

ТОЛМАЧ (низко кланяясь). Борис Федорович Годунов, посол московский...

МУСТАФА. Ты привез письма к возлюбленному аллахом нашему хану Девлет Гирею?

ГОДУНОВ. Я привез письма и поминки.

МУСТАФА. Дай мне. Скорее! Хан ждет...

ГОДУНОВ. Мне велено письма отдать хану в собственные руки. А тебе не отдам.

МУСТАФА. Повишуйся мне, сын праха!

ГОДУНОВ. Повишуюсь, одному царю моему да богу.

МУСТАФА (багровеет, хватает Годунова за грудь). Дай письма! Московит проклятый! Сын девки! Дай письма! Гяур, собака!

ГОДУНОВ (пятясь). Я бы на коне сидел, ты бы меня, мужик гололобый, так не бесчестил,— я бы тебе дал отпор. Не рви мою грудь, а с^а не драться приехал.

МУСТАФА (из-за пояса выхватывает

ваёт кривой нож и бесится, вертя им вокруг шеи Годунова). Нос отрежу. Уши оторву... Дай письма,— без головы останешься!..

ГОДУНОВ. Ты, Мустафа, круг моей шеи ножом напрасно не примахивай,— мы смерти не боимся... Убьешь — одним мной у государя будет ни людно, ни безлюдно.

МУСТАФА. На кол тебя посажу!

ГОДУНОВ. Врешь — этого с посланниками не делают! Касьян! Шубу соболью вынь из мешка!..

Мустафа завращал глазами на толмача. Толмач встал лицом к стене. Касьян достал шубу.

(Встряхнул ее и подал Мустафе.) Государь велел этой шубой тебе кланяться. носи во здравие.

МУСТАФА. Это что за шуба?.. На худых пунках шуба.

ГОДУНОВ. А и дурак же ты, Мустафа. Шуба на всех сорока соболях селых. Такая шубы у самого аллаха нет.

МУСТАФА. А ну, дай еще чего-нибудь.

ГОДУНОВ. Опосля, вечером, приходи, найду какой-нибудь рухляди...

За занавесом послышалась музыка — зурна, деревянная дудка, бубен.

МУСТАФА. Ай, ай! Хап сел на место. (И исчезает за занавесом.)

ГОДУНОВ. Касьян, скажи, чтоб несли миньки да вели бы рыцарей на арканах.

Касьян уходит.

(Толмачу). Василия Грязного я где увижу?

ТОЛМАЧ. Грязного сюда же приведут. Его, золотой, серебряный, при тебе бить будут... Ох, не скупись...

Двое юношей появляются из-за занавеса и раздвигают его. На диване сидят хан Девлет Гирей в полосатом халате и чалме, украшенной драгоценными камнями. У хана — красная борода, неподвижное лицо с насурмженными бровями. По сторонам от него сидят Воропай и турецкий посол, уланы и мирзы.

МУСТАФА. Хан, великий, непобедимый, тот кто хитрее лисицы и сильнее льва, гроза царств и похититель миллиона миллионов пленячков, исполнись милости, повели ~~присла~~ царя Московского подойти

Хан кивает. Годунов подходит и кланяется, касаясь пальцами пола.

ГОДУНОВ. Божьей милостью, государь Иван Васильевич, царь всея России, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, царь Ливонский...

Воропай укоризненно качает головой.

Царь Казанский, царь Астраханский...

ХАН (заткнул пальцами уши). Ай-ай-ай!

Все мирзы и уланы заткнули пальцами уши и качали головами, повторяя: «Ай-ай-ай».

ТОЛМАЧ (Годунову, торопливо, шопотом). Пропусти царя Казанского и Астраханского, не серди хана, золотой, серебряный...

ГОДУНОВ (громко). Царь Казанский и Астраханский и земель отпч и дедич... Тебе, брату своему, хану Девлет Гирею, шлет поклон и письмо. (Подает хану письмо.)

Толмач становится около хана на колени, распечатывает письмо и шопотом читает его. Рабы разносят кумыс.

ХАН (во время чтения сердито взглядывает на турецкого посла и — Мустафе). Обнеси кумысом турецкого посла.

Мустафа выхватывает из рук раба пиаалу, которую тот поднес уже турецкому послу. Толмач продолжает читать.

(Сердито поглядывает на Воропая). Твой король, видно, беден, что прислал мне оловянную посуду да бараньи шубы. На что нам бараньи шубы, у нас в Крыму баранов и без того достаточно.

Уланы и мирзы засмеялись.

На оловянной посуде у нас рабы едят, а татары кушают на золотой да серебряной.

Уланы и мирзы запелкали языками.

Воропай. Великий хан, шубы, присланные тебе моим королем Сигизмундом Вторым Августом, не бараньи, но самого тонкого козьего меха и крыты утрехтским бархатом. Посуда же точно — оловянная, аглицкой, предивной работы и по цене как бы серебряная.

ГОДУНОВ (хану). Великий хан, мой государь тебе про то и пишет, что буде нужда у тебя в дорогой посуде, только пожелай да попроси,— у государя чуланы ломятся от золотых кубков да блюд.

ХАН (Мустафе—на Воропая). Обнежи его кумысом. (Опять наклонил к толмачу ухо и, слушая чтение, вдруг подскочил на подушках.) Князя Мстиславского царь послал в Дикую степь? (Высунув из рукавов халата руки с крашеными ладонями, ударил пальцами о пальцы.) Ай, князь Мстиславский! Ай, князь Мстиславский! (Взглянул на Годунова.) Радуюсь за царя Ивана, ныне князь Мстиславский запрет Дикую степь на семь замков. (Раскачиваясь—закрыв лицо руками.) А моим-то татарам уж и погулять на конях будет негде. (Обернувшись, к уланам и мирзам.) Пропали наши древние юрты—Астрахань и Казань—князь Мстиславский в Дикой степи воеводой...

Татары закрыли лица руками и закачались.

Ну да голодны мы не будем,— с левой стороны у нас Семипрадье, а с правой—Черкессия, стану их воевать и от них еще сытее буду.

ГОДУНОВ. Великий хан, мой государь посылает тебе поминки.

Русские воины вносят седло с чепраком, украшенные драгоценными камнями, и дорогое оружие. Хан и татары жадно смотрят, щелкая языками.

Сабля, седло и чепрак от самого Пера, царя индийского... Шелом, щит и колчуги—от самого Ахмеда, царя персидского. Пеще сорок возов всякой мягкой рухляди стоят на твоём дворе. Прими во здравие.

Русские вводят на арканах трех рыцарей.

Еще государь кланяется тебе 'славными рыцарями, немецкими королевичами—Фрицкой Розановым, Гапкой Вольфовым да Володькой Штейновым.

ВОРОПАЙ (вскочив). Хан, я покупаю рыцарей! Даю за каждого по триста złotych.

ХАН. Продавать не тороплюсь,— слава аллаху, я еще не нищий. (Толмачу.) Спроси, хотят ли они мне служить?

ТОЛМАЧ (рыцарям). Великий хан хочет, чтобы вы приняли веру Магомета, хан пожалует вас землей, табунами и женами, и будете ему служить. Согласны ли?

РЫЦАРИ. Хох! Хох! Хох! Великий хан, Девлет Гирей!

ХАН (Мустафе). Жалую их чашкой кумыса.

В это время двое дюжих татар привели на растянутых цепях Василия Грязного. Борода его испутана, платье на нем шестлело, весь вид его дикий и страшный.

А вот Васыка Грязной, славный русский витязь, кто у царя Ивана возлежал на сердце. Не сердись, Годунов, мы его в цепях привели оттого, что чрезмерно зол и дик... Царь Иван—соскучился по нем. Ай-ай-ай... Что же, отпущу Грязного царю Ивану. Какой дашь выкуп?

ГОДУНОВ. Пятьсот рублей.

ХАН. Прибавь немножко.

ГОДУНОВ. Хан, даю деньги великие.

ХАН. Ай-ай-ай! Нехороший ты человек Годунов... Вот что... Мы будем царева любимца бить, а ты будешь прибавлять. (Кивнул Мустафе, тот кивнул татарам, которые начали стегать Василия Грязного плетями по спине. Хан, отвернувшись, кушает шербет.)

ГРЯЗНОЙ. Борис! Прибавь сотню, ну их к черту!

ГОДУНОВ. Хан, даю тысячу рублей.

ХАН. За такого богатыря тысячу рублей? Что ты,—стыдно тебе скупиться,— а еще русский. Бейте еще...

Татары стегают Грязного.

ГРЯЗНОЙ. Стой на тысяче, Борис, выдержу.

ГОДУНОВ. Не сойдемся, хан. Уйду...

ХАН (татарам, которые стегают).

Покрепче... Посильнее.. Побольнее...

ГРЯЗНОЙ. Терпи, Борис.

ГОДУНОВ. Прощай, хан. (Кланяется, идет.)

ХАН. Годунов, стой... Ну, немножко прибавь... Ой, ой, ой... Только ради нашей любви к царю Ивану,—давай тысячу... Освободите пленника. (Подумав, с подушек.)

Занавес закрывается. Годунов и Василий Грязной выходят перед занавесом.

теперь на меня гололобые. Заставляли аллаху кланяться. Хотели на татарской девке женить,— едва отбился. Борис, не верь хану ни в едином слове... Сыновья его, сорок четыре царевича по Дикой степи рыщут, с каждым по туману,— по десять тысяч татар. Готовятся к походу на Москву. Беда, Борис! Кто у нас в степи большим воеводой?

ГОДУНОВ. Иван Федорович Мстиславский.

ГРЯЗНОЙ. Батюшки! Продаст. То-то про него татары все лопочут. Пропустит он их к Москве... Продаст Мстиславский...

Картина десятая

Декорация шестой картины. Площадка башни новгородского делинча. Стоят Иван и митрополит Пимен. Похоронный звон колоколов. Глухой гул толпы внизу. В наступающей тишине — частая дробь литавров, кончающаяся ударом. Вскрики, и снова — гудение толпы.

ИВАП (Пимену). Гляди. Чего глаза отвел... Проволай своих чад. Гляди. Повели князя Острожского,— с кем ты Новгород Литве продавал. Молись, молись скорей, а то душа-то его выпорхнет, непокаянная...

ПИМЕН. Господи, желчь в моей слюне, воспадение ненависти в мыслях моих!.. Порази его... Чуда молю. Ненавижу, ненавижу, ненавижу тебя, безумный всадник, земли своей пожиратель...

ИВАН. Не бранись, я злее не стану, легкой смерти тебе не подарю... Новгородские богомазы твой лик на досках запечатлеют...

ПИМЕН (нагнувшись вниз, поднял руки к голове). А-а-а-ах!

И будто в ответ долетел многоголосый вскрик: «А-а-а-ах!»

ИВАН. Вот и выпорхнула душа князя Острожского... Гляди, гляди, молись, тронх ведут, князей Ухтомских... Ты их соблазнил, ты их привел на плаху,— молодые да красивые кажие... И этих чад невинных виноватыми сделал... Взосли на помост, обернулись! На тебя глядят, Пимен. Не на меня глядят,— на тебя... Когда сердце мое опять станет мясом трепетным, я-то о них помолюсь, да жарко, да горько...

ПИМЕН (с пеной у рта). Не смейся... Не мучай меня, не пытай... Кто тебя гякого в мир послал? Ох, суд тебя ждет, суд! Подойди ближе, в глаза плюну...

Иван быстро закрыл глаза рукой. Из пролома появляется Буслаяв.

БУСЛАЕВ. Царя тут нет?

ПИМЕН. Василий, богом заклинаю, спаси мир от зверя...

БУСЛАЕВ. А ну тебя, с ума свихнулся, бабий волленник... (Ивану.) Царь, довольно тебе лютовать... Судьи, казни, на то ты государь. А это уж не суд,— начинается озорство... Опричники твои по лавкам кинулись, красный товар грабят... (На Пимена.) Разбивай его монастыри, коли тебе деньги нужны, а добрых купцов не трожь...

ИВАН. Кто ты?

БУСЛАЕВ. Здравствуй! Ваську Буслаява не знаешь? Про нас, Буслаявых, пять сот лет песни поют. Я тебе толкую — верховодит разбоем твой же опричник, немец толстомордый, Генрих Штаден.. Я уж было с ним схватился...

ИВАН. Ты — любишь ли меня?

БУСЛАЕВ. Если ты царь справедливый — я тебе друг. А уж кому Васька Буслаяв друг — спи спокойно... Так, сделай милость, а то народ обижается...

ИВАН. Беги у моего стремени... (Идет к пролому — пошатнулся, Буслаяв поддерживает его.)

БУСЛАЕВ. Эх, что же это ты,— всю грудь ногтями изорвал...

ИВАН (отталкивает его). Не собрался ли ты меня жалеть!

ПИМЕН (Буслаяву). Не соблазняйся! Удуши его,— се зверь — поднявшись из пропасти адской, пожирает мир.

Иван в бешенстве, шагнув к Пимену, поднимает посох, чтобы поразить его острием.

(Выставив бороду). Вонзи! Будь проклят, кровопивец.

ИВАН (опускает посох). В гордыне поверженной, в иступлении ума долгие годы будешь отмечать дни свои угольком на стене... А я помолюсь, чтобы бог тебе дни длил, смерти не давал... Адские муки примешь при жизни... Вот моя казнь тебе за измену...

БУСЛАЕВ. Слышь, государь, крик-то какой, пойдем... Я за стремнем побегу с охотой...

ИВАН. Пойдем, отважный...

Картина одиннадцатая

Декорация третьей картины. Опочивальня Ивана. Басмашов вводит Анну. На ней — меховая шапочка, под широкой шубой — темное платье.

БАСМАНОВ. Тебе бы давно надо притти... Он — почитай — каждый день спрашивает, — где ты, да что, не обижают ли тебя, когда Афоньку-то в железа взяли?.. Садись куда-нибудь.

АННА. Опочивальня его?

БАСМАНОВ. Где он почивает — не знаем, про то у нас не спрашивают... Он обрадуются, — только ты повеселее будь.

АННА. Где государь?

БАСМАНОВ. Опять, — где государь? Поменьше спрашивай.

АННА. В застенке?

БАСМАНОВ. Вот — земщина темная! Другого дела государю пет — в застенке кровь пить! Государь сидит с опричниками — землю делят.

АННА. Казненных?

БАСМАНОВ. А то чью же? Для того и головы поотрубали князьям, боярам, — теперь у государя земли в опричном уделе, слава богу, много. Ты что все дрожишь? Угощу тебя сладкой вещью, — ну, такая сладость... (Достает из кармана и протягивает Анне.) Косточки на пол не плюй, у нас — чистоту...

АННА (отстраняя его руку). Не хочется.

БАСМАНОВ. Финьки.

АННА (глядя на серебряный таз, кувшин и утиральник — на лавке). Государь моет руки в тазу в этом?

БАСМАНОВ. Моет. Вот — придет, я ему солью.

АННА. Зачем руки моет? От чего отмывает?

БАСМАНОВ. Анна, что у тебя на уме? (Присел перед ней, взял ее платочек, встряхнул, перевернул ее руки ладонями вверх.) Ты зелья какого не принесла ли? Не уйли тебе лучше?

АННА. Куда мне теперь итти?

БАСМАНОВ. Ай, ай, ай... Двор-то Афанасия мы разорили... У родных, что ли, живешь? Слушай, — про мужа, про Афоньку, ты лучше ему не заикайся... Проси чего-нибудь, — он рад будет, если попросишь — узорочья, мягкой рухляди, деревеньку под Москвой попроси, да оп тебе и городок подарит...

АННА. Идет? Оп? (Поднялась, отошла к столу, под свод.)

Входит Иван. Он осунулся, потемнел, глубже и жестче обозначились морщины. Не замечая Анны, остановился, подсушивая рукава, и двинулся к рукомошнику.

ИВАН. Федька...

Басманов начинает сливать ему на руки, усмехаясь и поглядывая в сторону Анны. Иван взглянул на него.

Ты чего зубы скалишь? (Медленно повернулся.) Анна! (Стремительно ступил к ней и остановился. Бросил утиральник.) На руки мне смотришь? Они чистые, Анна.

АННА (низко поклонилась ему, выпрямилась, заломила руку). Ах... Век бы тебе не слезать со светлого коня...

ИВАН Не убивайся... Твой Афанасий жив...

Басманов уходит.

АННА. Спасибо тебе, государь...

ИВАН. Велю его постричь. Сошлю в глухую пустынь, к медведям да птицам — отмаливать свою измену... Еще что тебе надо?

АННА. Ты, светлый, как ты мог...

ИВАН. Чего я мог? Крови столько пролить? А тебе что за беда? Говорю, — Афанасия не казню, живи спокойно...

АННА. Афанасий мне давно чужой... Вот в какой грех ты меня ввел.

ИВАН. Ты не за него пришла просить? За чем ты пришла, Анна?

АННА. К тебе...

ИВАН. А... Ждал я, давно ждал — придут взыскающие к моей черной совести... Только не тебя ждал... Ну, что ж... Судя... От тебя стерплю.

АННА. Плахи в Москве поставил... Головы рубишь... По площади в черной шапке, с нечесаной бородой, с опричниками скачешь, ровно Будеяр-разбойник... Эх, ты!.. Про тебя бы малым ребятам — лучину зажечь — сказки рассказывать... Вот какой ты был Иван-царевич... У коня твоего дым летел из ноздрей... Теперь про тебя в Москве и шепотом говорить бояться... Эх, ты!..

ИВАН. Таких речей тебе не придумать, и таких слов не подобрать, какие сам себе повторяю... Аннушка, голубка сизая... Гляди — постель моя постылая, а ночь долгая... Все огоньки в лампадах пересчитаю, бороду ногтями исскребу, — оттого она и нечесана... Знаешь ли ты, как быть одинокому? Сладко одинокому в лесной келье — ему и птица махонькая — друг... Сядет на ветку, вздрав зоб и нос, и славит и славит, и он — отгоревший старичок — вслед за птицей славит... А я, как волк, тляжу в логовище, оскалив зубы... А дело мое — не

волчье... Их дело волчье... Мое дело добро человекам...

АННА. Нет!

ИВАН. Не легко добро творить, легче — злое... Трудно тебе это понять, — как-нибудь поверь... (Берет с подставки для книг, что около изголовья постели, листочки.) Вот... Синодики, поминальные записи, упрямства мои... Прочти, не страшись, — тут твоего Афанасия нет... И князь и раб — все записаны... Казненные, в муках усонные, — все на этих листках... Глядя в поминальные-то, — полночи бормочу, до воспаления глаз: прости им, господи... Все, все будут прощены. Одному мне с обремененной совестью трудно идти на суд... Есмь грешник великий, ибо взял на себя в гордости и ревности больше, чем может взять человек... Не оправдываться хочу, — мысль непомеренное мерит, и я тверд... Но тяжело мне, Анна... Нетриютно... Была у меня любимая жена. Знаешь ты, как орлица защищает птенцов в гнезде, — расправя крыла, клекоча, грозя очами? Так жена берегла меня от уныния. Обовьет горячими руками, стиснет горячим телом, возьмет мою душу в свою... Хлеб земной был мне сладок и вино веселило. Убили мою орлицу. Теперь живу один. Малюта Скуратов — и тот стал меня бояться... Вино жжет внутренности. В черной шапке по площадям скачу, давью добрых людей... Тело мое не возлюблено... Ну, что ж, пришла мне выговаривать... Кори, жалуйся... Хоть голос твой послушаю...

АННА. Не выговаривать пришла. К тебе пришла... Наяву, во сне — все дороги к тебе одному... С того утра, с той обедни нестойанной — подхватила меня темная буря, лихой ветер...

ИВАН. О чем ты говоришь, Анна?

АННА. О чем говорю, о ком думаю, — о тебе одном... Не ломай мне руки, батюшка... Мужа забыла, прялку за окошко закинула. Умываюсь поутру — на щеках вода кипит от стыда... Одно перед глазами — скачет, скачет мой Иван-царевич, а я за ним клубочком качусь... А ты — вон какой оказался...

ИВАН. В котел кипящий кинусь, чтоб ты, Анна, увидела — и я чист перед тобой...

АННА. Да чего уж... Шла к тебе, думала — поругаю, побраню... А мне жалко тебя... А мне хоть и душу свою погубить...

ИВАН (схватил ее за локти, прижал к себе). Лазоревые глаза твои,

невинные... Далеко ли до них мне идти, еще? Аннушка... Остайся у меня...

АННА. Нет... Так нехорошо... Тебе этого не нужно делать... Тебе это спокую не даст...

ИВАН. Ты что задумала?

АННА. Батюшка мой... Желанный... Осталось мне — прикрыться черным платочком...

ИВАН. Смилуйся!..

АННА (отошла от него, всплеснула руками). Мне-то разве легко это? (Громко, по-ребячьи, заплакала.)

ИВАН. Анна...

Анна кланяется ему низко.

Анна... Вернись...

АННА. Прощай, любимый, прощай, неразлучный... (Кланяется еще, уходит.)

ИВАН. Чего же ты хотел бы еще? Ах, мука нежданная... Доколе же, доколе... (Садится на постель.)

Входит Басманов.

БАСМАНОВ. Велел ее в соболью полость укутать потеплее, да в золотой повозке отвезти...

Иван, сморщившись, глядит на него.

А уж как плачет... Любит тебя, государь... Очень чистенькая бабочка... Дозволишь зайти Борису Годунову да Василию Грязному? Они из Крыма. Рассказывают — Дикую степь из конца в конец проскакали, а войск наших не видали, — крымским татарам дорога на Москву открыта... Что такое? Велишь им зайти?

Иван кивает. Встает, стуло идет к столу, садится. Басманов вводит Годунова и Грязного.

ГРЯЗНОЙ. Великий государь, Иван Васильевич, спасибо тебе... А тысячу рублей моего выкуна у хана мы выторговали обманом... А другую тысячу отслужу своей головой...

ИВАН. Где князь Мстиславский? В Рязани в осаде, или в поле с войском?

ГОДУНОВ. Великий государь, князь Мстиславский — изменник. Узнав о казнях бояр и князей, он дорогу открыл Девлет Гирею, — на Москву идут сорок крымских царевичей...

Иван молчит некоторое время, вперея взор в Годунова, потом спрашивает еле слышно.

ИВАН. Повтори, я не уразумел...

Картина двенадцатая

Стан Грозного, огороженный телегами. Горят костры. Ночь. Вдали огромное зарево пылающей Москвы. Голоса сторожевых: «Не спи, не спи...» У шатра на седельных подушках сидит Иван. У его ног — Касьян, который пишет при свете железного фонаря.

КАСЬЯН (читает продиктованное ему царем). «Ливонский лагерь. Воюю Юрьеву. Здравствуй, Никита Романович, на множество лет. А мы, слава богу, здоровы и духом крепки. Только кручинимся, что долго нет от тебя добрых вестей. Скорее отпиши нам о новом взятии городов ливонских да о побитии войск любезных братьев наших короля польского да короля свейского...»

ИВАН (задумчиво). Ниши дальше...

Входит Годунов в кольчуге и плоской железной шапочке.

Ты из Москвы?

ГОДУНОВ. Из Москвы, государь.

ИВАН. Москва горит?

ГОДУНОВ. Москва горит с четырех концов. Дерево жа, сушь, ветер... Головни шесет по всему городу... Колокола звонят сами собой и рушатся с колокольнями. Народ бежит в Кремль, в воротах давка, по людям ступают... Львы, что сидели под башней, клетку разломали, мечутся по Красной площади. И слон сорвался с цепи. Горят ряды, горит Китай-город.

ИВАН. Что ж ты молчишь про Опричный двор?

ГОДУНОВ. Опричного двора более нет, государь.

ИВАН. Многие этого хотели.

ГОДУНОВ. Золотую посуду, коробья с дорогой рухлядью да книги я успел вывезти... Да ты сам едва ушел вплавь с конем через Москва-реку...

ИВАН (Касьяну, диктуя). «Случилась у нас беда великая. Хан Девлет Гирей, с сорока сыновьями и войском в триста тысяч татар, небрежением нашим перелез через Оку меж Серпуховом и Коломной, отрезал меня с обозом от большого войска и подошел к Москве. Но только зажег посады и слободы, а Москва-реки не перешел, да и сам огня испугался... С божьей помощью мы с ханом справимся, — жалко только — много людей в плен увел и много скота поворовал. Ты, Никита Романович, чтобы за границами про нас пустое не болтали, найди перебежчиков, пошли их в Поль-

шу, а — найдутся — и в неметчину пошли, пусть всюду говорят, что я с ханом повраждовал да и помирился, у нас началась любовь — какой не бывало...» (Протягивает руку. Касьян подает ему свиток и перо, Иван подписывает и — Годунову.) Хан, должно быть, ждал, что ему мою голову в мешке принесут, да с тем мешком и введет в Спасские ворота, — над Москвой царить и княжить?.. Прослышавши мы, что у хана уж ярлыки написаны, — как в былое время при Батые, али хане Узбеке, али Мамай-хане, — раздавать русскую землю во княжение... Ах, ах, а я-то, грешный, поторошился, князей-то повывел... Чего смутный стоишь?

ГОДУНОВ. Дозволь сказать тебе правду, государь...

ИВАН. Если ты смел — скажи правду.

ГОДУНОВ. Государь, с ханом нам не справиться... Государь, беги в Ярославль, а лучше — в Вологду... Под Москвой стоят два земских полка да мужики деревенские с дубинками. Им хана под Москвой не удержать, — ведь один — на десятирех! Большому войску ты велел отходить без боя от Коломны на север, — не уйти войску от ханской сабли, если хан покончит с Москвой... Беги, часа не медли.

ИВАН. За такие речи голову рубят, Борис.

ГОДУНОВ. Знаю, государь. С тем и говорю...

ИВАН. Худо, стыдно отвечают мои опричники... (Указывая на зарево.) Видишь... Возлюблена богом Москва, возлюблена земля русская... В муках бытие ее, ибо суров господь к тем, кого возлюбил... Начала ее не запомнят, и нет ей скончания, ибо русскому и невозможное возможно... Так надо отвечать, стоя передо мной в страхе... А ханов на нас много наезживало...

Входит Малиута.

Под Москвой выстоят земские полки?

МАЛИУТА. Люди осерчали, — надо выстоять...

ИВАН (Годунову). Возьми коня подалее, беги к большому войску, велю воеводам, оставя обоз, с успешностью повернуть к Москве, навстречу хану... А голова твоя у меня в заложье. Ступай.

Годунов уходит.

Годунов успел вывезти казну. Возьми, не скупись, сколько нужно, скажи на подставных конях в Ливонию, уплати

жалованье войску и недоданное уплати до последней денежки... (Подает письмо.) Письмо отдашь Никите Романовичу.

МАЛЮТА. Послать бы тебе кого-нибудь другого...

ИВАН. С ханом управимся, хан сыт грабежом. Это еще не беда, Малюта... Беда впереди, если нам Ливонии не удержать...

МАЛЮТА (берет письмо). Великий государь, прощай...

ИВАН. Прощай. Без победы не возвращайся. Отдыха не проси ни у меня, ни у бога... Отдыха нам нет...

Малюта кланяется, отходит. Из глубины появляются мужики.

МАЛЮТА. Что за люди?

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Деревенские, от татар бежали.

ВТОРОЙ МУЖИК. Вы мужиков-то слышно, по лесам собираете?

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Мы сами вышли. Искать не надо...

ВТОРОЙ МУЖИК. Беда-то какая, а? Конец света, что ли... Страх-то какой!..

МАЛЮТА. Биться с татарами станете?

ВТОРОЙ МУЖИК. Само собой, не сидеть же сложа руки...

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Железное бы нам чего-нибудь дали, — поспособнее для бою.

МАЛЮТА. Хлеб, шпено и оружие дадут, ступайте в обоз. Там же вас и в начало возьмут.

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Вот — спасибо.

ВТОРОЙ МУЖИК. А энтот у вас кто сидит, важный?

МАЛЮТА. Приступите бережно, поклонитесь ему.

ИВАН (стремительно поднимается с подушек, подходит к мужикам). Крымский хан гуляет под Москвой, — гляди, как весело... А мне уж негде голову преклонить... Мой ли в том грех, что такая беда? А если и мой грех — выручайте меня... Не можно жить в стыде... Душа моя стонет, как вдовца, — выручайте меня...

ПЕРВЫЙ МУЖИК. Батюшка, мы-то поможем...

ВТОРОЙ МУЖИК. Мужика ты не знаешь, что ли... Сдюжим...

Близкий топот коней. Голоса сторожевых: «Стой, стой, кто едет?» Малюта вытаскивает саблю. Входят Суворов и Темкин.

СУВОРОВ. Здорово, государь. Как раз с князем у стана съехались. Я с левого крыла, из-под Москвы.

ТЕМКИН. Я с правого крыла... Государь, вести добрые.

СУВОРОВ. Татары на смерть остановлены под Москвой.. Чего там!

ТЕМКИН. Под Серпуховской слободой двинули на них гуляй-город да несколько тысяч телег с огненным боем.

СУВОРОВ. Под Рогожской слободой налетело на нас татар — не счесть, туманов десятка... Алла, алла! Пылью солнце заволокло. Мы начали коней поворачивать и заманили татар на рогатки... А на рогатках мужики, вот эдакие лешне с коньями поставлены, их хоть по колено в землю вбей, и начали мы татар сечь... Все поле увалили. Одни их кони теперь мечутся за Яузой.

Снова топот коней и крики сторожевых. Входит Василий Грязной в кольчуге и шлеме.

ГРЯЗНОЙ. Не пожалейте государь, что заплатил за меня тысячу рублей... Такую птицу поймал в поле. Сам дивлюсь... Не давался одноглазый чорт, маленько пришлось его помять... Веди его, ребята...

Двое опричников втаскивают связанного Мустафу.

Мустафа, первый улан у хана.

ИВАН. Развяжите дорогого гостя.

ГРЯЗНОЙ (развязывает Мустафу). Кланяйся государю большим поклоном.

Мустафа хрипит, косится на Ивана.

Спрашивай вежливо о здравии... Покоряйся, варвар, а то я тебе напомину Бахчисарай.

ИВАН. Отступи от него. (Мустафе.) Что молчишь, улан? Или без меры испугался моих воинов?

МУСТАФА. Делай свое дело, царь Московский, сажай меня на кол. Тогда увидишь, как я испугаюсь.

ИВАН. На кол я тебя не посажу.

МУСТАФА (с ужасом). Как же ты будешь меня мучить?

ИВАН. Дам коня, отпущу к хану... Ты ему скажешь: я-де спрашиваю: «По-здорову ли живет хан Девлет Гирей?»

МУСТАФА (дико засмеялся). Хан здоров!

ИВАН. Доволен ли был хан нашими поминками?

МУСТАФА. Хан твои поминки враз проглотил да и не сыт.

ГРЯЗНОЙ. Смотри, я тебя научу отвечать государю!

МУСТАФА. Наши древние юрты Астрахань и Казань — вот какие поминки хочет от тебя хан... Царского венца да твоей головы — вот какие поминки...

ГРЯЗНОЙ. Государь, дозволь, я его успокою.

Иван останавливает его.

МУСТАФА. Почему ты не вышел против хана на Оку, а сидишь за телегами... Были бы в тебе стыд и дородство, ты бы вышел против хана и помер бы с честью.

ГРЯЗНОЙ (вместе с другими опричниками закричал). Пришибить его, собаку!

Иван снова останавливает их.

ИВАН. И еще, Мустафа, спроси хана, достаточно ли остра его сабля, что он похваляется отрубить мне голову? Мамай-хан посильнее его был, да и от того одна сабля осталась, что висит на моем поясу. (Снимает с себя саблю.) Взята она на Куликовом поле в ханском шатре, когда хан Мамай, даже бросив жен своих, бежал в великом страхе. Отвези саблю в поминок любезному брату нашему Девлет Гирею, коли он еще не сыт моими прежними поминками.

МУСТАФА (берет саблю, целует).

Мамай-хан, Мамай-хан, алла иль алла...

ГРЯЗНОЙ. Понимай, Мустафа, загадку. (Захохотал, за ним засмеялись опричники.)

ИВАН. Дать ему доброго коня... (Грязному.) А ты ему верни, что с него ободрал... (Отходит к шатру.)

ГРЯЗНОЙ. Государь жа, он и без того доволен до смерти... (Вытаскивает из-за пояса и вынимает из карманов нож, кинжал, пояс с золотыми пряжками, кошель.) На уж, это твое... И это, пожалуй, твое... А это — мое... И это мое... Идем за телеги...

Опять конский топот и окрики. Быстро входит Мстиславский, в кольчуге, в разодранном плаще, с непокрытой головой.

ИВАН. Отыскался!

МСТИСЛАВСКИЙ (рухает перед ним на колени). Принес тебе мою голову...

ИВАН. Мало! На что мне твоя голова!

МСТИСЛАВСКИЙ. А мне она и более того в тягость, государь.

ИВАН. Ты Москву из пепелища подними... Слезы русских людей, в плен гонимых, подтри... Посеченных воскреси...

МСТИСЛАВСКИЙ. Виновен...

ИВАН Ты навел хана на Москву?

МСТИСЛАВСКИЙ. Я.

ИВАН. Какими казнями тебя казнить? Какую муку придумать? Привязать тебя на дерево высоко, лицом к Москве горящей, чтоб ты глядел на дело совести твоей, покуда вороны глаза не выклюют...

МСТИСЛАВСКИЙ. Готов на эту муку государь...

ИВАН (берет его за волосы, откидывает его голову, впиваясь, глядит в глаза). Что ты есть за человек — кровь от крови моей?

МСТИСЛАВСКИЙ. Спрашивай, спрашивай...

Я увел сторожевые полки в Рязань...

Я снял сторожи по крымской дороге...

Оголил Дикую степь... Мустафа ссылался со мной... Хан обещал мне ярлык на великое княжение... Ум мутится от горя...

Жена, сыновья, внуки — на дворе московском — сгорели заживо. Мне гореть в огне вечном, в исподних ада...

Великий государь порадуй меня мучением плоти...

ИВАН (Малюте). Не уразумею — что делать с ним?

МАЛЮТА. Пошли его к войску. Пусть рубится на смерть... Татары его знают в лицо... Татарам будет страшен Мстиславский...

ИВАН (глазами ищет Касьяна. Тот подбегает с фонарем и садится). Пиши... «Я, Иванко Мстиславский, богу, святым церквам и всему православному христианству веры не соблюю... Государю своему и всей русской земле изменил. Я навел крымского хана Девлет Гирея... В чем даю крестоцеловальную запись на вечный позор роду своему...» (Малюте — на Мстиславского.) Попа к нему с крестом... (Отходит и облакачивается па обочину телеги, глядя на пожар.)

Малюта и Мстиславский присаживаются на корточки около Касьяна. Мстиславский слабым голосом повторяет Касьяну слова царя.

МСТИСЛАВСКИЙ. Я, князь Иван Мстиславский, даю сию крестоцеловальную запись...

ИВАН (глядя на пожар). Горит, горит Третий Рим... Сказано — четвертому не быть. Горит и не сгорает, костер нетленный и огонь неугасимый... Се — правда русская, родина человекам...

Пехотинец

Если когда-нибудь потом Иван Трофимович Савельев, благополучно возвратясь с войны, вздумает рассказать своему семейству — жене, и в особенности, своему отцу Трофиму Ильичу, старому солдату, — обо всем, что с ним произошло в этот день, то он обязательно спутается, потому что впечатления этого дня перемешаются с впечатлениями многих других дней, которые были до него и будут после. Пожалуй, если вспомнит Савельев об этом дне, то похлопает себя по левой стороне груди и скажет: «Вот медаль, аккурат в этот день ее дали мне».

А между тем этот день был, как и многие другие дни его военной жизни, примечателен целым рядом мелких и больших событий, которые произошли в течение двенадцати четырех часов и казались ему тогда очень важными, имеющими самое прямое отношение к тому, будет ли он и дальше Иваном Трофимовичем Савельевым или станет прахом на этой далекой от его дома земле. Я слышал от него этот рассказ ночью, как кончился этот день и берусь сейчас рассказать все, что с ним тогда произошло. Думаю, что переработать довольно точно, потому что его рассказ мне хорошо запомнился.

Это был седьмой или восьмой день наступления. В четвертом часу утра начало светать, и Савельев проснулся. Спал он эту ночь, завернувшись в плащ-палатку, на дне отбитого накануне поздно вечером немецкого окопа. Моросил дождь, но стенки окопа закрывали от ветра, и было, хотя и мокро, но не так холодно. Вечером не удалось продвинуться дальше, потому что вся лощина впереди сплошь покрывалась немецким огнем и их доте приказали закрепиться и ночевать тут в окопах.

— Пока соседние роты за ночь обойдут впереди лежащие холмы, — так сказал командир роты, старший лейтенант Савин.

И, сказать по правде, Савельев обрадовался, что они хоть эту ночь простоят на одном месте, а бой опять будет только с утра. Он не спал почти трое суток, все шел вперед вместе с другими, и весь последний день его сильно клонило ко сну.

Они разместились в окопах уже в темноте, часов в одиннадцать вечера, и старший лейтенант Савин разрешил бойцам спать по очереди: один боец спит, а другой дежурит. Савельев, по характеру человек терпеливый,

любил откладывать самое хорошее напоследок, и потому сговорился со своим товарищем Юдиным, чтобы тот спал первым. Два часа Савельев отдежурил в окопе, а Юдин спал рядом с ним. В половине второго он растолкал Юдина, тот поднялся, а Савельев, завернувшись в плащ-палатку, заснул. Так он и проспал, выходит, почти два с половиной часа и проснулся оттого, что стало светать.

— Светает что ли? — спросил он у Юдина, высовывая лицо из-под плащ-палатки не столько для того, чтобы проверить, действительно ли светает, сколько для того, чтобы узнать, не заснул ли на посту Юдин.

— Начинает, — сказал Юдин голосом, в котором чувствовался озноб от сильной прохлады. — А ты давай, спи пока.

Но спать не пришлось. По окопу прошел их взводный, старшина Егорычев, назначенный вчера вечером вместо убитого лейтенанта, и приказал подниматься.

— Отступили за ночь немцы, — сказал он. — Нагонять будем.

Хотя Савельев лежал почти совсем в воде, но все-таки он немножко пригрелся и вставать не хотелось.

Он несколько раз потянулся, все еще не вылезая из-под плащ-палатки, потом разом вскочил.

— Закурим, что ли? — предложил он Юдину.

— Закурим, — согласился тот, — если у тебя табак есть.

— Есть махорочка, — сказал Савельев и вдруг вспомнил, что ночью он так и лег спать, забыв пересыпать оставшуюся махорку в немецкую трофейную масленку, которую он нашел в окопе, и теперь, наверное, махорка, которая была завернута в кусок газеты, промокла. Он полез в карман и, правда, газета с махоркой представляла собой тугой мокрый комок.

— Эх, мать честная! — вырвалось у него. — И посушить не успеешь.

Все-таки, он достал круглую розовую масленку, развернул мокрую газету, соскреб две пепоти лежавшей там махорки и, положив в масленку, поставил ее открытой на землю, чтобы махорка хоть немного подсохла, а сам стал оправлять на себе обмундирование, сбившееся во время сна. Потом он осмотрел автомат, который, ложась спать, пристроил

через плечо под плащ-палаткой. Автомат остался сухой, и теперь с ним не было никакой возни. «Не то, что с махоркой,— подумал Савельев.— Хотя бы подсохла скорее, до смерти хочется курить».

Но подсохнуть махорка не успела. Пришел старший лейтенант Савин, который, как видно, с утра обходил все взводы, и собрав их взвод объяснил задачу дня: преследовать противника, который, находясь в полуколыце, за ночь отошел, наверное, километра на два, а то и на три, и надо его опять достичь. Лейтенант Савин, как заметил Савельев, обычно говорил про немцев «фрицы», но, когда он объяснял задачу дня, то неизменно выражался о них только, как о противнике.

— Противник,— говорил он.— должен быть застигнут в ближайший же час. Через пятнадцать минут мы будем выступать.

Хорошо было то, что в эту ночь все-таки подвезли кухню, которая в прошлые дни где-то застряла в грязи. Когда Савин ушел, взводный сказал, что подъехала кухня, и все обрадовались: очень хотелось поесть горячего.

Повар, наверное, вчера весь день варил,— во всяком случае всем досталось по целому котелку горячей каши с консервированным мясом. Савельев, несмотря на то, что проголодался за прошлый день, с трудом съел всю кашу, так много ее было. А когда поел, почувствовал тяжесть во всем теле, слабость в ногах и большое желание опять лечь поспать. В эти минуты ему казалось, что он не в состоянии пройти даже километра.

Но старшина Егорычев уже приказал им двинуться, и Савельев, встав с бруствера окопа, стал прилаживать поудобнее все, что на нем было. А было на нем, если считать автомат, да диск, да гранаты, да неприкосновенный запас в мешке, без малого пуд, а может, и пуд с малым; он это на весах не вешал, только каждый день на плечах перекидывал, и в зависимости от усталости ему казалось то меньше пуда, то больше.

Когда они выступили, солнце все не показывалось, а моросил дождь. Трава на луговине была мокрая, и под ней хлопала совсем раскисшая земля.

— Ишь, какое лето паскудное,— сказал Юдин Савельеву.

— Да,— согласился Савельев.— Наверное, осень будет хорошая. Бабье лето.

— До этого бабьего лета еще дожить надо,— сказал Юдин.

Когда дело доходило до боя, он был человеком смелым, но в остальное время склонным, по большей части, к горьким размышлениям.

— Ну, вот, закаркала ворона,— сказал

Савельев, не терпевший, когда при нем зря помнили о смерти. Он и сам помнил о ней, но молчал.

Они спокойно пересекли ту самую длинную луговину, через которую вчера никак нельзя было перейти и на которой вчера, под вечер, миной убили их лейтенанта, и потом Савельев втаскивал его тело в окоп. Сейчас было совсем тихо, никто по этой луговине не стрелял, и только частые маленькие воронки от мин, то и дело встречающиеся на дороге, размытые и наполненные дождевой водой, напоминали о том, что вчера здесь шел бой.

Минут через двадцать, пройдя луговину, они дошли до леса, у края которого была линия немецких окопов, оставленных этой ночью. В окопах валялось несколько банок от противогазов, а там, где стояли минометы, из которых, наверное, вчера и убили лейтенанта, лежало подложкины ящиков с минами.

— Все-таки бросают,— сказал Савельев.

— Да,— согласился Юдин.— А вот мертвых, бывает, оттаскивают. Или, может быть, мы вчера мало убили?

— Почему? — сказал Савельев.— Мы убили достаточно.— Тут он заметил, что окоп рядом был засыпан свежей землей, а из-под земли высовывалась нога в немецком ботинке с железными широкими шлямками на подошве.

Через лесок шли осторожно: ждали, не будет ли где засады. Но засады не оказалось.

— Высохла махорка? — спросил Юдин, когда они вышли на другую опушку леса и перед ними открылось широкое и длинное поле.

— Откуда высохла? — сказал Савельев.— Теперь до вечера не высохнет.

Им обоим до смерти хотелось курить, но они знали, что попросить не у кого, потому что, как это всегда водится при наступлении, на седьмой-восьмой день уже все тылы отставали, табачок у всех давно уже вышел, и если у Савельева осталось две щепоти, то только из-за особой его бережливости. Даже у старшего лейтенанта Савина нечего было курить: он шел неподалеку, посасывая пустой самодельный мундштучок.

Савельев видел, что впереди, в полуклометре, идет уже разведка. Немцы могли ее подстеречь, пропустить и сразу ударить минами по всей роте. Поэтому, выйдя на поле, по приказанию Савина, все разошлись подалее друг от друга, и теперь двигались молча, без разговоров, с промежутками шагов в двадцать. Савельев ждал, когда же ударит немецкий миномет, потому что был уверен,

что немцы так или иначе начнут по ним стрелять. Километра за два впереди виднелись холмы, и там непременно — Савельев нюхом чувствовал — должны сидеть немцы, потому что это удобная позиция.

В самом деле, когда разведка ушла еще на километр вперед, Савельев сначала увидел, а потом услышал, как там разорвалось сразу несколько мин. И тут же по холмам начала бить наша артиллерия. Савельев подумал, что до тех пор, пока нашей артиллерии не удастся поймать и разбить эти немецкие минометы или заставить их переменить место, минометы все время будут стрелять, и, наверное, сейчас перенесут огонь и будут пристреливаться сюда, прямо по их роте. Чтобы к этому моменту пройти как можно больше, Савельев невольно ускорил шаг, что сделали одновременно с ним и все остальные. Они теперь пошли вперед еще быстрее, почти побежали. И хотя ремни вещевого мешка больно резали его натруженные плечи и спину, под влиянием начавшегося боевого возбуждения он забыл об этом, и ему казалось, что идти стало легче.

Так они шли еще минуты три или четыре, потом сзади них, близко, разорвалась первая мина и кто-то справа от Савельева, шагах в сорока, крикнул, что ранен и сел на землю. Савельев обернулся и увидел, что Юдин, который был в одно и то же время бойцом и санитаром, сначала остановился, а потом побежал к раненому. Следующие несколько мин сделали большой недолет, потом сразу несколько мин ударились совсем близко. Савельев лег, и все легли. Но когда вскочили, побежали дальше и Савельев оглянувшись назад, он увидел, что все целы. Так они несколько раз ложились, поднимались, перебежали, а рядом с ними взрывались мины, никого не ранив. Но после того, как они вскочили в седьмой или восьмой раз, Савельев увидел что двое остались лежать, потом один приподнялся и опять упал. «Тяжело раненый», — подумал Савельев и опять побежал дальше, вперед.

Так они прошли километр до маленьких пригорков, за которыми притаилась разведка. Там все были живы. Рота тоже расположилась за этими пригорочками, а Савельеву и его соседям и вовсе повезло: там, где они залегли, оказались наполовину залитые водой не окопы, но что-то вроде этого. Наверное их тут начали рыть, потом бросили. Савельев залег в этот начатый окоп, отстегнув лопатку, подрыл немного земли и насыпал ее перед собой.

Наша артиллерия все еще сильно билась по холмам, но минометы вдруг перестали стре-

лять. Савельев и его соседи лежали, ожидая, что сейчас Савин прикажет двигаться дальше. От этих пригорочков, за которыми они залегли, до холмов, где были немцы, теперь оставалось метров пятьсот, может быть, шестьсот, но совсем открытому месту. Минут через пять после того, как они здесь залегли, их догнал Юдин.

— Кого ранило? — спросил Савельев.

— Не знаю его фамилии, — сказал Юдин. — Этого молоденького, который вчера с пополнением пришел.

— Сильно ранило?

— Да не так, чтобы очень, а из строя выбыл.

— Вот интересно, — сказал Савельев, — как часто новичкам не везет. Только прибыл, и уже ранило. А мы с тобой воюем, воюем, и все целы.

— Еще успеем, — упрямо сказал Юдин.

— А ну тебя к чорту! — как обычно рассердился Савельев на эти слова. — Опять каргаешь.

Юдин помолчал, потом сказал просителью:

— Слушай, Савельев...

— Ну?

— А ты попробуй махорочку: может, хоть и сырая, а свернуть можно?

Савельев вынул немецкую масленку, отвинтил крышку и потрогал махорку: она была совсем сырая. Все-таки он, достав из сапога кусок сухой газеты и все еще сердясь на себя за то, что по собственной небрежности вымочил махорку, стал свертывать цыгарку. Потом вынул кремешек и трут, который он, как и все, в шутку называл «катушей», высек пещуру и потробовал прикурить цыгарку от фитиля. Газета загорелась, а сырая махорка не тянулась.

— Не тянется, — сказал он Юдину и, свернув газету, аккуратно высыпал махорку обратно в масленку.

В это время над их головами с грохотом прошли снаряды, и сразу холмы, на которых были немцы, заволочились сплошным дымом. Видимо, этой минуты и выжидал предупрежденный начальством Савин. Во всяком случае, как только прогремел оружейный залп, он передал по цепи приказание подниматься и идти вперед. Савельев, с некоторым сожалением поглядев на мокрый, но все-таки уютный окоп, сдернул с шеи ремень автомата и, поудобнее взяв его подмышку, разогнулся и двинулся вперед.

Три или четыре минуты Савельев, как и другие, бежал вперед, не слыша от немцев ни одного выстрела. Когда же осталось 10 холмиков, где были немцы, всего рубкой подать — метров двести, а то и меньше, — от-

туда сразу ударили пулеметы, сначала один слева, а потом два прямо. Савельев с размаху бросился на землю и только здесь почувствовал, что он совсем задохнулся от тяжелого бега и сердце его колотится так, словно ударяется прямо о землю. Вот-то сзади (кто — Савельев в горячке не разобрал), не успевший лечь, закричал на своем голосом и, перевернувшись, раскинув руки, трохнулся на землю. «Ударило, — подумал Савельев, — совсем, наверное. Сильно ударило».

Немецкие пулеметы продолжали строчить над самыми головами. Одна из очередей прошла по земле совсем рядом с Савельевым. Он услышал, как зашуршало.

Над головой Савельева просвистел сначала один, потом другой снаряд. Не поднимая головы с земли, касаясь щекой мокрой травы, он повернулся и увидел, что сзади, шагах в полтораста, стоят батальонные пушки и прямо, с открытого поля, стреляют по немцам. Просвистел еще один снаряд. Пулемет, который стрелял слева, замолчал. И в тот же момент Савельев увидел, как Егорычев, который лежал человека через четыре от чего налево, не поднимаясь, взмахнул рукой, показал ею вперед и пополз по-пластунски. Савельев тоже пополз. Ползти было тяжело, место было низкое и мокрое. Когда он цеплялся пальцами за траву, она резала, как осока.

Он полз так шагов пятьдесят, а пушки сзади все стреляли через его голову. И хотя впереди немецкие пулеметы не умолкали, но от этих, своих пушечных выстрелов ему казалось, что ползти не то что легче, но как-то все-таки спокойнее.

Теперь до немцев было совсем близко. Пулеметные очереди так и пробивали траву, то сзади, то где-то сбоку. Савельев прополз еще шагов десять и, наверное, так же, как и другие, почувствовал, что вот сейчас, сию минуту и позже, не миновать вскакивать и бежать в рост оставшиеся сто метров. И тут уж, пока до немецкого окопа не добежал, ничем не защитишься. Какая судьба выпадет!

Пушки сзади выстрелили еще несколько раз порознь, потом ударили все сразу. Впереди взметнулась полетевшая с бруствера окопов земля, и в ту же секунду Савельев услышал свисток Савина. Скинув с плеч вещевой мешок, он подумал, что коли они возьмут окопы, так он за ним и потом придет, а так все-так легче. Вскочил и на бегу дал одну очередь из автомата, потом другую, споткнулся о незаметную кочку, вскочил снова побежал. И уже в эту минуту у него не было никакого страха перед тем, чтобы двигаться вперед, а только одно желание поскорее добежать до немецкого окопа и

спрыгнуть в него. Он не думал о том, будет там немец или нет и как немец его встретит. Он знал, что если спрыгнет в окоп, то уже самое страшное позади, хотя бы там сидело сколько хочешь немцев. А самое страшное было вот эти оставшиеся метры, когда нужно было бежать открытой грудью и уже нечем было защититься.

Когда он споткнулся, упал и снова поднялся, товарищи слева и справа уже обогнали его. Поэтому, вскочив в окоп и нырнув вниз, он увидел уже лежавшего там ничком убитого немца и впереди себя только потную выптешную спину гимнастерки. Он побежал за красноармейцем, потом свернул по окопу налево и смаху набежал на немца, который выскочил навстречу ему. Они столкнулись в узком окопе, и Савельев, державший перед собой автомат, не выстрелил, а от неожиданности сильно ткнул автоматом в грудь немцу: тот упал. Савельев, не удержавшись, тоже упал на одно колено. Поднялся он с трудом, опираясь о скользкую мокрую стенку окопа. В это время навстречу ему выскочил Егорычев, который, должно быть, гнался за этим немцем. У Егорычева было бледное лицо и злые сверкающие глаза. Если бы немец был на ногах, Егорычев, возможно, его убил бы.

— Что, убитый? — спросил он, столкнувшись с Савельевым, и кивнул на лежавшего немца.

По немцу, словно опровергая слова Егорычева, что-то заговорил по-пемецки и стал подниматься со дна окопа, что ему никак не удавалось, потому что окоп был скользкий, а карабкался он с поднятыми руками.

— Да вставай уж, — сказал Савельев. — Вставай ты, — и тихонько тынул немца ногой. — Хенди нхт, — сказал он немцу, желая объяснить ему, что он может опустить руки.

Но немец понял или нет, а руки опустить боялся и все пытался встать без помощи рук. Тогда Егорычев со своей обычной неестественной силой поднял немца с земли за шиворот одной рукой и поставил его в окопе между собой и Савельевым. При виде того, как немец смешно карабкался по окопу с поднятыми руками, у Егорычева прошел первый гнев, и Савельев по лицу Егорычева, который вообще был суров и не отличался обычным русским добросердечием, понял, что этого немца он не тронет.

— Отведи его к Савину, — сказал Егорычев, — а я пойду, — и скрылся за поворотом окопа.

С трудом разминувшись с немцем в окопе и подталкивая его, Савельев пошел искать Савина. Они, прошли один окоп, где лежал,

раскинувшись, тот мертвый немец, которого, вскочив в окоп, в первую же секунду увидел Савельев, потом повернули в ход сообщения и увидели результаты действия «катюш». Все, и в самом ходе сообщения и по краям его, было как бы засыпано серым пеплом, поодаль друг от друга лежали в траншею и наверху трупы немцев. Один лежал, свесив в траншею голову и руки. «Наверное хотел и не успел спрыгнуть», — подумал Савельев. Когда пленный немец проходил это место и головой задел мертвеца, он отшатнулся и съездился.

Савина нашел Савельев в полуразбитой немецкой землянке, вырытой тут же рядом с окопами. Как и все здесь, она была сделана наспех: должно быть, немцы вырыли все это только за вчерашний день. Во всяком случае это ничем не напоминало прежние, прочные, немецкие блиндажи и аккуратные окопы, которые Савельев видел в первый день наступления, когда прорвали главную немецкую линию. «Не успевают теперь делать», — с удовольствием подумал он. — спешат», — и, повернувшись к Савину, сказал:

— Товарищ старший лейтенант, Егорычев приказал пленного доставить.

— Хорошо, слайте, — сказал Савин.

Савельев увидел, что в проходе землянки стоят еще трое пленных немцев, которых уже охраняет один незнакомый автоматчик.

— Вот тебе еще одного фрица, браток, — сказал Савельев.

— Сержант, — обратился Савин к автоматчику. — Когда все соберутся к вам, возьмете с собой еще одного, легко раненного и поведете в батальон.

Тут Савельев увидел, что у автоматчика была перевязана левая рука и автомат он держал одной правой рукой подмышкой, но так ловко приспособившись, что как видно, мог стрелять и одной рукой.

— Разрешите идти? — спросил Савельев у Савина.

— А чего же вы стоите? — вдруг сердито отозвался тот. — Думаете, военные действия кончились? Занимайте оборону, еще может быть контратака.

Савельев пошел обратно по окопам и через минуту уже нашел Егорычева и еще нескольких своих. В окопах все уже приходило в порядок, и бойцы делали себе «козырьки» — места для удобной стрельбы уже в ту немецкую сторону.

— А где Юдин, товарищ старшина? — спросил Савельев, беспокоясь за друга.

— Он назад пошел, — там раненых перевязывает.

И в десятый раз за эти дни Савельев подумал, какая тяжелая должность у Юдина: он делает все то же, что и Савельев, да еще ходит, вытаскивает раненых и перевязывает их. «Может, он с усталости такой ворчливый, — подумал Савельев про Юдина, — все-таки замучивает война человека».

Егорычев указал ему место, и он, вытащив лопаточку, стал расширять себе ячейку, чтобы все приспособить поудобнее, на всякий случай.

— Их тут немного и было-то, — сказал Егорычев, занимавшийся рядом с Савельевым установкой пулемета. — Их как «катюшей» накрыло, видал?

— Видал, — сказал Савельев.

— Их, как «катюшей» накрыло, так мало их совсем осталось. Прямо-таки замечательно-удивительно накрыло их, — повторил Егорычев.

Савельев уже заметил, что у него была такая привычка говорить «замечательно-удивительно» скороговоркой, в одно слово, но говорил он это изредка, когда что-то доставляло ему особое удовольствие.

Савельев набрасывал лопаткой земляной бруствер, а сам все время думал, как хорошо было бы закурить. Но Юдин все не возвращался, а ему, без Юдина, совестно было закурить. Однако, едва он успел сделать себе «козырек», как вернулся и Юдин.

— Закурим, Юдин? — предложил Савельев.

— А высохла?

— Должна высохнуть, — сказал Савельев и стал отвинчивать крышку масленки.

— Товарищ старшина, закурить желаете? — обратился он к Егорычеву.

— А что, махорка есть?

— Есть, только сыроватая.

— Давай, — согласился Егорычев.

Савельев, взяв две маленьких щепотки, насыпал по одной Егорычеву и Юдину, которые уже приготовили согнутые бумажки. Потом он взял третью щепотку себе и стал свертывать цыгарку. В эту секунду раздался вой снаряда и взрыв около самого окопа. Над их головой метнулась земля, и они, все трое, сразу присели на корточки, в окопе.

— Скажи, пожалуйста, — удивился Егорычев. — Махорку-то не просыпали.

— Нет, не просыпали, — сказал Юдин.

Присев в окопе, они стали свертывать цыгарки, а Савельев, с огорчением посмотрев на свои руки, увидел, что весь табак, какой был у него на бумажке, просыпался на землю. Он посмотрел вниз: там стояла вода, и махорка совсем пропала. Тогда, открыв масленку, он с сожалением насыпал себе еще щепотку: он думал, что осталось еще на два

раза закурить, а теперь вот останется только на один.

Едва они успели закурить, как над головами опять засвистели снаряды, на этот раз более далекие,—то ли перелет, то ли били не по ним.

— Все-таки сыроватая,— сказал Егорычев, пуская дым.— Тянется слабо.

Савельев развел руками. Этот жест означал: да уж такая есть, и на том спасибо.

Следующая серия снарядов легла опять над их окопом, и опять над их головами пронеслась земля, и комья упали вокруг них прямо в воду, и вода обрызгала их.

— Наверное, заранее пристрелялись,— сказал Егорычев.— Рассчитывали, что не устоят тут.

— Теперь будут нам баню давать. Как вмажут,— сказал Юдин.

— Опять жаркаешь,— сказал Савельев.

В этот момент новый снаряд разорвался в самом ходе сообщения, только за поворотом, так что их никого не тронуло, но бросило на дно окопа, в воду. Они поднялись, и Савельев, выглянув за бруствер окопа, посмотрел в немецкую сторону: там не было никакого движения.

— Ничего?— спросил Егорычев, когда после нового свиста снаряда Савельев опустил ся на дно окопа.

— Ничего.

Егорычев вынул из кармана брुक часы, посмотрел на них и молча положил в карман.

— Который теперь час, товарищ старшина?— спросил Савельев.

— А ну, который?— в свою очередь спросил Егорычев.

Савельев посмотрел на небо, но по небу трудно было что-нибудь сказать: оно было совершенно серое, и попрежнему моросил дождь.

— Да, часов десять утра будет,— сказал он.

— А по-твоему, Юдин?— спросил Егорычев.

— Да уж полдень, небось,— сказал Юдин.

— Четыре часа скоро,— сказал Егорычев.

И хотя в такие дни, как этот, изобиловавшие опасностью и волнениями, Савельев всегда ошибался во времени, и вечер приходил всегда неожиданно, тем не менее, он лишний раз удивился тому, как быстро летит время.

— Неужто четыре часа?— спросил он.

— Вот тебе и «неужто»,— сказал Егорычев,— с минутами.

Немецкая артиллерия стреляла еще довольно долго, но неудачно. В самых окопах, только налево, поодаль, разорвался один сна-

ряд, и оттуда сразу же позвали Юдина. Юдин пробыл там минут десять, в течение которых не стреляли. Потом просвистел снаряд, и там же, где десять минут назад, раздался еще один взрыв. Потом была тишина, немцы больше не стреляли.

Еще через десять минут к Савельеву подошел Юдин. Лицо его было совершенно бледное: ни кровинки.

— Что ты, Юдин?— удивился Савельев.

— Ничего,— сказал Юдин.— Ранили меня.

Совсем повернувшись, Савельев увидел, что рукав гимнастерки у Юдина разрезан во всю длину, рука перебинтована и заправлена за пояс. Он знал, что за пояс заправляют раненую руку, когда нужно, чтобы она не болталась.

— Перебита?— спросил он Юдина.

— Перебита, должно быть,— сказал Юдин. Там Воробьева ранило, я его перевязывал, и аккуратно ударило. Воробьева убило, а меня — вст видишь?— Потом он присел рядом с Савельевым и сказал:— Савельев, дай табачку на дорожку.

Савельев открыл свою масленку и сначала хотел разделить щепотку, которая там оставалась, на две, а потом устыдился этой мысли, свернул из всего табака большую пыгарку и протянул Юдину. Тот левой, здоровой, рукой взял пыгарку и попросил дать огня.

Немцы совсем не стреляли. Стояла тишина.

— Ну, пока не стреляют, я пойду,— сказал Юдин.— Бывай здоров,— и, зажав пыгарку в уголке рта, он протянул Савельеву здоровую руку.

— Ты это...— сказал Савельев и замолчал, потому что подумал, что вдруг Юдину отрежут руку.

— Что «это»?

— Ты поправляйся, приходи обратно.

— Да нет,— сказал Юдин.— Коли поправляюсь, все одно, в другую часть попаду, наверное. У тебя адрес мой есть. Ты, если после войны будешь через наши Поньры проезжать, слезь, зайди. А так прощай. На войне едва ли свидимся.

Он пожал руку Савельеву. Тот не нашелся что сказать ему, и Юдин, неловко помогая себе одной рукой, вылез из окопа и, нечуждо сутулясь, медленно пошел по полю назад.

Савельев посмотрел ему вслед, и хотя он часто ругался с Юдиным, особенно из-за мрачного его характера, сейчас ему было очень жаль, что Юдин уходит. «Привык, наверное, я к нему», подумал Савельев, не понимая еще того, что не только привык сп к Юдину, а полюбил его. Если бы сейчас еще был табак, то Савельев бы закурил. Но та-

баку не было, и хотя ему есть не хотелось, он, чтобы провести время, решил пожевать сухарь. Только тут он вспомнил, что свой вещевой мешок бросил, не доходя до окопов. Он попросил разрешения у Егорычева, вылез из окопа и пошел туда, где, по его расчетам, лежал вещевой мешок. Впереди впиелась фигура еще недалеко ушедшего Юдина, но Савельев не окликнул его. Что он мог ему еще сказать? Минут через пять он нашел свой мешок, лежащим там, где он его бросил. Он взял мешок и пошел обратно.

Вдруг он увидел то, что наблюдатель, сидевший в окопе ниже его, заметил на несколько секунд позже. Впереди, левее от лежащего на горизонте, в километре, леска, шли немецкие танки, штук десять или двенадцать. Увидев танки, хотя они еще не стреляли, Савельев испытал истинно-чуждое желание скорее добежать до окопа и прыгнуть вниз. Но не успел он еще добежать, как танки начали стрелять, не по нему, конечно, по ему, как это часто бывает, казалось, что стреляют именно сюда. Запыхавшись, он прыгнул в окоп, где Егорычев уже командовал, чтобы приготовили гранаты.

Боец Андреев, долговязый бронейщик из их взвода, уже пристроился в окопе поближе свою «дегтяревку». Савельев отстегнул от пояса и положил перед собой на бруствер окопа большую противотанковую гранату, она была у него только одна, вторую он донес назад, повернувшись, кинул в немецкий танк, когда тот был еще метров за двести от него, и, конечно, она разорвалась совсем попусту, не сделав никакого вреда. Егорычев тогда видел и сильно ругал его за это, и самому ему было неловко, потому что вышло, что он как будто струсил. А он про себя знал, что на самом деле не струсил, а только погорячился. И сейчас, отстегивая от пояса гранату, он про себя решил, что если танк пойдет, то он бросит только тогда, когда танк будет совсем близко.

Танки шли не сюда, где сидела рота Савина и где ждал их Савельев, они шли куда-то левее и дальше. Только два танка, самые крайние, казались, шли именно сюда.

— Главное, сиди и жди, — сказал, проходя мимо, Савин, который, должно быть, обходил окопы и всем так говорил. — Сиди и жди и бросай вслед гранаты, если пойдет. Будешь сидеть, не возьмет.

Он прошел дальше, и Савельев слышал, как он говорил те же слова другому бойцу.

Танки стреляли непрерывно, на ходу. То пад головой, то слева свистели их снаряды. Савельев слегка приподнялся над окопом. Танки шли веером, один был совсем близко

слева, один шел прямо сюда. Савельев опять прыгнул в окоп. И хотя танк, который шел слева, был больше, это был «тигра», а тот, который шел сюда, был обыкновенный средний танк, но потому что он был ближе всех к нему, Савельеву показалось, что он самый большой. Он приподнял с бруствера гранату и прикинул ее на руке. Граната была тяжелая, и от этого ему было как-то хорошо, спокойнее. Когда он выглянул еще раз, танк был уже в пятидесяти шагах. Ему стало страшно, и он нырнул на дно окопа. В это время сбоку стал стрелять бронейщик Андреев. Это была самая страшная минута. А когда танк прогрохотал над ним, и он плашмя свалился в окоп, и на него сверху пахло чужим запахом, гарью, дымом, и сильно загремело, и посыпалась с краев окопа земля, в эти секунды Савельеву было менее страшно, и он только прижал к себе гранату, как будто боялся, что ее отнимут. Когда грохот прошел, танк перевалил через окоп, Савельев, не отдавая себе отчета в том, что он делает, вскочил, полтянулся на руках, лег животом на край окопа, выскочил совсем и бросил гранату вслед танку, под гусеницу. Он бросил со всей силой и, не удержавшись упал вперед, на землю. Потом, не глядя, зажмурясь, повернулся и мешком свалился в окоп. Лежа в окопе, он все еще слышал рев танка и подумал, что, наверное, в него не попал. Тогда его охватило любопытство, и хотя ему было очень страшно, но он приподнялся в окопе и посмотрел туда, где был танк. Танк, гремя, поворачивался на одной гусенице, а вторая, как распластанная железная дорожка волочилась за ним. Савельев понял, что он попал.

В этот момент над его головой просвистели один за другим два снаряда, и он опять прыгнул в окоп. Потом раздался сильный взрыв.

— Зажгли, — крикнул Андреев, который, поднявшись в окопе, поворачивал свою бронейку в ту сторону, где был танк. — Сожгли, — крикнул он еще раз.

Савельев, приподнявшись над окопом, увидел, что танк вспыхнул и весь загорелся.

Другие танки были далеко влево, — один горел, остальные шли, но в эту минуту Савельев не мог бы сказать, куда они шли, вперед или назад. Оттого, что он бросал гранату, и от взрыва танка и вообще от волнения у него все спуталось, ему было трудно ориентироваться.

— Ты ему гусеницу подбил, — сказал почему-то шепотом Андреев. — Он стал, а она ему как вмажет!

Савельев понял, что под «она» Андреев имел в виду противотанковую пушку.

— А у меня-то, смотри,— сказал огорченно Андреев,— ружье-то стояком стояло, он его и сломал.

Действительно, край ружья был обломан в том месте, где оно стояло в уровне с окопом.

— Не сохранил,— сказал Андреев так же огорченно.

Но Савельев его не слушал. Высупувшись совсем из окопа, он смотрел на горящий танк, и его охватывало чувство восторга оттого, что наполовину это сделал ведь он. И он не мог никак оторваться от этого зрелища.

Потом остальные танки ушли совсем куда-то влево, их перестало быть видно, а по окопам немцы стали сильно бить из минометов. Когда несколько мин разорвалось близко, Савельеву после всего пережитого стало страшно, что сейчас его, который только что бросил в танк гранату, вдруг убьет каким-то осколком мины, и он каждый раз, когда свистела мина, боязливо прижимался к стенке окопа.

Так продолжалось часа полтора и, наконец, прекратилось. По окопу прошел старший лейтенант Савин вместе с капитаном Матвеевым, командиром батальона.

— Вот он подбил танк,— сказал Савин Матвееву, остановившись около Савельева.

Савельев не говорил ему, что подбил танк, но Савин, как всегда обо всем в своей роте, уже знал и об этом.

— Ну, что же, представим,— сказал Матвеев.— Молодец,— и пожал руку Савельеву.— Как ты его подбил?

— Он как надо мной прошел, я выскочил и кинул ему гранату в гусеницу,— сказал Савельев.

— Молодец,— повторил Матвеев.

— Ему еще медаль за старое причитается,— сказал Савин.

— А я привез,— сказал Матвеев.— Я тебе четыре медали в роту принес. Ты пойдй скажи, чтобы бойцы пришли и командир взвода. Кто поближе стоит, чтобы пришел.

Савин ушел, а Матвеев, присев в окопе рядом с Савельевым, порылся в кармане своей гимнастерки, вынул несколько удостоверений с печатями, отобрал одно, а остальные, свернув аккуратно, положил в карман. Потом вынул из другого кармана коробочку и из нее медаль. К ним подошли Савин, Егорычев и два бойца из взвода.

— Ну, вот,— сказал Матвеев.— От имени Верховного совета и командования награждаю вас медалью «За отвагу».

Он дал Савельеву сначала удостоверение, которое тот положил в карман гимнастерки, а потом медаль. Савельев взял ее задрожавшими руками и чуть не уронил.

— Ну, вот,— сказал Матвеев, то ли не

зная, что еще сказать, то ли считая дальнейшие слова ненужными.— Поздравляю вас. Войдите,— и он пошел дальше по окопу.

— Слушай, Егорычев,— сказал Савельев.

— Ну?

— Привинти-ка.

Егорычев достал из кармана висевший там на цепочке шероховатый ножик, хозяйственно, не торопясь, открыл его, расстегнул ворот гимнастерки Савельева, проткнул ножом дыру в гимнастерке и привинтил медаль к мокрой, потной, забрызганной грязью гимнастерке Савельева.

— Жаль закурить нечего по этому случаю,— сказал Егорычев и почему-то улыбнулся.

— Ничего,— сказал Савельев и тоже улыбнулся.

Тогда Егорычев, сунув руку в задний карман брюк, вытащил оттуда жестяной портсигар, открыл его, и Савельев увидел, что там на дне было немного не то что табаку, а табачной пыли.

— Для такого раза,— сказал Егорычев.— На крайний случай берег.

Они свернули по цыгарке и закурили.

— Что же это, затихло?— сказал Савельев.

— Затихло,— согласился Егорычев.—

А ты давай сухарей пожуй. Нужно, чтобы все поели,— я приказание отдам. А то, может быть, как раз и пойдем.— и он отошел от Савельева.

Савельев вытащил из вещевого мешка сухарь и долго грыз его. Потом, заметив, что подметка на левом сапоге у него совсем оторвалась, он, порывшись в вещевом мешке, вытащил оттуда кусок бечевки и тщательно, раза четыре, перекрутил сапог. Потом попробовал подметку на правом, не отрывается ли. Покуда, она держалась.

Вперед слева где-то сильно стреляли, а тут было тихо,— то ли немцы что-нибудь готовили, то ли отошли, Савельев посидел минуту, потом, вспомнив слова Егорычева, что, может быть, и правда они тронутся, вытащил из мешка еще один сухарь и, хотя ему не хотелось есть, стал жевать.

На самом деле происходило то, чего не знали ни Савельев, ни Егорычев. Налезо, где шли танки, рота и батальон наносили только вспомогательные удары, а главный бой происходил там, куда пошли немецкие танки и где потом ходили и стреляли наши танки, которые отбили немецкие и вышли далеко вперед. Теперь немцы здесь не стреляли, потому что они отошли километра на три, за небольшую заболоченную реку. Сейчас в этот момент, когда Савельев сидел так в тишине и жевал сухарь, в полку уже бы-

ло дано приказание батальону через десять минут двигаться вперед и выходить к самой реке, с тем, чтобы ночью форсировать ее.

Прошло пятнадцать минут, и Савин поднял роту. Савельев, так же как и другие, уложил снова вещевой мешок, закинул его за плечи, вышел из окопа и пошел дальше. До леса дошли благополучно. Уже начинало темнеть. Когда пересекли рощицу и выходили на ее опушку, Савельев сначала увидел сгоревший немецкий танк, а шагах в ста наш, тоже сгоревший. Они прошли близко мимо этого танка, и Савельев увидел цифру «120». «Сто двадцать, сто двадцать», — подумал он. Эта цифра ему что-то напоминала. И вдруг он вспомнил, как позавчера, когда они, усталые, под вечер, в пятый раз поднялись и пошли вперед, они увидели стоявшие в укрытиях танки, и на одном из танков была цифра «120». Юдин, у которого был злой язык, на ходу сказал танкистам, высунувшимся из танка:

— Что же, пошли в атаку вместе?

Один из танкистов покачал головой и сказал:

— Нам не время сейчас.

— Вам всегда не время, — сказал Юдин — Ладно, вот в город будем входить, так вы туда въезжайте, как гордые танкисты, открыв люки, и пусть вам девушки цветы дарят. А мы в атаку уж без вас потопаем.

Он выругался тогда и пошел дальше. И Савельеву тоже тогда было обидно, что вот они идут под огнем, не щадя жизни, а танкисты чего-то ждут, сидя в укрытиях. Сейчас, проходя мимо сожженного танка, он с огорчением вспомнил об этом и подумал, что вот они, пешки тогда мимо танка с открытой грудью, до сих пор живые, а сидящие в броне танкисты, наверное, погибли в бсю. И в первый раз он подумал, что внутри этого железа сидеть наверное тоже нелегко. А Юдин наверное влет, если уже не дошел, в медсанбат с перебитой рукой, перехваченной поясом, чтобы не болталась. «Все-таки трудное это дело война, — подумал Савельев, — нельзя в ней людей обидным словом трогать. Сегодня обидишь, а завтра уже прощения попросить нельзя».

Уже в темноте они вышли на низкую луговину, которая переходила в болото. Теперь уже совсем близко текла река: она пабухла от дождей, и даже отсюда, за двести метров слышалось ее ворчанье.

Как сказал старший лейтенант Савин, нужно было к 24.00 сосредоточиться и потом форсировать реку. Савельев вместе с другими уже шел по самому болоту, стараясь тихо ступать, чтобы не шуметь. Но вода хлюпала под его ногами, и ему казалось, что это получается очень громко, что немцы непременно услышат. Они и в самом деле слышали. Савельев немного не дошел до берега реки, как над головой его провела первая мина и ударилась в грязь где-то далеко за ним. Потом завывала другая и ударилась ближе. Егорович приказал им залечь, они залегли, и Савельев стал лихорадочно копать мокрую, набухшую водой землю, чтобы сделать если не окопчик, то хоть небольшой козырек перед собой. А мины все хлюпали и хлюпали в болото где-то слева и справа и раза два кто-то коротко застонал, — наверное раненые.

Ночь была темная, было тяжело и трудно лежать в этом грязном болоте и ждать, потому что все, что нужно было для переправы, еще не подошло, а оставлять это место нельзя было раз уже занято. Савельев лежал молча, ему хотелось во что бы то ни стало поскорее переправиться через реку и дорваться до немцев. Пока же нужно было только ждать и ждать, и все тут. Под свист мин и хлюпанье воды ему приходили на память все события нынешнего дня. Он вспоминал то Юдина, который, может быть, все еще идет по дороге, то сгоревший танк, погибший экипаж которого когда-то они обидели, то распластавшуюся как змея гусеницу подбитого им немецкого танка, то, наконец, портсигар Егорычева, в котором на дне была табачная крошка и добрую улыбку, с какой протянул ему этот портсигар обычно сумрачный Егорычев. И оттого, что так много было всего трудного и страшного в этот день и так много было таких же дней до этого, ему вдруг показалось, что он непременно когда-нибудь дома расскажет про все это, потому что если он остался жив до сих пор, то, наверное, останется живым и дальше.

Парамон Самсонович

Недавно в одном из казачьих полков, воюющих на Южном фронте, мне довелось познакомиться со старым казаком Парамоном Самсоновичем Куркиным — человеком, встречи с которым я наверное долго не забуду. Вышло это так. В обычный, рядовой день зимнего наступления в полуразрушенной деревушке, где размещен штаб полка, среди развалин собрался казачий митинг представителей от всех эскадронов. На митинге было прочтено и потом подписано казаками письмо, с которым должен был поехать их посланец на родину, в освобожденные станицы. После митинга, поговорив с несколькими казаками и командирами о событиях этого дня, я уже собирался ехать дальше, когда командир полка сказал мне, как о чем-то само собой разумеющемся:

— Ну, с Парамоном Самсоновичем вы уже говорили?

— Еще не зная, о ком идет речь, я понял, что командир полка не представляет себе, что от них можно уехать, не поговорив с Парамоном Самсоновичем. Через несколько минут я увидел его самого. Это был невысокий кряжистый человек с густой рыжей, начинающей седеть бородой и острыми, ястребиными, глядящими из-под мохнатых бровей, глазами. И хотя сразу было видно, что ему уже немало лет, все же стариком его никак нельзя было назвать, — такая у него была молодцеватая осанка, крепость и какая-то особенная казачья лихость чувствовались во всей его фигуре.

— Командант штаба Парамон Самсонович Куркин, — отрекомендовался он.

Когда мы вошли в халупу, он скинул полшубок. Я увидел, что был Парамон Самсонович в звании старшего лейтенанта и на груди его были два ордена — один старый, с потертой эмалью, за гражданскую, другой за эту войну. Иногда на фронте встречаешь людей, которые так рассказывают о своей жизни или жизни своих однополчан, что стараешься только записать дословно то, что они говорят, и потом, отыскав свои записи, печатаешь их, ни слова не меняя в этом рассказе. К таким людям принадлежал и Парамон Самсонович, с его острым глазом, стариковской опытностью и особым умением веселого и хитрого рассказа, каким всегда отличался старый русский солдат.

Парамон Самсонович достал из кармана гимнастерки большую немецкую расческу и аккуратно причесал ею бороду.

— Эту расческу, — сказал он, — мне командир полка Орел подарил: «Вот, — говорит, — на тебе, Куркин, расческу. Никому больше эта расческа не причитается, как только Куркину, потому что ни у кого больше в полку бороды такой нет». Вот трофеем теперь расчесываю бороду свою. Трофеи — это нам дело привычное. Я еще в ту войну в Галиции этих трофеев довольно видел. Сам я из Нижне-Чирской, не из самой Чирской, а из хутора Луговского, — большой хутор, хороший. Только на карту почему-то не внесенный, не знаю. Мы уже давно на это обижаемся.

Я на действительную по 23-му году попал, в 902-м. Служил в Ростове. До армии сапожным ремеслом малость занимался, ну, а в армии вовсе сапожником стал. Другой профессии у меня тогда не было, человек безграмотный был. Да и кругом все тоже не шибко грамотные были. И то, иногда, вспомнишь — смех берет, что над нами писаря делали. Собираясь бывало человек пятнадцать, на сундучки сядем и просим: Иван Петрович, напиши письмо домой. Одному письмо, другому письмо. А он, суккин сын, что хочет, то и пишет: «Дорогие мамаша и папаша, конь мой осопател, чего и вам желаю». А я же из староверов, мне неудобно папаше и мамаше такое писать. Так что даже от общины стал грамоте учиться. Но тогда не одолел, много спустя одолел, уже в году тридцатом.

Сапожничал я много, даже со штатскими сапожниками связался, дружбу с ними держал. Переодетый пошел с ними на демонстрацию, а меня выловили. Больше тридцати суток просидел, как раз перед уходом из армии. Отсидел свое, построили нас, поздравил нас ссаул, и поехали мы к себе по домам в Чирскую. А в Чирской атаман опять всех построил и кричит:

— Кто здесь есть Куркин?

Говорю:

— Я есть Куркин.

— Выезжай вперед.

Выехал я на коне. Долго атаман шумел, меня корил, корил. Потом по домам поехали: начинается война. Всех казаков берут на войну, а меня не берут. Ну, что же? Я понимаю: наверное все за эту демонстрацию не хотят брать. Но я коня держал на всякий случай: думаю, еще возьмут. И в самом деле, — взяли. Всю германскую войну я на

австрийском фронте провоевал. Был у Брусилова, потом в Буковине, в Румынии.

Когда вернулся с войны, друзей в хуторе нашел — Козлова, Мурзина, Свиридова. Стали мы красных партизан собирать. И вот я, рядовой сабельного эскадрона 53-го казачьего полка, собрал Луговской отряд и командиром в нем заделался. И очень это белым обидно было, что именно я командиром, потому что у них командиры — есаулы, да войсковые старшины, а тут — простой казак, да еще сапожник. Так они меня все и чеховостили «Парамошкой-сапожником»: «Отряд Парамошки-сапожника». Но мы от этого хуже не воевали.

Сперва я на свой страх и риск воевал. Кругом белые, но от Луганска Климент Ефремович с армией подходил, это нам известно было. За Доном бои шли, а через Дон белыми был мост взорван. Но плохо взорванный, — один пролет на мелком месте. Решили мы всем отрядом не дать еще подорвать на глубоком, чтобы наши скорее восстановить могилы и к Царицыну пройти. Тут, в ноябре, и взял меня со всеми моими партизанами Климент Ефремович к себе в 10-ю армию. Пошли мы, как у казаков водится, со своими конями, оружием, и сделали из нас отряд особого назначения.

Так я и воевал в тех местах всю гражданскую. Я, между прочим, уже тогда с бородой был. Так мне сперва незнакомые часто не верили из-за этой бороды, что я красный казак, а не белый.

Я недавно, перед войной, все те места обошел, где мы воевали. Я у себя в Нижне-Чирской отделение музея сделал по обороне Царицына. Ну, вот, как экскурсия, так Куркину: «Веди, Куркин». Ну, и ведешь, верст сто сорок ведешь. Несколько раз я водил. Особенно с ребятами хорошо, весело с ними, вроде как сам обратно молодой. Вот фотография у меня есть: видишь, связался, чорт бородатый, с младенцами.

Да, много лет прошло с гражданской войны. Как эта началась, я трех сыновей, — всех, сколько было, — в армию проводил. Первый сын, Михаил, — сейчас комиссар батареи, второй, Тарас, — лейтенант, смоленское артиллерийское училище как раз перед войной кончил, 23 июня он написал, что жив-здоров, да так с тех пор больше ни слуху, ни духу нет. А третий сын, — самый сорви-голова, — после десятилетки пошел в школу летчиков. Где сейчас все они, где жена, — не знаю. Должны быть, по моему мнению, живы. Такая уж у нас порода — живыми быть. Они, конечно, молодежь, сыновья, меня за старика считали всегда, тем

более, что мне и действительно шестьдесят три стукнуло. Ну, а я с самого первого дня все-таки в кавалерийскую часть просился. Мне такая в голову мысль приходила. Война кончится, спросят меня: а скажи, Куркин, на войне-то ты был? Скажу: не был. Очень меня эта мысль мучила. А тут еще как раз из-под Тулы старые товарищи, Сухов и Харченко, письмо мне прислали: где, мол, ты, Куркин? Если дома сидишь, если тебя письмо дома застанет, то привет тебе передаем, до скорой встречи, потому что все равно не утерпишь, как и мы. А мы уже воюем.

Тут меня уж вовсе заело. Поехал я в Сталинград, в областной военный комиссариат. Там мне опять отказали: говорят: «Ты же, Куркин, 79-го года рождения». Постоял я, посмотрел на них и говорю: «Что стою, что 79-го года рождения? Я командиром был, а вы меня в простые казаки взять не хотите. На что это похоже? Ни на что не похоже». Они пресмирели, помолчали, потом говорят: «Поезжай, Куркин, к себе в Нижне-Чирскую. Если потребуется, мы тебя в первую голову в виду имеем».

Поехал я в Нижне-Чирскую, а под праздник вдруг приезжает лейтенант. «Приехал, — говорит, — за пополнением в казачью дивизию». Ну, тут я обрадовался. Собрал первым делом своих партизан, с которыми в гражданскую заворачивал, и дело загремело. Сидят все у меня за столом, — у меня хата просторная, — сидят и пьют. Тридцать человек собралось, записались. Ну, и молодые некоторые, которые еще не взяты в армию были. Дали нам колхозы денег, коней, тридцать верховых, шесть упряжных, — седла нам подарили, обмундирование справили, и 6 марта выехали мы через степь в Анненский район, — 400 километров пришлось нам по холоду скакать. За семь суток одолели. Хорошо ехали. Приехали в Анненский район. Ну, там у меня сразу с генералом Горшковым недоразумение произошло, с самого первоначалу. Он дивизию формировал и стал меня пытаться: «Так, мол, и так, уж не поздно ли тебе, Куркин, на войну идти?» А я говорю: «Мне, товарищ полковник (он тогда полковник еще был), пожалуйста, про это вы не говорите больше». А он мне опять: «Ты, говорит, и фронт — это у нас все едино». А я ему говорю: «Так-то так, да разница есть. Вы же, говорю, не в тылу сидите». И показываю ему еще письмо из Тулы полученное. Вот, говорю, письмо от товарищей получил. Они говорят: мы на фронте, как же это вы еще дома держитесь, товарищ Куркин, а?

Промолчал на это генерал. Ну, а потом стал испытывать, как я на коня сяду. А я на коня раньше молодого сяду. 100 верст не слезу, лишь бы конь был, конь.

Ехали мы по степи. Буран. Холодно. В общем хорошо, подходяще обратно к войне привыкать. Некоторые молодые были, так я их учил, как коня содержать в дороге. Люблю я коня. Поколесил я на разных конях за свою жизнь. Вот тот, что у избы стоит, это у меня третий за войну. Одного коня подо мной в Куцевке убили, второго переменял — не люблю мелкую лошадь. Я коня больше себя сохраняю. Тяжело иногда бывало, особенно, когда отступали через Лазаревский перевал. По ущельям лазали. Лястьями коней кормили целый месяц. И все, — и пушки и минометы, — наши кони тягали. Переживали наши лошадки. Уже когда под Моздоком потом были, так легче стало в смысле корма: день держим лошадок по оврагам, по бурунам, а ночью в степь под корм выпускаем, — хотя и под снегом, а все же находим.

Начали мы воевать под Батайском. Какую-то я молодость в себе почувствовал, как на коня сел и оружие взял. Казакom опять себя почувствовал. Меня хотя в прошлые времена лишали белые казачьего звания и земли казачьей, но я себя всегда казакom считал. А тут сел на коня — и чувствую: воюю, потому три сына на фронте, десять племянников, зять — целый взвод, ну, и я поехал. Доктора мне, правда, говорили, что я инвалид второй группы. Они мне, когда я с добровольцами приехал, много парализан забраквали: у того — отдышка, у того — сердце. Ну, а я от них скрыл, что у меня контузия еще с той войны — рука плохо двигается. А то бы уже и вовсе в инвалиды записали.

Так, значит, начинали мы под Куцевкой. Ровное там было место, и изморозь ранняя ударила. Мы в контратаки ходили. Трассирующие пули идут на тебя целной лавой, ну, и уж приходится ползти. И так ползешь, что аж грязь в голенища залезает: до того к земле прижмешься, думаешь, хоть бы голову спрятать. Лопаточки-то мы, конечно, на первых порах побросали, потому что гордость была: как же, казаки мы, на что нам лопаточки. Впоследствии привыкли к лопаткам, стали брать и даже очень уважать.

Бились мы под Цукаревой Балкой, под Степной, под Куцевкой, под Белореченской, под Линейной, в ущельях по дороге на Туапсе. Под Куцевкой много коней потеряли. В ущельях на высоте тысяч десяти многих людей потеряли. Никогда я не забуду этой

чортовой высоты. Начальник штаба у нас погиб Бучнев, потом Портянский — капитан и Мытарев. Не можем мы забыть таких командиров, каких потеряли на высоте 110, и особенно капитана Подчеркова, который застрелился, не пережив того, что в плен попал. А на другой день мы это место отбили...

У нас тогда командиром полка Орел был. Это фамилия его, но он и в самом деле был орел. Я не знаю такого, чего бы он не добился, если хотел. В усах ходил. В гражданскую войну мальчиком прибулдился к какой-то части, так в армии с детства и остался. Помню, под Куцевкой шел он впереди нас без фуражки, сбитой пулей: «Все равно, — говорит, — возьмем эту высоту». Так и взяли.

Я в том бою двух раненых лейтенантов из-под огня вынес. Один мне говорит: «Не поднимешь, дед, оставь». Я говорю: «Подниму». И донес.

В том бою, вначале, глядим мы с пригорка, видим: вроде танки. А у меня бипокль ворошиловский, дареный, был. Гляжу в него и вижу: действительно, танки спускаются на нас с горки. Ну, предупредили наших. Бой тут был. Погиб тут у меня старый знакомый — Ерохин. Самый старый в полку казак был. Он в моем отряде ехал. 67 лет ему было, но такой озорной старик — хоть куда. Когда танки отбили, против немцев в контратаку пошли, он тут и подзадержался немного, потом выскочил впереди всех на голое место, на камень. Сел задом к немцам, лицом к нашим и кричит охрипнувшим голосом: «Ну, чего вы легли? Скорей, поднимайся, на немцев иди». Тут его как раз и убили. Хороший был казак, разговором своим да прибаутками на всю Нижне-Чирскую известный.

Были и такие, что после этих боев в лазарет пошли. Анощенко, старый партизан, раненый был, Понадейкин, тоже партизан, Соломатин. Бого жалко, так это жалко Кукину. Молодая казачка, — восемнадцать лет всего. Со мной поехала. Убило ее пулей, когда раненых перевязывала в бою.

Но что бы с нами ни случалось, а знамя, которое было нам вручено при отъезде из Нижне-Чирской, хранилось у меня и шло с нами, потому что мы слово дали, что под этим знаменем пройдем и вернемся живыми. Но у нас было не только это знамя. Мне лично, Куркину, на хранение поручено было знамя Сталинградской области. Оно переходящее, говорят. Но я так сказал: раз оно в наш полк попало, ко мне в руки, то хоть оно и переходящее, а больше не перейдет. Это уже так будет. Точно.

Ничего казаки дрались. Хорошо дрались. По отступать приходилось. Тяжело мне было переживать это отступление. Беглецы иногда попадались. Глядеть на них было тяжело. А еще тяжелее было, когда едем через станицу, а казачки стоят и плачут. Они молоком нас кормят и варенцом и плачут, бедные. И до того тяжело на них глядеть — тяжелее, чем когда в голом поле за тобой тапки гонятся.

Тревожные были дни-то. Я в то время никак заснуть не мог. Меня уже за это ругали: «Поспи, Куркин». Но я не мог заснуть, так как чувствовал себя, как самый старый солдат, общим хранителем. Другой и поспать может, а мне нельзя — совесть не позволяет.

Тяжело нам было говорить «до свидания» Дону. Попадались и слабые душой людишки. И глядеть на них не хотелось. Зато сильный душой впереди шел и так воевал, как никогда в жизни не воевал. Среди такой смерти был, что, кажется, и живым не останется, а все же так остается живым.

Осенью нас с одного места на другое перекинули. Через перевал было идти тяжело. Уж очень за коней я страдал: нечего им кушать было. Шли мы через перевал, и один случай мне в память запал, не могу забыть. Едем мы через перевал на ишаках, грохот узкая, вдруг видим мы: обозом этим командует любимый наш казак Зайцев, лейтенант. Он у нас два месяца назад раненый был, и вот пропал. А теперь идет с обозом, идет нам навстречу. Встретил нас и заплакал, потому хочет он к нам обратно в полк, но нельзя. Засмолили его в этом обозе, а уйти из него сил нет, уйти — дезертиром будешь. Так встретились и разошлись. На душе тяжело даже было. Я за это болею, что хоть и гвардейская наша часть, а все же никак раненый казак обратно не попадает, редко ежели попадет. Что людей рапят, в этом печали нет, потому война. Но что не возвращаются они в свой казачий полк, — вот в чем печаль. Теряется наша дружба, наша братская любовь. Ведь, когда я знаю командира и он меня знает, его сила. А ведь до чего же радостно человека знакомого встретить, подумайте только. Какой восторг у него, что и за рану он немцам отквиптает, и у всех восторг, что его обратно увидели. И то разве один Зайцев? Печаль просто. То одного, то другого встретишь, — он в пехоте, а то и вовсе, глядишь, — в обозе. А ведь, бывало, нам часто таких присылали в пополнение, что и конского хвоста никогда не видали, не то, что коня. Проедет десять верст, холму набьет,

потрет коня, — и старается, да не может. А казак в пехоте скучает! Я так думаю: нужно людям маршрут давать, чтобы шел в свою часть. Ну, вот. Оторви меня, например, от коня, — я в пехоте и кушать не буду, до того тоска возьмет. А кавалеристом быть — это вещь не просто сел на коня и поехал. Надо уметь конем владеть, вот что я про это думаю.

Так, значит, я про перевал говорил. Перешли мы перевал и под Моздок попали. Там такое место унылое — буруны, снег да ветер. Только окоп выроешь, уже степных крысы полно, — бегают, проклятые. В общем хлебнули там горя, пока стояли. Хотя на горе соскзаться нельзя, потому что война: в ней без горя не обойдешься, много его известности надо.

Под Моздоком долго бои с переменным успехом были: то немцы нас, то мы их. Мне так в руки, между прочим, вот этот автомат достался. Раз я в соседнюю дивизию с пакетом ехал. А тут между нашей и соседней дивизией какал-то еще часть затесалась и задержала меня. Часа четыре продержали, все сомневались, что я за человек. Потом отпустили. А потом, ден через шесть, немцы нажали тут, ну, и эта часть, как говорят, слегка на поляный пошла. Задержал я там одного автоматчика (как раз из тех, что меня шесть ден назад задерживали). Говорю: «Куда идешь?» Он — «Куда надо иду». «А что это у тебя?» «Автомат», — говорит. Вот, говорю, не вдал, дай поглядеть. Ну, он и дал. Я ему: «Ну, а теперь с автоматом простись. Поскольку ты в тыл идешь, то тебе автомат не нужен, а мне с ним воевать надо». Так я и отнял у него автомат. Вот он. Отнял и сказал: «Вот ты меня разоружить хотел, а теперь я тебя разоружаю по поводу того, что ты в тыл драпаешь». Я там самоуправства учинять не стал: стрелять его или что. Я по команде сообщил, его к вечеру на место вернули, со стыдом. Всяко бывает. Иной раз люди малодушие покажут, — день на день не приходятся. Б этому я за первую войну вполне привык.

Но мне степь под Моздок не этим памятна: она мне тем памятна, что от Моздока и до сих пор мы шли с боями. Тяжелые бои были. Погиб у нас первый командир полка полковник Орел, погиб второй командир полка майор Кузнецов, потом танками мы были окружены, — против 50 танков полком бились. Все полковые пушки были раздавлены, и все же так отбились и дальше пошли. Мне командир полка, помню, говорит: «Иди ты, ради бога, Куркин, куда-нибудь, убьют тут тебя». А я ему говорю:

«А что же, моя жизнь дороже вашей? Я же вам не говорю, чтобы вы шли, спасались». Он замолчал, потому что, может, и против дисциплины я сказал, но по-стариковски. Он мне это простил, потому что прав я был.

О наших, что в последних боях погибли,—горько вспоминать. Ну, это уже так: хоть и грусть берет, а без этого нельзя, потому что умел отдавать свою землю, умей и обратно брать, хотя бы и живот свой клади за это,—ничего не сделаешь.

Так вот, из Моздока сюда без дневок, без привалов больше восьмисот верст отмахали. Но когда здоровье есть, да конь под тобой,—так я это люблю. Натура у меня жесткая. Нет тебе ни старухи, ни семейства. Еду я, никто мне не мешает, не напоминает. Не люблю я эту переписку, чтобы письма были и все прочее. По-моему так: сел на коня, живи и войи.

Сейчас меня вот уже два месяца комендантом штаба сделали, чтобы я, значит, в полку порядок наблюдал,—по-хозяйски, по-стариковски. Разные дела у меня сейчас, всех не перечтешь. Сегодня все утро на то потратил, чтобы из балки одну семью с детенками на подводе вывезти. Тут кругом немцы деревни пожгли. Так они, бедные, с передугу пять ден в балках сидели. Привез их. Не знаю, может, немца вообще и-терпимо в плен брать, но этих уж, что со значками, что добровольцы они, всех бы просто в Крутую балку загнал и пожег: нестерпимо мне на них глядеть.

А за порядком наблюдать — хлопот много, потому что не все у нас казачье воспитание получили, особенно если про коня говорить. И поговорка есть такая про казаков: каков на коне, таков и на гумне. И я по этой поговорке сужу. Я сильно люблю и жалею коня, я всегда,—может, кому и не правится,—даже ночью пойду, проверю, как конь содержится, и если я пойду по полку и вижу, что время есть, а кони нерасседланные стоят, то я этого не оставляю — душу за это выну. Конечно, и то надо сказать: вторая война на моих глазах проходит. Составляю я боевую обстановку с мирной и вижу, что переживания на войне не из легких. Подходишь к казаку, спрашиваешь: почему конь грязный, седло не почищено, оружие грязное, а сам видишь — устал он, бедный. Но спрашиваешь и тянуться заставляешь. И не только за коня,—за то, что сам казак немцытый, небритый, не по форме — тоже гоняю, потому что человек почти всегда помыться может. Хоть как-нибудь, а может.

Это редкий случай, если не в состоянии эн помыться.

Хожу я, слежу, не сплю. Ночью закрою глаза, подремлю полчаса, потом посты проверю. Как себя держать на посту, молодым казакам объясняю, с гибелью Чапаева пример привожу. Почему Чапаев, говорю, погиб? Потому что часовой заснул. А ведь полководец был,—как бы он сейчас воевал! А через то, что часовой — раззява попался, пот Чапаева среди советского войска.

Мне так командир сказал, когда комендантом штаба назначал: «Тебе, Куркин, почетная должность дана, и я с тебя спрошу, чтобы казак обмытый, чистый был и чтобы конь в порядке был». Ну, я и слежу. Я сам считаю: на войне главное — чтобы конь под крышей был и казак сытый, чтобы казак отдохнуть мог; чтобы ежели у коня шипов нет, некованный он, по дороге его не везти,—по тропке гнать, по мягкому. Чтобы все так было, как для войны сподручнее, для боя. Вот так и воюем, держим дисциплину.

Жизнь в последнее время,—да и по старости лет не стану врать,—конечно, нелегкая. Переход идешь — холодно, ведешь коня в поводу. Зайдешь в деревню — деревня сожжена. Присядешь на камешек, задремлешь, а он подгадет под тобой, спать не дает,—мокро станет, проснешься. С этим я сам осторожность соблюдаю и других учу, потому что в снег лечь — это не хитрость, а хитрость — со снега встать. Казак здоровым должен быть. Я так на это смотрю: если казак заболел, значит хранил себя плохо,—сам виноват, что из строя вышел. А если без причины настоящей из строя вышел, значит все равно, что дезертир.

Вот бьемся сейчас под высотой этой. Пожег все немец кругом, мучаемся; — погреться нигде. Коноводы с конями в степи замерзают. А какой из этого выход? Взять высоту, пройти дальше вперед, так, чтобы он деревни пожечь не успел. Вот и все. Другого выхода нет. Значит, садись ли на коня или в пешем строю, но иди войи, вперед. Так и все, так и Куркин. Только такую жизнь я и предвижу вперед.

Вы в Москве-то будете? Если будете, то просьба у меня к вам. Меня и Климент Ефремович и Щаденко, Ефим Афанасьевич знают, Куркин не на печи сидит,—воюет он. Вы,—я телефона не знаю, так узнайте уж—позвоните Щаденко Ефим Афанасьевичу, скажите, что Куркин привет ему передает, воюет, бороду свою по Кубани, по Дону разматывает.

Южный фронт

Душа корабля

Рассказ

Да будет слава живому,
который не умирает!

(Синдбад-мореход)

Однажды осенью прошлого года — хороши эти свежие солнечно-ясные месяцы на Черном море! — у моего приятеля, старого боцмана Прохора Матвеевича Васюкова, выдался праздничный денек. Проснувшись утром, пошли мы с ним вместе на рынок за помидорами, повернули на чистенькую, залитую солнцем набережную, — и вдруг мой Прохор Матвеевич застыл, очарованный, словно перед ним неожиданно возникло какое-то пленительное видение. Я посмотрел в ту же сторону и сразу все понял: в бухте стоял на рейде его корабль, тот самый, на котором прослужил он столько лет... Корабль стоял, как вшитый в темное море стекло недвижной воды; в прозрачном утреннем воздухе был четко виден круто выгнутый нос, легкий и стройный спардек, мачты, трубы, пушки — старый корабль, сохранивший в неприкосновенности всю благородную стройность и чистоту своих линий, седой рыцарь моря, слова вышедший навстречу боям...

Лицо Прохора Матвеевича преобразилось, глаза засияли таким молодым сиянием, что странно было видеть над ними густую седину в волосах.

— Он? — спросил я.

— Он самый! — подтвердил Прохор Матвеевич. — Я его из тысячи других признаю!..

Помолчав, он добавил дрогнувшим голосом:

— Жив, значит, старик, слава тебе, господи! Сколько времени, бедняга, в ремонте стоял: четыре бомбы он получил да торпеду — шутка сказать! На боку, вроде камбалы, на базу пришел — крен был у него на правый борт градусов двадцать пять. А теперь и не подумашь. Как будто его только вчера со ступеней спустили... Пет, брат, его, старика, не потопишь, не на такого наварались! Он еще постреляет, повоюет, ему еще гвардейское звание дадут — вот помани мое слово!..

На рынок пришлось мне идти одному — Прохор Матвеевич вернулся домой. А когда через час я принес помидоры, то застал старика погруженным с головой в разного рода хозяйственные хлопоты. Он утюжил брюки,

чистил свой старый выгоревший китель, поставил из нашатырного спирта, зубного порошка и прочих не ведомых мне снадобий бакую-то смесь и надраил пуговицы так, что они засверкали. Потом занялся он фуражкой, чистил ее и глазил утюгом, не позабыв надраить маленькую пуговицу, придерживающую ремешок. Наконец, надев свои две медали, он подошел к зеркалу и остался, повидавшему, доволен своим видом, особенно кителем, который хранил на рукаве отчетливые следы четырех узких мичманских нашивков, напоминающая всем непосвященным, что владелец его в свое время кое-что значил на Черноморском славном флоте!

Вы, может быть, улыбнетесь и подумаете, что мичман — не столь уж высокое звание, чтобы так им гордиться? Но мичман мичману рознь: на Черном море и на Балтике я встречал мичманов, которые помнили «Потемкина» и Порт-Артур; командиры высоких званий, как я заметил, первые козыряли таким мичманам, вернее, их морским почтенным сединам.

Прохор Матвеевич Васюков был из числа именно таких мичманов. В полном параде, медлительно и торжественно последовал он по тесному переулку, спустился к порту, — и больше я не видел его до самого вечера.

Он вернулся с корабля совершенно счастливым. Я даже не мог раньше предположить, что человеку в столь почтенные годы все еще доступна такая чисто юношеская переполненность счастьем. Ну, если бы это был, положим, какой-нибудь Ромео, только что повидавший свою Джульетту, — я понял бы его восторженную взволнованность. Но перед собой я видел шестидесятирехлетнего старика, вернувшегося не от Джульетты, а всего-навсего со своего старого корабля...

«Всего-навсего», — написал я, и сейчас же должен взять эти слова обратно — теперь я знаю, что для истинного моряка его корабль, пожалуй в иных случаях больше, чем для юноши его возлюбленная. Разве истинный моряк поколеблется умереть за свой корабль, за его честь и флаг? Умереть во имя

своей любви — это, конечно, возвышенно и благородно, но я вот знаю случай, когда один моряк сделал больше: он не умер, он совершил во имя своего родного корабля подлинное чудо, победив смерть в открытой схватке с нею! Впрочем, не буду забегать вперед, вернемся к Прохору Матвеевичу.

Он улегся, но уснуть не мог и до утра рассказывал мне подробности своего визита на корабль: очастливые люди почти все без исключения болтливы и хвастливы — это давно известно. О, конечно, его приняли на корабле со всем возможным почетом! Впрочем, добавил он, скромно кашлянув, иначе и быть не могло — не кто-нибудь пришел, а Прохор Матвеевич! О его прибытии немедленно доложили командиру корабля, и командир — капитан второго ранга — сам лично вышел навстречу гостю, поблагодарил за внимание, за память, повел в свою каюту. Немедленно был подан изысканнейший завтрак, трофейный французский коньяк и лучшее вино, потом командир вместе с гостем прошел по всем палубам, отсекам, трюмам, а вернувшись в каюту, спросил, все ли, с точки зрения Прохора Матвеевича, в порядке на корабле, не заметил ли гость своим опытным боцманским глазом каких-либо изъянов. Прохор Матвеевич на это ответил (представляю, как солидно и важно звучал его сильный бас!), что изъянов не заметил, а корабельное хозяйство содержится в образцовом порядке. За обедом разговор на эту тему возобновился, и тогда Прохор Матвеевич позволил себе сделать одно замечание: не слишком ли молод боцман? Тридцать лет — это еще не тот возраст, когда человеку можно доверять такую ответственную должность. Сказать по правде, старик просто ревновал корабль к новому боцману и не смог скрыть этого. Командир — капитан второго ранга — подумав, согласился, что боцман действительно молод для этой должности, но следует отметить его несомненные достоинства: он знающий, надежный, дисциплинированный человек; до сих пор он хорошо справляется с работой. Впрочем, добавил командир, капитан второго ранга, было бы неплохо, если бы Прохор Матвеевич побеседовал с корабельным боцманом, и если окажется, что тот по молодости лет еще не знает некоторых тонкостей, то помочь ему, посоветовать, разъяснить. Такая беседа состоялась после обеда и длилась два часа, в продолжение которых Прохор Матвеевич посвящал своего преемника в различные тайны и секреты сложного боцманского искусства. Это были незабываемые часы, тепло которых долго еще потом обогревало душу Прохора Матвеевича — на два часа он опять превратился в полноправного члена команды. Он

был как бы старшим боцманом, правой рукой командира во всем корабельном хозяйстве. А молодой боцман слушал почтительно, со вниманием и даже раза два записал что-то в свой блокнот, чем окончательно покорило сердце старика. Прохор Матвеевич доложил командиру после беседы, что боцман действительно парень надежный, знающий, ему вполне можно доверить корабль. А потом был ужин, командир предложил Прохору Матвеевичу даже переночевать на корабле, но старик, вполне оценив этот великолепный жест, все-таки не согласился: военный корабль есть военный корабль, а не какая-нибудь гостиница, хотя бы даже и для своих. Словом, старик мучил меня своим бормотаньем всю ночь; уже засыпая на рассвете, я сквозь сонный туман все еще слышал его сильный голос:

— А вот старшины Петряева до сих пор нет на корабле... Где-то он задержался, Петряев...

На следующий день мы с Прохором Матвеевичем в предвечерний час стояли у парапета набережной, глядя вслед уходящему кораблю. Как и вчера, был полный штиль, вода слепила, я смотрел в морскую даль сквозь ресницы. Я не смог уловить минуты, когда в струящемся зыбком мареве исчез, растаял корабль.

Я курил, укрывшись в тени kiosка, а Прохор Матвеевич все смотрел и смотрел в морскую даль, хотя и не мог уже ничего там увидеть. Он провожал корабль внутренним зрением, глазами своего сердца.

Мы возвращались в сумерках; они стремительно переходили в густую пахучую тьму южной ночи; только над морем па западе еще брезжил и реял слабый, таинственный свет — последний ли трепет угасшей зари или первый вздох рождающихся звезд?.. Ночной ветер легко прошелестел в деревьях, теплый, пряный, почти маслянистый от запахов. Мой спутник остановился и, глядя в темносиню глубину, сказал:

— На море ветер лучше. Здесь он больно мягкий, здесь он тебя гладит, а там, на палубе, освежение дает.

Мы прошли еще несколько шагов, он добавил:

— Живой, значит, корабль!... Покуда он живой, до тех пор и я живой. А если уже не приведи бог, что случится — значит, и моя душа пойдет на дно вместе с ним.

Мыслями, душой он был там, на своем корабле. Вспомнил старшину Петряева:

— Где задержался? Ждут его, должность ему сохраняют, а он, видишь ты, опаздывает.

— Из отпуска, что ли, ждут его? — спро-

сил я.— У него могут быть неприятности: время военное, опаздывать нельзя.

Прохор Матвеевич усмехнулся:

— Это смотря по тому, какой отпуск. Нет, неприятностей у него не будет, а орден ему, пожалуй, что и дадут.

И настрожился, почувствовал за этими словами интересное продолжение. И не ошибся. В тот же вечер Прохор Матвеевич поведал удивительную историю, которая могла произойти только на море. «Легенда?» — подумали, может быть, вы? В том-то и дело, что самая настоящая была!

На том самом корабле, которому и поныне принадлежит душа Прохора Матвеевича, служил старшина Петряев, артиллерист-наводчик носового орудия. Это, по свидетельству Прохора Матвеевича, был настоящий, природный моряк. Войну он встретил спокойно, сражался с достоинством, отвагой и честью. В одном бою, когда корабль подбил шесть вражеских самолетов, потопил подводную лодку, но и сам получил тяжелые повреждения (ранения, хочется мне сказать), старшина Петряев был выброшен за борт разрывом бомбы. Но корабль, имеющий живую душу, не захотел отдать смерти своего сына — в разгаре боя он принял старшину Петряева обратно на палубу и потом, сам изнемогая от рап, двигаясь к базе с креном на правый борт в двадцать пять градусов и со скоростью, не превышающей восьми узлов, доставил все-таки старшину на берег, в госпиталь, и спас ему жизнь.

Моряки умеют быть благодарными. Отныне Петряев был предан кораблю безраздельно. Между тем, под Севастополем разгорался бсп. Петряев отправился драться под Севастополь. На прощанье он сказал командиру:

— Товарищ командир, душа моя остается здесь, на корабле. У меня есть к вам морская флотская просьба — не отдавайте никому моего места у носового орудия. Как только он выздоровеет, мой корабль, я сейчас же вернусь.

— Хорошо! — ответил командир, которому понравились слова старшины. — Ваше место остается за вами. Можете быть спокойны.

Старшина поблагодарил своего командира и уехал. Под Севастополем он дрался ожесточенно, самоотверженно. Он был в числе тех моряков, которые прикрывали отход наших войск из Севастополя. Когда бой пререл уже на улицах, товарищи видели, как мина разорвала и бросила в воздух пулемет старшины, а сам он остался лежать на земле. Товарищи бросились на помощь к нему. Путь преградили два немецких танка, потом появились автоматчики; моряки, вовлеченные в бой, уже не смогли подойти к Петряеву.

Был ли он убит наповал или только ранен — неизвестно. Гибель Петряева была несомненной. Эта грустная весть дошла до кавказского берега, до корабля и его команды. Командир корабля нахмурился, промолчал. Но когда ему сказали, что следовало бы своевременно позаботиться о подыскании артиллериста, достойного занять место старшины у носового орудия, он кратко ответил:

— Успеем. Подождем пока.

А через полтора месяца с Крымских гор было доставлено командиру письмо — старшина Петряев докладывал, что ему удалось спастись. В горячке и суматохе боя он отполз незаметно в сторону, забился в какие-то развалины, нашел среди камней ход в подвал — заваленное бомбоубежище — и укрылся в нем от немецких солдат. В том же подвале скрывалась молодая женщина, одна из севастопольских героинь. Она перевязала раны Петряеву, потом целый месяц кормила, поила, лечила его и выходила. Где раздобывала она бинты, лекарства, пищу — трудно сказать. Сейчас ее имени не знает никто, но узнают все, когда мы вернемся в Севастополь.

Настала, наконец, последняя ночь; к исходу ее старшина Петряев был далеко за Севастополем. В горах разыскал он своих моряков и с первой же оказией послал на корабль письмо. В конце письма выражал он надежду, что ремонт корабля протекает успешно, и повторял свою просьбу сохранить за ним место у носового орудия. «Моя душа на моем корабле, — писал он. — Ради моего корабля я буду побеждать смерть и вернусь к вам, товарищ капитан второго ранга. Но я буду несчастный человек, если для меня не найдется места на моем корабле...»

Корабль тем временем поправился, выздоровел; пробойны были заделаны, работа перешла внутрь корпуса, в трюмы, кубрики, отсеки, в машинное отделение. Старик оказался крепче и жилистее, чем можно было предполагать, учитывая его возраст. Но все же до боевых походов оставались месяцы.

И опять с Крымских гор пришла скорбная весть о гибели Петряева. На этот раз даже сам командир смутился, заколебался. Донесение гласило, что старшина Петряев проник в разведывательными целями в Феодосийский порт, узнал о том, что накануне из Румынии прибыла наливная баржа с авиационным бензином, установил место ее швартовки, ночью вплавь подобрался к барже и заставил мишу замедленного действия, чтобы обеспечить себе возможность уйти от места швартовки. Взрыв действительно последовал только на

порту огромные разрушения, — по самого старшину Петряева немецкая охрана схватила значительно раньше, когда он одевался на берегу. Гул и грохот взрыва донесся к нему в гестаповский подвал. Теперь гестаповцам нетрудно было сообразить, зачем этот неизвестный русский с якорем, вытатуированным на груди, вздумал вдруг купаться ночью и в таком неподходящем месте. И они сообразили — на следующий день старшина Петряев вместе с другими приговоренными был расстрелян за полотном железной дороги в присутствии согнанных к месту казни феоосийцев. Среди этих невольных зрителей кровавого фашистского спектакля были переодетые моряки с гор, пришедшие в разведку вместе с Петряевым. Они видели все до конца. Донесение не оставляло надежды.

Заместитель командира корабля по политической части сказал, что надо послать хорошее, сердечное письмо родителям Петряева. Он предложил возбудить перед командованием ходатайство о посмертном награждении героя. Командир опять долго молчал, глядя куда-то в сторону, может быть, советуясь в эти минуты с душой своего корабля. Ответ его, как и в первый раз, был краток:

— Подождем пока...

Старый командир помнил, что Петряев в письме обещал ему победить смерть. А он привык верить своим морякам.

Кто может сказать, какие силы таят в себе человек, в сердце которого безмерна любовь и безмерна ненависть? Кто возьмется определить, во сколько раз увеличиваются в минуты смертельной опасности силы его духа, тела и разума и где проходит та грань, что отделяет возможное от невозможного? Напрягая всю свою волю, Петряев сумел сохранным в момент расстрела спокойствие и самообладание. Среди десятка винтовок он разглядел винтовку, направленную на него; он хронометрически рассчитал время и упал в яму мгновением раньше, опередив пулю. В яме лежал он неподвижно. Палачи решили, что он убит наповал и добавочную, страховочную пулю пустили по нему небрежно, не целясь. Пуля пролетела ему левое плечо — он не шелохнулся, только зубы стиснул так, что два верхних сломались. Ночью он выбрался из ямы и ушел к своим, в горы. Вскоре после официального донесения о его гибели пришло второе донесение с поправками к предыдущему. Командиру корабля передали письмо Петряева. «Третий раз ухожу я от смерти, — писал он. — Я должен вернуться на мой корабль, и я вернусь. Я надеюсь, ремонт подходит уже к концу, и надо потопляться. Мешает простреленное плечо, но

дело пошло на поправку — в ближайшее время думаю пробираться на Кавказ».

Вот что рассказал мне в тот памятный вечер Прохор Матвеевич, старый боцман. Дней через пять я убедился в достоверности его слов: проезжая по черноморскому берегу, я встретил в одном из портов корабль, и командир показал мне оба письма Петряева.

— По есть новые известия и очень тревожные, — добавил он. — Петряев добрался до Керченского ц. шлива, но там наскочил на немцев. Мы сопоставили некоторые наши донесения, показывая пленных, захваченных недавно на Таманском полуострове, и установили, что он отбивался до последнего патрона. Потом, пользуясь штормовой погодой, ушел в море, вплавь. И его нет до сих пор... Очень тревожное известие. В Керченском проливе наши суда не ходят.

Мне надо было ехать в Москву, и я не мог ждать окончательного выяснения судьбы Петряева. Перед отъездом я еще раз повидал Прохора Матвеевича, рассказал ему о сомнениях и тревогах капитана.

— Знаю! — прищурился он. — Я тебе этого не хотел говорить, чтобы ты чего глупого не подумал: вроде, мол, он погиб. А он придет, задержался вот только...

И я уехал — сначала в Москву, а потом в иные края — куда только не заносит литератора его беспокойная профессия! И вот, вернувшись совсем недавно опять в Москву, я увидел на своем столе письмо от Прохора Матвеевича. Чернила на конверте порыжели, выгорели от солнца — оно ожидало меня долго, это письмо, необычайно скупое на запятые и точки, зато с расточительной щедростью украшенное заглавными буквами. Между прочим, старик пишет (именуя меня почему-то на «вы», хотя в личных беседах я такого обращения от него никогда не слышал):

«...а еще Сообщаю вам о Старшине Петряеве он вернулся как я говорил и Служит на том корабле какой Вы Видели только получил повышение Два Ордена и нынче — Главстаршина И еще сообщаю что После Боя с немцами остался в Нагаге у Него один Патрон Последний и он с тем Патроном пробился к Берегу и лег за Валун в голове была думка. Живым не даваться а Патрон сбережти для себя. но только как он поднес Нагаг ко рту то увидел немецкого Оффцера который, офицер, пошел на него и у него Сердце закипело и он так Порешил что для Родины полезно этого гада Убить. а самому принять от немцев Мучение, как Русскому Матросу, а свою Родную Пулю на себя не тратить как она сделана не для своих, а для немцев. И он снял того Оффцера а сам бро-

спя пустой Наган и пошел в Море думать
лучше утону в родных Волнах. Немцы стреляли по нему с Берега но попасть не могли как на море бушевал шторм и нельзя целиться, И он был на Плаву пять часов и совсем из последних сил Выбился но только о своем Родном Корабле вспоминал и было Легче и Потом ему подвернулся Обломок он отдохнул и доплыл до другого Берега всего бо-

лее пятнадцать Миль а то и все двадцать. А потом он долго Пробирался к своим голодный и без Оружия, но его за то Наши люди поддерживали Моряки и Рыбаки и он пришел через две Недели как Вы уехали...»

Слышали ли вы когда-нибудь о чем-либо подобном? И где еще, кроме как на море, могут происходить такие невероятные истории? А впрочем, чему же удивляться!

М. ИСАКОВСКИЙ

Примите меня, вековые дубравы...

Примите меня, вековые дубравы,
Укройте от горького горя!..
Одно бы я горе сама одолела.
Да рядом шагает другое...

Росла я, жила на родимой стороне,
Где люди нужды не встречали,
Где в каждой деревне и в каждом
семействе

Наславу гостей угощали;
Где новые хаты, что бубен, звенели
И стружкой пахли сосновой,
Где осенью шумные свадьбы справляли
И пели «Бывайте здоровы»,—
«Бывайте здоровы, живите богато,
А мы уезжаем до дому...»

Все кончилось разом — пришла непогода
По нашему краю родному.
Враги налетели, поля зтоптали,
Село превратили в кладбище.
Колючий бурьян да густая крапива
Шумят на родном пепелище...

Примите ж меня, вековые дубравы,
Укройте от горького горя!..
Одно бы я горе сама одолела,
Да рядом шагает другое...

Я с милым своим на родимой стороне,
На тех берегах повстречалась,
Где в теплые ночи, в июньские ночи
Заря об зарю зажигалась;

Одна догорала, а рядом другая,
Другая заря занималась,
Одна перенелка во ржи замолкала,
Другая в лугах отделилась...

Все кончилось разом — немецкая пуля
Убила родного, убила..
А я ж отдала ему душу и сердце,
И как же его я любила!..
А мне не позволили даже проститься,
Побить у него на могиле,—
Схватили, втолкнули в вагон за решетку
И наглухо двери закрыли.
Штыком и прикладом забыть приказали
Родимую нашу краину,—
Все дальше и дальше увозят на запад—
На муку, на смерть, на чужбину.
И я не стерпела. В поруганном сердце
Вскипела вся воля и сила!
Стальная решетка меня не сдержала
И пуля меня не скосила...

Примите ж меня, вековые дубравы,
Укройте от лютой угрозы!..
Вы скажете — плачу?.. Нет, я
не заплачу,—

Я дома оставила слезы.
Я их схоронила под пеплом горячим,
Под старой сожженной ветлою,
Одну только жгучую ненависть к немцам.
Взяла я в дорогу с собою.
За все мне ответит, за все мне заплатит
Заплатит приходец незванный!..
Примите ж меня, вековые дубравы,
Примите меня, партизаны!

Емельян Пугачев

Историческое повествование

Глава двадцать вторая¹

**Гипохондриа. Словопрение.
Страшный суд. Павел Носов.
Блестящая победа.**

1

Секунд-майор Наумов зашел проведать капитаншу Крылову, сообщить ей свежие вести о несчастьи с полковником Чернышевым, да кстати и позавтракать: капитанша была изрядная мастерица стряпать. Но оказалось, что Крылова о судьбе Чернышева уже знала, и встретила Наумова с заплаканными глазами. Четырехлетний карапуз Ваня, с измазанной вареньем пухлой мордочкой, сшибал клюкой расставленные по полу бабки.

— Ну что, от благоверного никаких вестей нет?— приласкав мальчика, спросил Наумов капитаншу.

— А откуда же могут быть вести, батюшка? Разве что сорока на хвосте... Вот все ждали, все надеялись получить весточку с полковником Чернышевым, да, видишь, какая беда стряслась... Пропasti-то на него нет, на этого Пугача треклятого!

— Дядя Наум,— ввязался Ваня,— а он царь взаправду или нарочно, Пугач-то?

— Царь, царь... Только с другого боку.

— Х-х, с другого... А с какого? Вот с этого али вот с этого?— подбочениваясь то правой, то левой рукой, спросил озадаченный Ваня.

— Он вор,— сказал Наумов.

— А кого он украдывал?— оживился мальчонка и присгукнул клюкой по бабкам. Нянька, вырвав у Вани клюку, увела его. Вошел с вязанкой дров старый хромой слуга Крыловых, сбросил дрова к печке.

— Ну, каково живешь, Семеныч?— приветливо улыбаясь старику, спросил Наумов.— Не слыхал ли чего новенького?

— Новое хуже старото, ваше благородие,— виновато осклабился старик, припадая на хромую ногу.— День ото дня гаже. Простой народ не в довольстве находится, шумит народ.

— Чего ради он шумит-то?— полюбопытствовал Наумов и стал раскуривать трубку.

— Харч дорог, ваше благородие. День ото дня дороже. Эвот до осады оржаная мука была по пятнадцать копеек пуд, а таперя по три рублика; самая лучшая крупчатка была тридцать копеек пуд, а таперя к шести рублям пудик подходит. Во как! А в злодейском лагере дороже четвертака за пуд крупчатку продавать не повелено... Сам Пугач быдто запретил.

— Откуда знаешь?

— А бабы, которые злодеем заарестованы были да выпущены,— они сказывали... восемь баб... А все купцы, ваше благородие, все купцы, дуй их горой, цену-то напладают!

— А ты, Семеныч, всерьез скажи, чего народ-то гуторит, особливо солдаты да казаки?

— Всяко, ваше благородие, брякают. Иным часом и прикрикнешь на другого пьяного обормота: ах, ты, мол, такой-сякой,— видно, присягу позабыл? Ну, он язык-то и прикусит. Эвот недавно, как купчик Полуехтов пошел в разгул, всех вином потчивать стал в кабаке. Ну, солдатня и дорвалась до дармовщинки-то. Кричат пьяные: надо-де в царев лагерь итти, там вольготней, там вином хоть залейся, и харч добрый, кажинный божий день убоинку едят, а у нас-де что?

— Ах, мерзавцы!— нахмурился Наумов и стал сердито выколачивать трубку.— Кто там? Ты, Семеныч, не приметил?

— Нетути, ваше благородие... Я и сам-то изрядно ожосевши был.

Старик постоил, помялся, пробурчал: «Эхе-хе, жизнь!» и покултыхал вон.

— Да и то правду молвить, уж больно распустили солдатшек-то,— проговорила капитанша, накладывая в глубокую тарелку моченых слив с яблоками.

— Нимало не распустили,— возразил Наумов, и у него при виде вкусностей стала набегать слюна.— Да и не в одних солдатах дело. Строгости-то наши не туда клонятся. Промеж штрафных офицеров надо сыскивать смутьянов-то, вот где. Штрафных-то многа сюда насылают из столицы. Взять, к примеру, того же Андрея Горбатова, прапорщика,—

¹ Продолжение. См. «Октябрь» №№ 4—5, 6—7, 8—9 и 10 за 1943 г.

ой-ой паца какал!.. Его из капитанов разжаловали да турнули сюда. Генерал Валленштерн досматривать за ним приказал мне.

— А вот эти самые, как их.. полячки пленные...

— Конфедераты? Я бы их всех в мешок — да в воду. Я бы их... И напрасно господин губернатор компанию с ними водит.

Отведав моченых слив и настоенной на рябине водки, секунд-майор Наумов, ради служебного любопытства и соглядатайства, направился к прапорщику Горбатову.

Андрей Ильич Горбатов со своим знакомцем конфедератом Плохоцким снимал две небольших горницы в доме столара-краснодеревца, выплачивая хозяину по семьдесят пять копеек в месяц. Восемь месяцев тому назад, по приговору дисциплинарного военного суда, он был выслан из Петербурга на службу в Оренбург. Он держал себя независимо и обособленно, с офицерством не водился, пред начальством не заискивал. С солдатами всегда был хорош, у начальников же на плохом счету. «Сперив, надменен, к тому же лениствен», — говорили про него.

На приветствие вошедшего Наумова он ответил сухим кивком и не предложил сесть.

— Что вам угодно? — спросил он Наумова.

— Напрямки вас спрошу, по-военному, как офицер офицера, — неприязненным тоном произнес Наумов, хмурия густые брови, — пришел я проведать, чем вы занимаетесь, и вообще...

— Какое вам дело, чем я занимаюсь? — И кто вам дал право задавать мне подобные вопросы?

— Я сие вершу по праву начальника, вы мой подчиненный.

— В первый раз слышу. Я считал себя в подчинении у обер-коменданта Валленштерна.

— Вот бумага, приказ, — и Наумов бросил официальное предписание на стол, на котором лежала географическая карта. — Извольте прочесть и твердо помнить, что вы уже месяц тому назад прикомандированы к моему отряду.

— От подобной чести буду отказываться до тех пор, пока не получу о сем ордер из канцелярии, — и Горбатов, прочтя бумажку, небрежно положил ее вновь на стол.

— Извольте в канцелярию пожаловать за ордером сами.

— И не подумая.

— Прошу пререкания со мной в сторону отложить, — они опасны.

— Прошу принять в мысль, что грубый ваш тон по отношению ко мне тоже для вас

может стать опасным, — и темные, в упор устремленные на секунд-майора глаза Горбатова засверкали пневам.

Наумов смутился и, сдерживая голос, спросил, прихлоснув рукой географическую карту:

— Это что за карта, и откуда она взялась?

— Вам до этого нет никакого дела. Впрочем, это карта Польши... Речи Посполитой.

— Ах, Польши? Очень хорошо! Это карта ваша?

— Она принадлежит Плохоцкому...

— Ах, Плохоцкому? Чудесно!

— Смею спросить, вы ко мне явились как офицер или как полицейский чин?

Наумов, не вдруг поборов невольное внутреннее беспокойство, ответил:

— И то, и другое...

— Ах, так! Приятно слышать, — воскликнул Горбатов и, усмехнувшись, подал гостю стул. — В таком разе прошу присесть.

«Давно бы так, сукин ты сын», — не поняв злой насмешки столичного офицера, подумал простяга Наумов и сказал:

— Не утруждайте себя! Я скоро отбланиюсь. — Ему очень хотелось как-нибудь уложить этого задиру, загнать его в тупик, и он официальным тоном спросил его:

— А ответьте мне, прапорщик...

— Господин прапорщик, — поправил его Горбатов. — Ну-с?

— Скажите, господин прапорщик, чего ради вы отсутствовали при вылазках из крепости третьего числа, девятого числа и сегодня утром?

— По причине уважительной, — подумав, ответил Горбатов. — Я был болен, и еще долго буду хворать, к сведению вашего благородия, господин секунд-майор.

— Лекарь свидетельствовал вас?

— Лекарь в моей болезни ничего не смыслит. Я страдаю желтой гипохондрией, это болезнь души, а телесный недуг мой — это подагрическая немочь.

— Имейте в виду, ваши дальнейшие уклонения в делах против самозванца будут истолкованы высшим командованием вам во вред.

— Имейте в виду и вы, господин секунд-майор, что больной воин — помеха делу, а не помощь. — Горбатов схватился за виски, застал и стал выпативать по комнате.

— Что с вами? — жестко спросил Наумов.

— Начинается гипохондрия...

— Да что это за гипохондрия такая? Не доводилось слышать.

— Это сильный душевный припадок.

В состоянии гипохондри я готов схватить пистолет и застрелить кого угодно... И в ответе не буду.

Наумов вытаращил глаза и округлил открявшийся рот. У него на языке вертелся последний, но главный вопрос: «А правда ли, что, по имеющимся у нас сведениям, вы сеете противозаконную смуту промеж солдат?» Однако, поймав глазом лежавшие на ломберном столике два заряженных пистолета и в точности не представляя себе, что есть гипохондри, Наумов от приготовленного вопроса воздержался и чрез минуту ушел, сказав примиряюще:

— Ну, не взывайте. Уж как умел. Может быть, что и не так... Уж не взывайте.

Как только за ним затворилась дверь, к Горбатову вышел из своей горницы пан Плохоцкий — лысеющий, с жирным усатым лицом, подбородок бритый, круглый, с ямочкой, глаза большие, водянистые.

— Хе-хе-хе... Гипохондри испугался?

— Гипохондри, — сказал, смеясь, Горбатов. — А человек, видать, хороший и отличный боевой офицер, каких здесь не то что мало, а вовсе нет...

— О-о! А я что вам, пане добродию, молвил? Все офицеры русской армии — дрянь!

— Ах, оставьте, пане Плохоцкий! — с раздражением бросил Горбатов. — Младший и средний командный состав офицерства, особливо же солдатство, у нас золото.

— Может быть, и золото, только фальшивое.

— А кто вашего брата бил под Баром, кто бил Фридриха, кто бил турок? А вы забыли, как Стефан Баторий, ваш наймит круль Батур, на Пскове зубы обломал при Иване Грозном? Забыли?

— По, по, по таке? — подбоченясь и наступая на Горбатова, повысил голос пан Плохоцкий. — Наш польский народ... О-о, велика мосьц!

— Да вы, пане, и не знаете своего народа.

— Я не знаю, я? Да я за польский народ саблююк бился! — с наигранным пафосом ударил он себя в грудь ладонью. — Я рашен, а кровь за него пролил!

— Вы не за народ, а за шляхту бился. А свой народ вы зовете «быдло» и презираете его. Кто за народ стоит? Вот Емельян Пугачев... этот войстину ратует за народ и с народом идет. А до него Степан Разин был, Болотников был, Некрас и другие прочие. Вот дополнинные вожди народа, а не ваши разные Пулавские:

— От-то чертяка! Бардзо мувит... — пан

Плохоцкий, смущенно улыбаясь, подошел к этажерке, стал вытаскивать и машинально перелистывать книги офицера Горбатова. Вдруг круто повернулся к нему, снова ударил себя в грудь и, раздувая густые усы, крикнул:

— Пане Плохоцкий всегда за народ! Бежим к Пугачеву! По?

Горбатов с изумлением отступил на шаг, широко открыл па петушившегося Плохоцкого глаза и, не сдержавшись, рассмеялся:

— Что? К Пугачеву? Ха-ха! Не знаю, как вы, пане Плохоцкий, а вот я действительно, кажется, сбегу... — серьезно ответил высокий, белокурый, с быстрыми глазами, Андрей Горбатов. — Я признаю в Емельяне Пугачеве zelo одаренного человека. Возьмите его легкие войска, его каждодневные шермиции. А как они нашего Валленштерна оттузили, а как Бара расколошматили, или сегодня поутру — зеваку Чернышева? У него, у Чернышева, войско немалое было, да пятнадцать пушек. Ведь я, нарядившись в хозяйский архаук да шапчонку, с утра на валу толкомся. А недавний приступ самого Пугачева с конницей?.. Ведь едва-едва крепость-то не взяли. А его артиллерия? Палят хлестко, дай бог всякому! Весь город под обстрелом... помните? Нет, что — что, а голова у Пугача — золото!..

— Жебы его вшитци дьябли взяли!.. По? — возразил по-польски пан Плохоцкий.

Их оживленную, с пикировкой, беседу прервал гул пушечных выстрелов. Прибывавший с улицы столяр, хозяин, приотворил дверь и крикнул:

— Эй, постояльцы! Бригадир Корф вступил в город.

Бригадир Корф на соединенье с Чернышевым не пошел, а, оставя Верхнеозерную крепость, переправился за реку Яик и принял путь к Оренбургу противоположным берегом. Вскоре он соединился с казаками, высланными Рейнсдорпом. Невдалеке от крепости примчался к Яику сильный отряд пугачевцев. Но было уже поздно: их отделила от Корфа река, да и крепость с далекобойными пушками была под носом.

Корф привел с собою полторы тысячи солдат, тысячу казаков и двадцать два орудия. Но этот большой отряд мало увеличивал силы оренбуржцев: солдаты Корфа были худоконны и к боевым действиям почти что непригодны. Значит, две с половиной тысячи малополезных едоков не были находкой для полуголодного, впавшего в беду Оренбурга. Но все же в честь их была произведена пальба с верхов крепости.

Пугачев сидел в золоченом кресле. В некотором отдалении от него — четыре угрожающих виселицы с четырьмя угрюмыми палачами. Страховидный Иван Бурнов ладил из арканов петли, деловито перекачивал чурбаны, на которые, с петлей на шее, будут ступать осужденные.

Все тридцать два офицера стояли вблизи Пугачева нескладной кучей, как почуявшая волка отара овец без пастуха. Выстроиться в шеренгу они наотрез отказались. Хмурые, озлобленные, с окаменелыми лицами, они стояли в небрежных позах, с руками, засунутыми в карманы, как бы стараясь этим подчеркнуть полное презрение к сидевшему в золоченом кресле ненавистному бородачу.

Пугачев подметил их настроение. Едва сдерживаясь, он все еще хранил суровое молчание, затем перевел свой взор на пленных солдат, чинно стоявших поодаль в строевом порядке, и подумал: «Эти бесхитростные».

— Как вы осмелились, — вдруг разразился он резким окриком на офицеров, — как вы осмелились вооружаться против меня?! Как в вас совести-то хватило?! Нешто вы не знали, что я ваш государь? На солдат моего гнева нет, они люди простые. Да и то вон ружья-то они побросали первые. А ведь вас силою взяли, сколько народу моего повзрания вы. А еще офицеры! — Как же вы регулы военные не знаете?.. — Он помолчал. — Какой-то среди вас обороток кричал там, требовал царя показать. Вот я — царь ваш!..

Кто-то в кучке офицеров всохотал, кто-то голосисто выкрикнул:

— Не тебе бы, вору, рацен нам читать!

Пугачев эти дерзкие слова слышал, но сделал вид, что пропустил мимо ушей.

— Вам бы в ноги моему государю своему вальтаться, да прощения просить, а вы и в ус не дуете, кой-как, кэбеченясь, стоите пред императором, и ручки в карманки... — смеячив голос, проговорил Пугачев, стремясь внушить им надежду на свою милость. Но офицеры, как шарочно, продолжали стоять все в тех же вызывающих позах.

Пугачев, потеряв терпение, вскочил, сжав кулаки, его глаза вспыхнули, он с силой крикнул:

— Смирно! Руки по швам, злодеи!

Офицеры, как бы пронизанные огненным током, вздрогнули и, не отдавая себе в том отчета, враз опустили по швам руки. Пугачев, едва переводя дыхание, сел. Он ждал, ждал с явным нетерпением, что офицеры всенародно раскаются, как раскаялись Шван-

вич, Волжинский, прапорщик Николаев и многие другие, и что он, Пугачев, кой кому из них окажет милость: ведь добрые офицеры из служилой бедноты до крайности ему нужны. «Ну пусть бы хоть для виду признали меня, а уж что у них на душе было бы, леший с ними», — думал Пугачев.

Однако тридцать два офицера стояли, как окаменелые. Их бледные лица как бы говорили: «Умрем, а присяге не изменим!»

Тогда Пугачев, выждав время, обратился к Чернышеву:

— И ты еще смеешь называть себя полковником! Какой же ты есть, к чортовой бабушке, полковник, когда свой отряд бросил, да мужиком вырядился? Ежели б ты шел в порядке, так, может статься, и в Оренбург попал бы... Вот вы все стоите передо мной, перед государем, — продолжал он более сдержанно. — И волен я вас смертию казнить, волен и помиловать...

Осужденные безмолвствовали. Лицо Пугачева внезапно исказилось, меж глазами врубилась складка, он взмахнул платком и закричал:

— Вздернуть! Всех до одного!

Осужденные стали прощаться друг с другом, некоторые крепко обнимались. В рядах солдатства послышались соболезнующие вздохи, крихтенье. По знаку Давилина, с казнимых начали срывать одежду, стаскивать сапоги и каждого по очереди подводить к виселице.

Еще утром мечтавший о славе полковник Чернышев, ощутив на шее петлю, со смертной тоской подумал: «Вот как припало умереть».

Пугачев велел позвать попа, чтобы учинить солдатам присягу. Поп Иван был сильно выпивши. Его, облаченного в ризу, вел под руку Ермилка, внушал ему:

— Держись за меня крепче... Шагай череюм ладьями-то! Правой, левой, правой, левой!

Вдруг и совершенно неожиданно, когда Ермилка уже раздул кадло, а поп Иван, торопясь освежиться, натирал лицо снегом, из солдатского отряда выдвинулись тринадцать стариков и, дрожа, промогласно завили:

— Старую присягу всемилостивой государыне мы рушить не в согласьи. Хошь вешайте, хошь жгите нас!

На минуту стало тихо, как в склепе. Но вот пораженная небывалым случаем огромная толпа, окружавшая площадь, загаладела что-то непонятное.

У Пугачева сразу сжалось сердце, судорога перехватила горло. Привстав с кресла, он в крайней запальчивости крикнул:

— В петлю! Всех до одного! Офицеров и солдат...— затем, взглянув в сторону раскоряки пона, добавил:— А как поп присягу кончит, вздернуть и жопа, чтобы безо время не был.

Поп, услышав звонкий голос государя, со страху сел в снег, потом, под сдержанный смех толпы, пополз на карачках к золотому креслу.

Утомленный Пугачев сидел, низко нагнувшись. Он упер левый локоть в подогнутую ногу, подшибил ладонью щеку, будто у него зуб болел, и глядел себе под ноги, как бы рассматривая узор персидского ковра, на котором стояло кресло. По ковру бежал, поводя усами, рыжий таракан. Пугачев приподнял ногу и раздавил его.

Ударил барабан, Пугачев вскинул голову и выпрямил корпус. Мимо него вели на казнь тринадцать старых солдат. Связанные по рукам, с седыми из-под шляп косичками, согбенные, они шли расхлябанной старческой походкой, тяжело отдирая от земли согнутые в коленях ноги. В глазах у них сознание своей правоты и примирение со смертью. Один из стариков, проходя мимо Пугачева, зорко взглянул в лицо его и, шагая к виселице, все оборачивался, все присматривался к Пугачеву, как будто собирался что-то сказать. Вдруг Пугачев прищурился, схватился за поручни кресла, подался вперед.

— Давилин, беги скорей, узнай, как зовут старика... вон-вон этого, что обертывается все, с красным носом.

Через минуту Давилин доложил:

— Оный солдат, ваше величество, Носов... Павел Носов. Взят в отряде полковника Чернышева, в Сорочинской крепости.

Как бы пробудившись от сна, Пугачев рывком поднялся с кресла, махнул платком, барабан смолк, солдаты-смертники остановились у самых виселиц. Громко, чтобы слышали не только солдаты, но и всё скопище народа, Пугачев проговорил:

— Всем приговоренным старикам-неослушникам дарую жизнь царским своим именем. Их, бедных, в обман ввели офицеры. Они люди старые и на многих сражениях в чужестранных землях не единожды были... За мать-Россию кровь лили, за дедовщину нашу. Будьте же вы, старики, вольны!

Народ, бросая вверх шапки, закричал царю «ура». Не ожидая, когда покопчат с

офицерами, царь ушел к себе. Трупы казненных были брошены в овраг.

3

Старый солдат Павел Носов в полном душевном изнеможении сидел в углу избы, безучастно глядел перед собою, ни о чем не думал, был словно в столбняке. В избу входили военные люди, о чем-то говорили. За двумя, топорной работы, столами писались бумаги, прилепывались к ним сургучные печати. Горела под шапкой коноты вставленная в бутылку сальная свеча. В углах — потрепанные разноцветные знамена с белыми крестами по полотнищам. Под лавками и на лавках — бумаги, писцовые книги, салоги — старые и новые, со шпорами и без шпор, офицерские шпаги и шляпы, седла, уздечки, всякая рухлядишка. На полу — илевыи, ключья рваной бумаги, пепел, растоптанные угли.

В окно поступал с улицы какой-то бордач и крикнул:

— К ужине, к ужине! Снедать! Эй, канцелярия!

Трое писарей и четверо сидевших на лавках пожилых казаков быстро встали. Молодой писарек дунул на свечку, сказал Носову:

— Ты, дедушка, сиди до особого приказа государева. Я тебя запроу здесь-ка. Вот тебе хлебца, пожуй. Зубы-то есть, еще не все на службе выбили? Да вот два янчка тебе, а тут есть соль.

Носов ничего не сказал, даже не поблагодарил, он как будто и не слышал слов молодого, в суконном кафтане, человека.

Прошел час, а может — два. Стало темно. Загремел замок. В избу, широко распахнув дверь и заперев ее изнутри на крюк, вошел с большим зажженным фонарем широкоплечий Пугачев. Он был в простом темносинем казацком чекмене, через плечо у него — широкая голубая лента с генеральской звездой, при бедре богатая сабля. Он во все стороны поводил фонарем, отыскивал сидевшего в самом темном углу старика, подошел ближе и, направив свет фонаря в его лицо, просто, задушевно спросил:

— Павел Носов, узнал ли ты меня?

Лицо Пугачева было в тени, а старые глаза солдата видели плохо.

— А чего мне узнавать, — недружелюбно ответил он, ошаривая сердитым взглядом голубую ленту со звездой. — Все толкуют, что ты царь, а я этому глупству веры не даю. И ни в жизнь не дам... Государь Петр

Федорыч преставился давным-давно. А ты кто? Ты набелый царь, ты самозванец!

— Неужто невмочь тебе узнать меня?— еще мягче, еще задушевнее промолвил Емельян Иваныч, колушая почти напывшее на фонаре сало.— Я Пугачев, казак Емельян Пугачев.

— Ась?— переспросил Носов, наставив к уху согнутую козырьком ладонь. В его ослабленной памяти медленно возникло далекое прошлое. Имя Емельян Пугачев хотя и прозвучало в его сердце чем-то близким, но незнакомый голос и чуждый вид стоявшего перед ним матерого человека не вызвали в памяти вполне отчетливых представлений.— Ась, ась? А подь-ка сюда, — старик, захрятев, взял из руки Пугачева фонарь и направил его свет в лицо бородача.— Тут-ка, тут-ка...

— Ведь, мы с тобой вместили, дядя Павел, Фридриха били. Как прощались с тобой, ты говорил: «А доведется ли, мол, встретиться нам, Омелька?»

В груди Павла Носова захрипело, голова затряслась. Пугачев сказал, густо улыбаясь:

— Ну так как, дядя Павел? Подлого мы с тобой званья? Не люди мы?.. Помнишь слова свои тогдашние?

Павел Носов вспомнил наконец. Пред ним тот самый казак Омелька, с которым много лет назад он коротал время при Гросс-Эггерсдорфской битве¹.

— Аа-а, вот ты кто!— тоненько выдохнул он и, сунув фонарь на лавку, стал приподыматься, расправляя уставшую спину.

Пугачев было бросился к нему, чтоб поддержать, но растерялся, попятился: на него, встряхивая головой, со сжатыми кулаками наседали старик.

— Злодей, злодей!.. Чужим именем!— свирепо кричал он, брызгая слюною.— Клятвопреступник! Душегуб! Пошто ты людей-то обманываешь, разбойник?! Пошто кровь-то льешь невинную?.. Эвот господ офицеров на виселице вздернул, что присяги не нарушили, что тебе, неумытой хारे, не присягнули... Да как это, сукни ты сын, царем-то умыслил нарекчи себя? А я не поклонюсь тебе, Ироду! Ты вот дверь-то запер, так я в окошко выпрыгну да и загайкаю на весь народ: «Хватай Омельку Пугачева, я давно знаю его, подлепа!» Так на ж тебе, царская твоя морда самозванная!.. Павел Носов плонул в горсть и размахнулся, чтоб ударить Пугачева.

— Стой, старый петух! Прочухайся,— и Пугачев схватил его за руку.

Павел Носов был свиреп и непокладист, как все старые, повидавшие горя солдаты того времени. Вырвавшись из рук Пугачева, он был вне себя. Он чувствовал близость конца своего и безобязанно ждал его, как избавления от всех долголетних мук своих.

И вдруг зазвучал тихий, убеждающий голос Пугачева:

— Эх, дедка, дедка! Поверь мне, не ради себя, ради обиженных иду, за правду постоять. Я ведь только супругивников народных изничтожаю, а того и народ хочет, того и народ ищет. Ты только покрепче подумай, старик, взмысли хорошенько: ведь мне-то, Емельяну-то, ничего не надобно. Нешто легко мне? Эх, не торазд легко мне, дедушка Павел. Чую я, долго ли, коротко ли, голову мою сказнят... Ну, да ведь я не страшусь! Я, дед, за сырой народ жизнь свою кладу. И за тебя, за твоих внуков тажежде, чтоб и вы все вольными человеками стали. Сам же ты, старый, там у костра, на прусском походе, молвил мне: «Подлого-де званья мы с тобою, Омелька, не люди мы». Помнишь ли слова свои, Носов?

— Помню, ой, помню!— задышливо откликнулся старик и с сокрушением затряс головою.

— Вот я и взмыслил, Носов, чтобы подлого званья у нас и в помине не было.

Пугачев длинные речи не умел высказывать, стоя на одном месте. Он заложил руки за спину, стал шагать по скрипучим половицам. Неровный, желтоватый свет фонаря скупо освещал жилище, пламя моталось во все стороны, и чудилось, что в углах колебались знамена, пошевеливалась белая печь, подпрыгивали вверх и валились книзу оконца, покачивались прокопченные бревенчатые стены, словно бурные выцветшие шали под слабым ветром. И, подергивая плечами, стоял в углу екатерининский солдат с седыми, распушенными по плечам, как у монаха, волосами. Он овладевал собою и уже внимательно вслушивался в слова Пугачева, которые становились все сердечней, выразительней:

— Эй, дядя Павел, дядя Павел!.. Много ль заслужил ты солдатством своим? Ноженьки твои едва несут тебя, стар ты стал, всю силу свою порешил на царской службе. А кто-приют тебе даст на старость-то бездомную? Под забором где не то смерть примешь, как пещ. А ведь всю жизнь ты отечество защищал, Россию защищал, в бомбардирах ходил. Вот и теперь, Павел Носов, и теперь супругив меня,

¹ Во время Семилетней войны с прусским жоролем Фридрихом II.

так супротив разбойника шел, за парицу на виселице возжелал самолично умереть, за бар, да за начальство стоять хотел. Путь-ка, ответь по чистой по совести, супротив кого на дыбки поднялся?— Пугачев, круто повернувшись, остановился вблизи солдата.— Супротив народа шел ты, Павел. А народ прощнулся на один глазок, народ воли захотел да земли барской, да с великим тиранством помещичьим расчесться порешил парод... С тем и в пари над собой меня поставил... меня, в пари!.. Чтоб я землю учинил от бар всю пусту! А что я, простой казак, в пари залез? Так ведь и от черной коровы молоко-то белое... Правду ли говорю, Носов, ась?

Старый солдат взмогнул головой, лицо его задергалось, губы задрожали, по морщинистым щекам слезы потекли. Некий внутренний свет озарил всю жизнь его, и ему стало себя жалко. Да не только себя. «Господи, прости ему измену его противу присяги... Господи, пособи ему, окаянному, авось что и выйдет путное»,— думал он, вслушиваясь в речь Пугачева. Опираясь руками о лавку, он с трудом поднялся и, закулив, припал головою к плечу своего бывшего любимца.

— Омелянушка, Омелянушка!. Растрезжил сердце ты мне.

И они оба умолкли.

— Вот что, старик,— начал снова Пугачев, отстраняясь от Носова.— Пусть для тебя Емельяном буду, а для прочих всех — царь я. Понял?

— Тебя ли мне не понять!..

— Хочешь, служи у меня, не хочешь — иди на все четыре. Отныне не подлого звания человек ты есть, а вольный казак государев. А чтобы было тебе чем старость свою отогреть да время до смертного часа скоротать, на вот, тебе, дедушка, прими от меня,— и Пугачев подал солдату холщевую увязку с золотыми червонцами.

— Что ты, что ты, батюшка!..— всхлипывая и шамкая, забормотал Носов.— Дозволь уж мне, древнему, верой-правдой вместе с тобой послужить.

— Служи, Павел Носов,— сказал Пугачев, взяв фонарь и быстро вышел.

4

Губернатор Рейнсдорп предпринял новую против пугачевцев вылазку.

Сильный отряд в две с половиной тысячи человек при двадцати шести пушках, под командованием Валленштерна, выступил около полудня чрез Бердские ворота и беспре-

пятственно добрался до занятой пугачевцами высоты, что в пяти верстах от Оренбурга.

Вскоре и Пугачев двинулся против Валленштерна со всеми своими силами. В его действующей армии было сейчас до десяти тысяч человек при сорока орудиях. Чернышевские солдаты, а также тысячи вооруженных крестьян были выгнаны из Берды и расставлены по Сыртам, чтобы многолюдством своим внушить страх неприятелю.

Отдельными отрядами командовали Шигаев, Падуров, Творогов и возвратившиеся из похода Овчинников с Зарубиным-Чикой. Чумаков как всегда распоряжался артиллерией. Общее же командование принадлежало Пугачеву.

Выходил со своими, посаженными на коней гренадерами, и есаул Шванвич. Гренадеры в деле слились с оренбургскими казаками Падурова.

Переодетая казакон Фатма впервые увидела Шванвича, перемолвилась с ним несколькими словами и осталась весьма довольна этой встречей. Наоборот, Падуров был немало встревожен тем, что атаман Овчинников назначил в его часть роту есаула Шванвича.

После пушечных гулов передовые конные отряды той и другой стороны вошли в соприкосновение и ружейную перестрелку. Конники, сшибаясь, начали пощупывать друг друга пиками, башкирцы, хватившие вина, с азартом пускали стрелы, работали копытами, ножами, волкобаями. Обе стороны бились храбро. Пугачев вел сражение, а Чумаков, передвигая с места на место пушки, имел расчет подалше заманить Валленштерна, отрезать его от крепости и раздавить. Крепость оставалась позади верст на пять, Берда же, куда, заманивая противника, поменьку отступали пугачевцы, стояла всего верстах в двух-трех. А уже был в исходе пятый час, скоро лягут сумерки. Валленштерн утрапился многочисленного, на прекрасных лошадях, врага, которому он никак не мог противопоставить свои легкие полевые части, сидевшие на заморенных клячах. По ходу боя он ясно видел грозившую ему опасность попасться в лапы врага и приказал своему отряду строиться в боевое жере для обратной ретрады в крепость.

Он злился, он негодовал на пугачевцев,— уж который раз ему приходится с позором отступать,— но и на сей день для него иного исхода не было.

Отступление Валленштерна походило на бегство. Пугачевцы с таким проворством со всех сторон насканивали на врага и, сде-

дав свое дело, снова уносились в степь, что отряду Валленштерна было бы не сдобровать, если б ему на выручку не подошел со своими казаками Мартемьян Бородин.

Сильно потрепанный отряд Валленштерна, пробиваясь сквозь наезливую конницу неприятеля, вскоре ушел под защиту крепостных пушек, и пугачевцы свое преследование прекратили. Валленштерн без всякой пользы для дела потерял тридцать два человека убитыми, девяносто три ранеными и четыре пушки.

Эта новая, уже третья за короткое время, блестящая победа радовала Пугачева.

Он передал взмыленного коня Ермилке, забрался на бугор и сел на большую удобную корягу. У него побаливала голова, он с утра почти ничего не ел, возбужденные продолжительным боем нервы его просили отдыха. Он растегнул нагольный старый полшубок, нахлобучил на глаза лохматую шапчонку, достал из кармана кусок баранины да груто посоленный ломоть хлеба и стал с аппетитом есть.

Мороз был слабый. Спустились сумерки. Чрез серую муть видно было, как вдали, на крепостном валу, один за другим зажигались костры. А по снежному полю, то здесь, то там, темнели небольшие разъезды пугачевцев. Они подъезжали к какому-нибудь валявшемуся трупу, раздевали его догола, ехали к другому мертвецу. Иные трупы они подвязывали к хвостам лошадей и волокли в Берду. Пугачев видел, как во мнотих местах, пособляя лошадям, люди перли на себе чрез увалы пушки.

Вот всадник скачет от орудия к орудию, что-то кричит, размахивая руками. Это, должно быть, Чумаков. Вот впереди кирпичных сараев другой всадник, на белом коне, а по бокам его — двое. Это Овчинников со своими ординарцами.

И третий, необычный... Зоркий Пугачев подметил его еще издали, почти от самой крепости. Он скакал во весь опор, напширивая рослого коня нагайкой. Время от времени он на минуту приостанавливался возле кучек пугачевцев, о чем-то спрашивал их и снова мчался вмах. Вот он ближе, ближе и — прямо к Пугачеву.

— Эй, казак! — хриплым, взволнованным голосом бросил он сидевшему на коряге оборванцу. — Где государь?

— Я государь, — прожевывая баранину, равнодушно ответил Пугачев.

— Подь к чорту! — буркнул всадник. — Его всурьез спрашивают а он... — и обиженный всадник понесся прочь от Пугачева.

Забыв проглотить разжеванный кусок, Пугачев уставился вслед складному детищу. А тот, подскакав к ближайшей кучке, крикнул: — Где государь?

— А эвот-эвот, на пригорке-то сидит, на коряжине-то.

— Который? Вот тот?

— Ну да... Он самый и есть государь-ампиратор.

Измученный всадник растерялся, опять подъехал к Пугачеву, и снова, уже с колебанием и некоторой робостью, спросил его:

— Вы... государь?

— Экой ты дурень, братец! — ответил Пугачев. — Я ж тебе сказывал давеча, что я и есть — кого ищешь. Что надо?

Всадник соскочил со взмыленного коня и, ведя его за собою в поводу, твердым шагом подступил к Пугачеву.

— Ваше величество, — сказал он, сдерживая взволнованный голос. — Я офицер Андрей Горбатов... из Оренбургской крепости...

— Ага... От Рейнсдорпа, что ли? — спокойно откликнулся Пугачев, кладя на всякий случай руку на рукоятку сабли. — Сдаваться, что ли, надумали там? Ась? Бумага имеется?

— Ваше величество! Могу ответ держать за себя лишь. Так что решил я послужить вам верой и правдой.

— Аз-а... Ништо, ништо, господин офицер! — ничем не выдав своего смущения по поводу неожиданного оборота дела, вымолвил Пугачев. — Ежели без коварства слово держишь, изволь — служи.

— Можете испытать меня, ваше величество.

— Ништо, ништо, — повторил Пугачев, цепко приглядываясь к рослому, белокурому, с темными глазами, молодому человеку. «Вот это офицер!.. Не то что мошенники Чернышевские», — подумал он и спросил: — А чего ж на тебе не офицерский мундир, а чекмень казацкий?

— Казацкую экипировку я приобрел в Оренбурге на базаре, государь, чтоб сподручней было бежать.

— И то верно. Какой чин на тебе?

— В Петербурге имел чин капитана, но по суду разжалован в прапорщики и выслан в Оренбург на службу.

— О! — повеселел Пугачев. — Видно, одна у нас с тобой судьба, и меня, братец, двенадцать годков тому назад в Питере-то таковоже разжаловали... из царей. Да вот, как видишь, господь опять призвал меня сесть на вышнее место, а добрые люди помогли тому. За что же тебя пообидели, друг?

— Накрыл я, ваше величество, с полчи-
ным нашего казнокрада-полковника. А у того
большие связи, я же человек мелкого ка-
либра. Винаватый оправдался, а мне от на-
шего правосудия довелось пострадать, госу-
дарь.

— Ах, негодяи!— произнес улыбаясь Пу-
гачев.— А во всем повинна насильственно
восшедшая на престол супруга моя! Зело
много она развела всяких корыстолюбцев да
мздоимцев... А ты, видать, человек бесхит-
ростный и честный. Таких уважаю.: Ну,
ладно, Горбатов, ладно, брат!— Пугачев под-
нялся, дал выстрел из пистолета. К нему под-
скакали ближайшие казаки.

— Проводите-ка, детушки, господина ка-
питана в штаб,— на слове «капитан» он
сделал ударение,— да велите моим именем
Почиталину, чтоб не медля квартиру сыскал
ему.

Горбатов с казаками уехал в Берду.

Ермилка не медля подвел Пугачеву коня.
Застоявшийся жеребец покосился умными
глазами на широкоплечего грузного борода-
ча-хозяина, легко и грациозно подбросил се-
бя вверх, сделав «свечу», принялся по-озор-
ному ходить на дыбах. Ермилка, внатуг дер-
жавший его в поводу, невольно прослезил
по снегу сажени три на подошвах. слегка
ударил жеребца патайкой, весело заорал:

— Ты! Балуй, тварь!

Жеребец нервно поджал уши, всхрапнул
и, словно вкопанный, замер.

На сердце у Пугачева все еще было весе-
ло. Он стал шутить со своим ординарцем.

— Слышь, Ермилка! Хорошо ли ты до-
глядываешь за конюшней-то моей?

— Эва!.. Знамо, хорошо.

— Смотри у меня! Ежели у коней заве-
дутся возле копыт мокрецы, хохол выдеру,
как курице!

Вскоре за офицером Горбатовым поехал
домой и Пугачев. В слободе уже светились
огоньки. У ворот своей квартиры стояла, в
темной пубке с белым воротником и в пу-
ховой шапке, Стеша Творогова. Узнав проез-
жавшего государя, она низко поклонилась
ему.

— Будь здорова, Стеша!— крикнул он.—
Чего в гости не захаживаешь?

По случаю победы слобода всю ночь пре-
давалась бражному веселью.

Гуляка поп Иван, за шланство пригово-
ренный Пугачевым к виселице, с радости,
что получил помилование, или беспросыпу
еще несколько дней.

Последняя победа так взбодрила Пугачева,
что он решил послать генерал-поручику

Рейнсдоргу указ, в котором требовал покорно-
сти и сдачи города. После довольно велере-
чивого вступления в указе говорилось:

«...Только вы, ослепясь неведением или
помрачившись злобою, не приходите в чув-
ство, власти нашей безмерно щените с боль-
шим кровопролитием и тщитесь пред свята-
щеюся имя наше, как и прежде, паки уга-
сить, и наших верноподанных рабов, аки
младенцев, осиротить. Однако мы, по природ-
ному нашему к верноподданному отечеству
великодушию, буде хотя и ныне, возникнув
от мрака неведения и пришед в чувство,
власти нашей усердно покоритесь, всемило-
стейше прощаем и сверх того всякого
вольностью отечески вас жалую». Далее,
за ослушание государевой воле указ угрожал
«справедным нашим гневом».

Губернатор Рейнсдорн, читая указ в об-
ществе начальствующих лиц, то впадал в
бессильное негодование, то раздражался скри-
пучим, желчным смехом. Глаза его с край-
ним подозрением вглядели от лица к лицу. Он
чувствовал, что все его поступки предаются
резкой критике, что чиновники, от мала до
велика, считают его плохим военачальником
и чуть ли не в глаза тычут ему, что есть
он простофиля. О, мой бог! Какже настали
времена, как изменились люди!..

— Да, господа,— сказал он,— к великому
несчастью, наш гарнизон, как это усматри-
вается чрез многочисленный неудачный опыт,
ничего с этот плут Пугачов поделать не
может. И мы, господа, стоим в очень за-
труднительном положении, чтоб не сказать
более...

— Мне сдается,— насмешливо погляды-
вая на губернатора, начал тучный, задыш-
ливый директор таможи Обухов,— мне
сдается, что о гробе с музыкой, который вы
собирались устроить самозванцу, нам надле-
жит забыть и усердно молить бога, как
бы нам Пугачев не устроил одного же гроба,
но без музыки...

— О, нет, нет! Вы очень ошибаетесь,
господин Обухов. Мы этому негодяю еще
устроим гроб и музыку. Два гроба с двумя
музыкам!— выкрикнул губернатор, во все
стороны повертываясь на кресле и грозя
пальцем. Присутствующие невольно улыб-
нулись, а Обухов, таясь, выругался в шля-
пу.— Только не тотчас, не тотчас. Вот по-
доспест сильный подкреплений извне, тогда
разбойничкам — капут!

— Но ведь вы сами же изволили еще в
начале октября писать генералу Деколонгу,
предлагавшему помощь, чтоб он стоял на ме-
сте, ибо вы в его помощи нисколько не нуж-
даетесь и, уповая на помощь божью, в два

для уничтожить злодея своей силой, — не унимался дерзкий на язык Обухов.

— То был один время, теперь настал другой время, — обиженно буркнул губернатор. — Вы еще очень неопытна в военном деле, господа. Вы еще не знайт, что такое наш общий враг... этот... этот... Вильгельмьян Пугачов. О, сей каторжный душа весьма опытный воячка! Да он, шпорт возьми, настоящий Вобан, самый лучший французский инженер и стратег. Вот кто Пугачов! Этот самая маршал Вобан своя тактика очень легко брал крепости. Сто лет тому назад, сто лет! Впрочем, ви и понятий о нем не имейт, чтоб не сказать более...

Плотный, пучеглазый Валленштерн, качнув головой, стал с жаром Рейнсдорпу возражать:

— Ставить на одну доску Пугачева и Вобана несколько удивительно, особливо для такого опытного полководца, каким вы себя считаете. А кроме сего, к вашему сведению, генерал, ежели этого не знаете: ваш Вобан не только мастер был брать крепости, но умел и замечательно строить их. А наша Оренбургская крепость, невзярая на большие ассигнования, до сих пор руина. Куда деваются деньги, аллах ведает.

Рейнсдорп нервно понюхал табак, не страшно посверкал глазами и, чтоб замять неприятный разговор, вскинул вверх руку с закатым в ней платком и крикнул:

— Господа! У меня созрел в голова очень лучший прожект. — Он оживился и все зашевелились, незаметно подталкивая друг друга локтями и готовясь услышать от губернатора очередную забавную несуразность. — Генерал-майор Валленштерн и вы все, господа, помогайт мне... С завтрашня ночь стоняйт наряды солдат, каторжников, разные воринки, а в равной мере — обыватель, штоб... штоб рыли за стенами крепости по полю много волчья яма. Чем больше, тем лучше.

— Земля промерзла, будет затруднительно...

— Отогревайт пожегом, взрывайт порохом... А сверху надо прикрывать сучочками...

— Хворостом?

— Да, да, хворост, хворост! А еще сверху подсыпать снежок... Неприятельский самый пьяный казак поедет, ату-ату и — в яма... Еще ставить по всему степь волчий капкан. Да, да, волчий капкан! Прошу спрятать ваши улыбка. Приказат кузнецам делать много-много капкан...

— Хорошо, — иронически пожав плечами, дал вынужденное согласие обер-комендант

Валленштерн. — Но, опасаясь, как бы и наши казаки не поломали себе шеи в этих ямах да капканах.

— Глюпости! — вскричал губернатор, и, обратясь к похожему на обезьяну делопроизводителю: — Вот что, голубчик, заготовьте-ка мне бумагу генерал-майору Кару такого содержания... (Губернатор и не подозревал, что злочастный Кар, бросив свою боевую часть, подъезжал в это время к городу Казани). Первое... Где Кар находится, сколько у него войска, пусть как можно скорей поспешит наступлений. Когда намерен он прибыть к крепости, чтоб я мог выслать ему навстречу отряд. Ви составьте, а я наведу окончательная штыль. Ну-с... Да, господа... наше дело швах! Продовольствия у нас на одна месяц, фуража для лошадей того менее... Швах, швах, господа!..

Глава двадцать третья

Каждый был сам себе враль.
Генерал Кар пойман. «Персональный оскорбитель». Песенка о сарафане.
Екатерина вела заседание нервно

1

Состояние Казани и той части Казанской губернии, которая граничила с губернией Оренбургской, во многих отношениях было самое плачевное.

Губернатор Брант все еще находился в Ключевском фельдшанце. Отсюда он распоряжался расстановкой ничтожных воинских частей, вдоль рубежей своей губернии, организовывал отряды из закамских дворян и их дворовых людей, из экономических, дворцовых и ясашных крестьян, чувашей и черемисов. Но эти ополчения были плохо вооружены, слабо обучены и не могли представлять собою сколько-нибудь внушительной силы. Иных же войск в Казани не имелось. К тому же Казань была обременена большим числом возвращавшихся из Сибири польских конфедератов, да, кроме того, в городских тюрьмах находилось до четырех тысяч колодников.

И конфедераты, и колодники с нетерпением ждали прихода Пугачева.

Их окарауливали два десятка престарелых и раненых солдат.

Отсутствие воинской силы необычайно тревожило жителей Казани. А тут пошли слухи о неудачах Кара, о том, что пугачевцы уже появились на Самарской линии и приступают к Бузулукской крепости¹.

¹ Невдалече от Бугульмы.

Наконец губернатор фон Брант возвратился из поездки.

Многочисленные шпионы, разсланные Брантом по дорогам, доносили ему о том, что крестьянское население про его поездку в один голос говорит:

— Губернатор к батюшке-царю на поклон ездил, там присягу принимал и поклонялся, что коль скоро государь прибудет братъ Казань, губернатор с владышкой Вениамином встречъ ему выйдут с хлебом-солью.

— Глухой народ, глупые мужики, глупые и подлые! — возмущался Брант. — Значит, крестьяне считают меня изменником и тайным слугой плута Емельки?.. О, боже мой! Этого только не доставало.

Следом за Брантом двинулся в Казань, как снег на голову, и расхворавшийся генерал Кар.

Когда в городе об этом узналось, купечество, зажиточная часть горожан и многочисленные, страха ради съехавшиеся в город помещики пришли в немалое смятение: значит, плохое дело, значит, самозванец Пугачев силен, раз петербургский воляка-генерал не смог устоять противу него. А может быть, Кар просто-напросто трус? Дворянство с именитым купечеством даже стало брюзжать по поводу затрат, положенных на встречу Кара, в его первый приезд в Казань. Обеды да фейерверки, а он — вот-те па — взял да и сбежал! Среди же бедноты шли скрытные, довольно своеобразные суждения, точь-в-точь повторявшие слова покинутых Каром солдат:

— Видали, мирянушки, куда дело-то поворачивает? Стало быть, Кар-генерал уверовал в батюшку, что он доподлинный, а не приставной, и не похотел воевать с ним, большим прикинулся.

И уже стали шляться по кабакам, по базарам разные пройдохи, стали разглашать всякую небывлицу, охотно принимаемую народом за сущую правду.

Здоровецкий отставной солдат с деревянной ногой и беспальными, помороженными в пьяном состоянии руками, сидя с нищими у соборной паперти, таинственным шопотом бубнил:

— Вот государь-то ампирактор и вопрошает нашего губернатора: «Ну, Яков Ларивонч Брант, ответствуй, кому желаешь служить: мне ли царю законному, алибо Катерине?» А наш губернатор на коленях стоит, в грудь себя колотит, отвечает: «Ах, ваше величество, я хоша и сам немецких кровей, только нет у меня хотенья Катьке служить. Раз вы объявиться соизволили, я вам верой-правдой служить постараюсь». А царь-то и говорит ему: «Вот и молодец, — говорит, — Яков Ларивонч Брант! Служи, слу-

жи!.. Я знаю, как Катерина приплывала к вам Волгой, ей встреча была богатая, так уж ты, Яков Ларивонч, когда я в Казань стану входить, уж и меня ты встреть поприглядистей». — «Встречу, батюшка Петр Федорыч, встречу... Только дозвоьте вашего амператорского совета, как мне голову свою сберечь от царствующей Катерины?» — «А вот как, — отвечает государь. — Ты манифесты-то обо мне катькины вычитывай, что я, мол, беглый казачишка Пугачев, а сам народу-то тихохонько напештывай, что я, мол, царь истинный Петр третий, ампирактор...»

— Откудов, кисла шерсть, знаешь все это? — забросали нищие старого враля вопросам.

— А как же мне не знать, ежели я у гвардии сержанта Криворотова угол снимаю, а сержант с губернатором третьеводнись из поездки воротился, ну так он, сержант-то Криворотов, самовидцем был оному разговору. А как уважает он приклоняться к вишишку, сержант-то гвардии, вот он, урезавши, и поведал мне о сем тайно.

Таких вралей хватали, били плетьюми, сажали в тюрьмы, но чем усердней хватали, тем больше и больше их появлялось. Ими кишели дороги, деревни, города, они были неистребимы, как запечные тараканы.

Даже можно сказать так: в это смутное, легковерное время почти каждый был сам себе враля. Ибо всякий бедняк, бесправный и поруганный, превращался в мечтателя, каждый мечтал, что вот-вот придет пора-времячко, когда будет земля, воля, всяческие послабления.

Вскоре прибыли в Казань и посланные из Петербурга «черкесы» — Перфильев с Герасимовым.

— Ну, что ж... Дело ваше для отечества отменное, — сказал им губернатор. — Отдохните, да поезжайте с богом к своему коменданту Симонову.

2

При свидании Кар сообщил Бранту о неудачных стычках с пугачевцами, о причинах этих неудач, затем стал жаловаться на свою застарелую болезнь: во всех костях снова появился нестерпимый «лом», а в теле лихорадка и трясение. И когда он, Кар, стал терять последние силы, то решил спасать как свою жизнь, так и безнадежное положение на фронте.

Губернатор Брант, раздраженный речами неудачника, с болью в сердце рассматривал вслухские склеротические вены на своих старческих руках — следствие понесенных им за последнее время забот и неприятностей,

укоризненно поглядывая на взволнованного Кара, то и дело повторял:

— А мы-то надеялись... А мы-то уповали на вас. И вот что вышло... Конфуз, неизгладимый конфуз!

— Но вы понимаете, дражайший Яков Илларионович,— оправдывал себя Кар,— без больших кавалерийских сил и без хороших пушек там и делать нечего: враг искусен, силен, и весь на конях. Я-то боевой генерал, я-то смотрю на вещи трезво. А Захар Григорьевич Чернышев...

— Граф Чернышев тоже самый боевой генерал,— возразил мягкий по своей натуре старый Брант и, притворяясь строгим, сердито пожевал губами.— Первостатейный генерал. Герой!

— Да, да... Но Чернышев, да и все там в Питере самого превратного мнения о мятеже. Вот я и собрался в Петербург, я все приведу в ясность. И ежели моим словам не будет оказано достою должного доверия, ласкаю себя смелостью дерзнуть обратиться к самой императрице. Надо спасти Россию, Яков Илларионович!

— Надо спасти Россию, надо спасти дворян! — подхватил Брант и, нащупав пульс, стал незаметно считать удары сердца.— Вся моя губерния встревожена, я уже не говорю об Оренбургском крае,— помещики бросают свои поместья и бегут, кто куда, крестьяне, оставшись без надежного обуздания, бесчинствуют, жгут поместья, режут скот, грабят господское добро... А на уральских заводах что творится... Бог мой! Но у меня нет воинских команд, чтоб приводить чернь к повиновению, чтоб карать мятежников, чтоб охранять священную собственность помещиков... И вы верно изволили молвить: Россию спасти надо!

— Надо, надо, Яков Илларионович! — И аттестуйте мне какого-либо искусного лекаря.

Пульс у Бранта показывал сто пять в минуту. Брант сразу упал духом, извинился, разболтал в рюмке воды успокоительные капли, выпил и сказал, обращаясь к Кару:

— Навряд ли вы найдете в Казани доброго аскулапа... Плохое здесь лекаря. Вот и я — шью, шью всякую аптеку, а облегченья нет.

Пробыв в Казани двое суток, болящий Кар двинулся в Москву, предварительно посплав графу Чернышеву частное письмо, в котором между прочим сообщал: «Несчастье мое со всех сторон меня преследует, и вместо того, что я намерен был для переговоров с вашим сиятельством осмелиться выехать в С.-Петербург, подхватил меня во всех костях нестерпимый лом, и, будучи в чрезвычайной сла-

бости, принужден был поручить корпус генералу Фрейману, отъехать на излечение в Казань, где по осмотре лекарском, открылась к несчастью моему, еще фистула, которую без операции никак излечить не можно. Но немению же здесь нужных лекарств искусных медиков, решился для произведения сей операции ехать в Москву, уповая на милость вашего сиятельства...»

Еще в начале ноября Екатерина повелела архиепископу казанскому Вениамину составить увещание к верующим по поводу «богомерзкой смуты». Вениамин поручил это сделать архимандриту Спасского монастыря, Платону Любарскому. Увещание было своевременно оглашено по всей казанской епархии. После же отъезда Кара в Москву, когда по Казани стали ходить неблагоприятные по отношению правительства пересуды, Вениамин приказал снова огласить пастве свое послание.

«Твердитесь разумом,— писал он,— бодрствуйте в вере, стойте непоколебимо в присяге, яко и смертию запечатлети вам любовь и покорение к высочайшей власти».

Он между прочим в своем послании говорил, что Петр третий, чьим именем назвал себя Пугачев, действительно умер и погребен в Александро-Невском монастыре, что тело его стояло в тех самых покоях, где жил Вениамин, и что на его глазах приходили вельможи и простолудины, дабы поклониться праху почившего. Вениамин свидетельствует, что тело Петра третьего перенесено при стечении народа из его архиерейских покоев в церковь, там отпето и самим Вениамином «запечатлено земною перстью», то есть предано земле.

Но простой народ уже не верил ни царичьим манифестам, ни непреложному свидетельству своего архипастыря, народ брал под подозрение все слова, все действия правительства и церкви. Униженные люди, раз почувствовав в себе некую, хотя бы призрачную, душевную дерзость и свободу, слепо верили только манифестам живого царя-батюшки, нивесть как залетавшим в их родную Казань.

Дорога была гладко укатана, под полозьями скрипело. Кар с адъютантом и лекарем ехали в Москву на четверне.

В тридцати верстах от Москвы болящий Кар был задержан. Курьер в офицерском чине вручил ему предписание графа Захара Чернышева.

Ну, разве это не досада, не пощечина, не кровная обида: пред самой Москвой, в пред-

двери того, к чему так настойчиво стремились Кар, читать подобные, оскорбительные строки:

«А буде уже в пути сюда находитесь, то где бы вы мне письмо не получили, хотя бы то под самым Петербургом, извольте тотчас, не ездя далее, возвратиться».

Кар лежал больной в избе зажиточного торговца-крестьянина. Он молча перечел бумагу дважды. Веки его подрагивали, волосы на запавших висках торпорщились. Приподняв голову, он оправил слабой рукой подушку и сказал гонцу-офицеру:

— Передайте графу Чернышеву, что его приказание вернуться к корпусу, в силу своей болезни, я исполнить не могу. Коль скоро я поправлю в Москве свое здоровье, то буду ласкать себя надеждой видеть его сиятельство лично.

П, отдохнув, Кар к вечеру был уже в Москве.

Хотя по распоряжению главнокомандующего Москвы, князя Волконского, пребывание Кара в первопрестольной от всех скрывалось, однако, как это нередко случается, чем тщательнее правительство охраняет от народа какую-либо тайну, тем скорей народ эту тайну узнает,— и весть о возвращении Кара из-под Оренбурга быстро облетела всю Москву.

Если появление Кара в Казани имело там неместную для правительства «эху», то в Москве разные досужие кривотолки, а наравне с ними самая жестокая критика поведения Кара и нераспорядительности Петербурга приняли столь недозволенные масштабы, что Екатерина, проведав о них, рекомендовала Волконскому вновь опубликовать старые сенатские указы о болтунах. Дворяне и зажиточные круги говорили:

— Это не генерал, а баба,— не мог с бздельниками совладать, сбежал. Под суд его!

Поддвигали масла в огонь и приехавшие из Казани беглецы-помещики, разнося повсюду самые тревожные известия.

Москва в своих низах далеко не была спокойна: отголоски недавнего чумного бунта¹ все еще ходили по городу. О любопытных делах под Оренбургом, о грозном Пугачеве, о волнениях в Башкирии знал всякий. Изустные вести о мятеже долетали до Москвы скорее, чем писанные бумажки губернаторов.

Московский простой народ, проведав о приезде Кара, в трактирах, в банях, по базарам, а раскольники — в моленных с осторожностью болтали:

— Пугачев сыпал генералу-то... во как! Говори, где дешется... Только сумнительство берет, чтобы простой казак мог генерала с войском покорить... Ой, не Пугачев это, не бродяга... Врут манифесты, истину от народуха скрыть хотят... Сам Петр Федорыч это, а не Пугачев...

Обер-полицмейстер Архаров хотя имел всюду свои глаза и уши, но сыщики либо не там, где надо, выслеживали болтунов, либо эти болтуны, за версту чуя врагов своих, прикидывались патриотами. Обер-полицмейстер, получавший от сыщиков утешительные сведения, вводил князя Волконского в заблуждение, докладывая ему, что на Москве «все обстоит благополучно». А князь Волконский, немало постаравшийся в деле возведения Екатерины на престол, в свою очередь обманывал свою обожаемую благодетельницу, письменно сообщая ей:

«Здесь, всемилодливейшая государыня, все тихо и мирно, и враг гораздо меньше стало. Только один большой, вашему величеству известной, болтун вздор болтает, не разбирая при ком, но при всех. А другие перебалтывают».

3

Этот большой болтун был не кто иной, как граф Петр Пваныч Панин, давнишний «персональный оскорбитель» Екатерины. Крепкий духом и неподкупной честности вельможа, он стоял, как на поляне дуб, в стороне от придворных всяческих интриг, в борьбе за благо жизни. Упиваясь своим, может быть, призрачным величием и в то же время считая себя обойденным в заслуженных им наградах и милостях, он в озлоблении своем давал полную волю языку, отравляя желчью своих слов покой многих паредворцев, и в первую голову, покой самой императрицы.

После геройского взятия грозной крепости Бендер (где он был награжден за храбрость казак Емельян Пугачев званием «значкового товарища», или хорунжего), Панин никакого особого отличия не получил и, обиженный невниманием к нему императрицы, подал в отставку. Подозрительная и лицеприязненная Екатерина сочла поступок Панина демонстративным, разгневалась на него, и генерал Петр Панин попал, таким образом, в опалу.

В своем подмосковном имении Михалкове Панин задумал соорудить мипиатюрную копию Бендер с гранитными стенами, воротами, бойницами и балшой. В нем, очевидно, теплились стремление к славе, неистребимая тоска по бессмертию; показывая близким приятелям игрушечную крепость, он с сол-

¹ В 1771 году.

датской грубостью и обычной дозой перца горька:

— Мне памятника за мои государственные заслуги Катюша не поставит, я, как говорится, рылом не вышел и профиля античного лишен природой, так вот я сам себе поставил памятник. Вот он! — и Панин, встав в картинную позу, воинственно простирал руку к копии покоренных им Бендер.

Лытя его слабости поведичаться, гости делали ласкательные лица и наперебой говорили ему:

— Ну, конечно же, Петр Иванович, ты достоин и не этакого памятника. Тебя вся Россия чтит за геройство твое.

— Эка хватили! Никто меня не чтит. Разве что солдаты, со мной бывшие. А Катерина... Ох, уж эта Катерина!.. Она, окромя себя да своих друзей, никого не чтит. А впрочем сказать, и эфтого нет. Она друзей сердца поглощает и вылевывает в меру аппетита, как разбогатевший, обожравшийся откупщик из мужиков. Ему подавай то истинно русскую, то польскую, то французскую страпню. Точка в точку и ее, нашу всемиловитую матушку, бросает от третьей редьки к шампанскому, от шампанского к гречневой каше с коровьим салом, от каши к малороссийской колбасе. Спящая борода или Гарун-аль-Рашид в сарафале. Ха!

Обескураженные гости, пугливо поглядывая то в суровое с перекосившимся ртом лицо Панина, то друг на друга, смущенно пошмыгивали и предавались короткому таящемуся смеху.

— Она покровительствует только тем, кто ей угождает да шлейфы ее пыльные целует, — желчно продолжал Панин, вышагивая с гостями по аллеям английского парка. — Эвота самое доверенное лицо нашего московского сатрапа по чрезвычайному секрету передало мне, быто бы эфтог самый сатрап Мишка Волконский в своих пыдулах к всемиловитой матушке льстивые пемечки стипонки преподносит ей. Смысл оных таков: «Если хорошо нашей государыне, то все идет, как по маслу, а ежели все идет — как по маслу, то всем нам хорошо». Ха! Как бы да не так... Ох, и хитрец эфтог князюшка, друг-приятель Орловых!.. Петр Дмитрич! — обратился он к генерал-поручику Еропкину, положившему много труда в борьбе с чумой в Москве. — Ты помнишь, как наше просвещенное, ха-ха, правительство дедушку Салтыкова, прославленного русского фельдмаршала, хоронило?

— Ну как же, Петр Иванович, помню. Подобную пощечину памяти героя забыть не можно, — с готовностью ответил Еропкин.

И Панин снова и снова пересказывал приятелям скандальный эпизод кончины в прошлом году престарелого фельдмаршала Салтыкова, жившего в своем подмосковном Марфино. Покойный считался при дворе в опале, поэтому московские власти с князем Волконским во главе, желая подольститься к императрице, решили не устраивать почившему фельдмаршалу торжественных похорон. Уязвленный Петр Панин, воспользовавшись этим, не устранился сделать резкий вызов императрице, царедворцам и правительству. Он тотчас направился с собственным из крепостных крестьян эскадроном гусар в Марфино, с обнаженной шпагой стал у гроба и громко объявил: «Я, генерал Петр Панин, буду стоять, как солдат на часах, при гробе фельдмаршала до тех пор, пока не пришлют почетный караул мне на смену».

Так этот опальный вельможа, обитавший совершенно обособленно в своей вотчине, как маленький царек, продолжал называть себе опасных врагов и вызывать в Екатерине приступы желчи.

От своих выходов он и сам немало страдал, и у него тоже подчас вспухала печень. Появление же в Москве незадачливого Кара снова бросило его в желчную веселость. Панин лично знал Кара, считал его хорошим дипломатом, когда-то состоявшим в Польше при князе Раздвигле, неплохим военным генералом и человеком твердого характера. Может быть, только потому, что высокое общественное мнение всей Москвы было против Кара, граф Панин принял его под свою защиту.

— Я знаю, с какими силами был отправлен Кар против Пугачева, — слегка подыпав за приятельской трапезой, крикливо высказывался Панин. — Две роты, две пушки да тысяча старых колченогих солдат в лаптях... Ха! Пускай-ка с эфтаким корпусом попробует Захарка Чернышев супротив самозванца выступить! Нет, братцы, Военная коллегия... Раз дали самозванцу большую силу забрать, так уж он таперича задешево жизнь свою не продаст... Не-е-т-с, дудяк! Это тебе, всемиловитейшая государыня, не твой супруг Петр Федорыч, которого ты с таким проворством... упразднила. Ха! Я солдат, я правду говорю!

Возражать Панину было рискованно. Гости смущались, краснели, до боли прикусывали губы, чтоб не рассмеяться над остроловием хозяина. Однако все же раздался чей-то голос в порицание Кара: генерал виноват, мол, в том, что самовольно бросил свой корпус на произвол судьбы.

— Не на произвол судьбы, Кар перетал

командование Фрейману, настоящему боевому генералу, — с горечью возразил Панин. — А что же, по-вашему, Бар в репортёрках своих должен был доказывать, что Захарка Чернышев дурак? Вот он и приехал лично доложить ему об этом. Прав Бар, сто раз прав! А Чернышев, может, и не такой уж дурак, только сдаётся мне, что он ныне не тем местом думает, тамошних условий не знает, силы противника недооценивает. Он не понимает, что у Пугачёва отчаянные казаки, поставившие башки свои на карту, да вдобавок превосходная башкирская конница. А у Бара что? Да туды надо полки двинуть, целую армию!..

А приехавшему к нему погостить брату, Никите Ивановичу Панину, он с глазу на глаз сетовал:

— Ну вот, ну вот... Если бы не Катя, а Павел Петрович на царстве-то сидел, тогда и самозванцы не посмели бы появляться. У нас царь в юбке, баба! А вот царь в казацких шароварах пришёл, Петр Федорыч, Емелька... И еще неизвестно, куды его кривая вывезет. Провороним, так народ и завопит чего доброго: довольно нам баб, давай нам царя с бородой!

И, как бы спохватившись и вспомнив, что он граф, богат и вельможа, свербая глазами, добавил:

— Впрочем, говорю тебе, Никита, как брату старшему. Хотя матушку я и не люблю, но ежели государству учнет угрожать опасность, сам на защиту порядка и дворянских родов готов буду встать. И встану!

Многое из того, что говорил в самом тесном кружке Петр Панин, какими-то неведомыми путями — будто стены подслушивали — долетало до сведения царицы. Обозленная выходками своего «персонального оскорбителя», Екатерина вновь и вновь писала князю Волконскому: «Петр Панин, живучи в деревне, весьма дерзко врет, и для того пошлите туда кого-нибудь падежного выслушать его речей... и дайте мне наискорей узнать, чтоб я могла унять мне непокорных людей... Я здесь кое-кому внушала, чтобы до него дошло, что если он не уймется, то я принуждена буду его усмирить наконец».

Но бывают обстоятельства, когда сегодня сказанное слово назавтра уже звучит абсурдом: Петр Панин, которого императрица грозилась усмирять, вскоре будет ею же призван на усмирение Емельяна Пугачёва. Это случится в то время, когда затрясутся основы империи, когда «казанская помещица», как впоследствии кокетливо нарекла себя Екатерина, и «московский барин», почувствовав общую опасность для трона, а стало быть, и

для сословных интересов правящего класса, два непримиримых врага миролюбиво протянут друг другу руки. И тогда-то, в самом финале событий, осуществится заветная мечта Петра Панина: он обессмертит для потомков своё имя, он впишет его на страницы истории кровью побежденного народа.

4

Екатерина только что вернулась из Царского Села, куда выезжала с Григорием Орловым на тетеревиную охоту. Поездка, длившаяся двенадцать дней, была не особенно удачна. Во-первых, князь Орлов, навсегда потерявший в ее лице любимую женщину, был, так сказать, не в своей тарелке: он позволял себе дерзить Екатерине или, наоборот, шалал к ее ногам и умолял восстановить невозвратно утраченное между ними счастье. Во-вторых, в покоях Екатерины было не особенно тепло и дымчили печи. В-третьих, и сама охота, кроме чрезмерно льстивых услуг егерей и свиты, не могла принести ей радости. Так, на охоте в Бабовском парке Екатерина дала всего пять выстрелов, из коих три, по ее предположению, она наверняка промазала, а между тем, как доказательство ее удачной стрельбы, ей преподнесли шесть убитых тетеревей.

— Но ведь я всего пять раз выстрелила...

— Это ничего не означает, ваше величество. С одного выстрела вы, государыня, срезали сразу двух сидевших на берегу тетеревей. Эт-то удивительно! — с жаром тряс головой и жирными щеками Лев Нарышкин. — С вашим величеством могла бы соперничать лишь одна богиня Диана.

Екатерина, изумленная таким лганьем, взглянула на льстивца с укором, на ее глазах даже навернулись слезы.

Вызванный из деревни Бибигов сидел в кабинете Екатерины, как на иголках. За его смелые суждения Екатерина стала относиться к нему с некоторой холодностью, и в т — он вызван до двору. К чему бы это?

— И чтоб на глаза ко мне не дерзнул показаться! — криливо говорила Екатерина расстроенному графу Чернышеву, собиравшему со стола подписанные государыней бумаги. Когда Екатерина давала важные распоряжения или кого-либо распекала, голос ее был властный, отрывистый. — Он, этот горе-генерал Бар, шорт его возьми, не поправил дело, а испортил! Что скажут иностранные при нашем дворе послы? Какую эху будет иметь за границей его мерзкий поступок? Это ты мне подsunул его, Захар Григорыч, вот теперь и выкручивайся.

— Государыня, вы же сами изволите знать, — оправдывался Чернышев, — что все опытные генералы на войне...

— А вот опытный генерал! — воскликнула Екатерина, показав глазами на Бибикова, у которого сразу вытянулось лицо и стало замирать сердце. «Ой, меня пошлют кашу расхлебывать!» — с горечью подумал он.

— Болен? Но у тебя есть лекарь, лечись на месте, — продолжала шервно выкрикивать императрица, пристудивая табакеркой о стол. — Мало войска у тебя? Но дождай, пришлем... А чтоб с позором сбежать... И в такое время... Он забыл долг пред отечеством, забыл присягу, и замест подвига, замест усердия и мужества, позорно, без разрешения, ретировался. Нет, это слыше моих сил! Трусы мне не нужны! Больные, ослабленные — тоже! Подобные мизерабли получать жалованье не имеют права. А посему, любезный граф, изволь заготовить мой указ Военной коллегии, чтоб Кара немедленно уволить и дать ашпид. Ну, а какие полки ты намерен послать против этой зловердной толпы каналий?

— Сей вопрос еще не решался, — пожал плечами Чернышев.

— **Помни-ка** князю Волконскому полк из **Лазов**, а то Москва сидит без военных людей **везде**. А Бранту пошли немедленно особую **пелуду**, дабы он взял все предосторожности к **охранению** нашей Казанской губернии от **саразы**. Ну, прощай! И я тобой тоже не есть **ковольна**, Захар Григорыч. Ты с небреженьем и вяло действуешь.

Чернышев выслушивал речь императрицы, потупившись и стоя. Затем поцеловал ей протянутую руку и ушел.

— Александр Ильич, голубчик, — обратилась она к Бибинову. — Ну вот, если бы ты был на месте Кара, да, боже упаси, захворал?..

— Я всему прочему предпочел бы смерть на посту, государыня! (Впоследствии, в далекой Бугульме, Бибиков с содроганием сердца вспоминал эту фразу.)

— Да, да, — прорекла Екатерина. — Тако думают и так отвечают своим государям истинные, со светлой головой государственные мужи. — И, помолчав, как бы давая время подготовиться к ответу, она сказала: — Голубчик, Александр Ильич, я на вас имею виды. (Сидевший против Екатерины Бибиков опустил сложенные на груди руки и шевельнулся в кресле.) Вы пока поезжайте исправить свои семейные дела, а после я вас покличу. (Бибиков встал, и выразительные глаза его округлились.) Непнако, как тебе доведется туда скакать и ма-

ленько переведаться с маркизом Пугачевым. Как ты полагаешь? — снова перейдя на интимное «ты», закончила Екатерина и с выжидательной улыбкой заглянула в его лицо.

— Ваше желание для меня закон, его же не пройдеши... Смею ли я возражать, государыня.

— Очень смеешь, очень смеешь... Я тебя люблю, Александр Ильич, и, пожалуйста, возражай!

— Нет, государыня... Хотя и горько мне, что я иным часом уподобляюсь сарафану...

— Что сие значит? — продолжая улыбаться, с нетерпеливым, чисто женским любопытством воскликнула Екатерина. — Я не понимаю твоей преносказательный намека... Будь друг, поясни.

— Ваше величество, — поднял брови Бибиков. — да вешто вы забыли песенку?

Шесть лет тому назад, когда императрица путешествовала в Казань, Бибиков был в ее свите на газере «Волга». Екатерина держала себя со всеми, в особенности с Бибиковым, необычайно просто, поэтому он сейчас и позволил себе по отношению к императрице некоторую фривольность.

— Так вот не казните меня, а выслушайте, песенка старинная... — Он подшпилился рукой и негромко, но с ужимками, запел фальцетом, подражая певуньям-бабам:

Сарафан ли мой, дорогой сарафан!
Везде ты, сарафан, пригождаешься;
А не надо, сарафан, — ты под лавкой
валяешься.

В широкой улыбке Екатерина обнажила белые ровные зубы и, милостиво взглянув на Бибикова, сказала со снисходительной благожелательностью:

— Путник... Ах, какой путник вы, ваше высокопревосходительство! И понапрасну вы объявляете себя за сарафан. Вы не есть сарафан, вы — господин генерал-аншеф, кавалер высокого ордена святого Александра Невского. Очень сожалею, мой друг, что я чересчур плохая Габриельша¹, а то я не преминула бы составить с тобой дуэт, ты хорошо поешь. Ну, подойди сюда, Александр Ильич, голубчик.

Бибиков, склонив голову, уже целовал Екатерине руку, она слегка обняла его за шею и поцеловала в гладкий выпуклый лоб.

Проезжая в санях по снежным улицам столицы, Бибиков окидывал мысленным взором служебные этапы своей жизни. Ему только сорок четыре года, а он уже генерал

¹ Итальянская левица Габриэль, служившая в придворном театре в Петербурге

аншеф. Екатерина высоко ценила в нем просвещеннейшего человека и талантливого политического деятеля.

«Но почему же, почему жребий борьбы с мятежником пал на меня? Ну право же, не по душе мне это дело... А как откажешься? Я человек, прямо скажу, бедный, у меня семья, долги, в опалу попасть резону нет! Ну, конечно же, я — сарафан: валялся, валялся под лавкой, а ныне в надобность пришел... А ничего не попишешь... И с кем воевать? С каким-то чумазым казаком, да с башкирцами, да со своим народом... Со своим собственным!»

Об осаде Уфы толпами мятежников стало известно не только простому люду, но в этот раз даже и правительству.

Заместитель Кара, генерал Фрейман, донес об этом в Военную коллегию. Подробностей в рапорте не было, да их никто и не знал, кроме Емельяна Пугачева.

События под Уфой разворачивались так. Толпа башкирцев облоло пятисот человек, под начальством самозванного полковника из башкир Кашкина-Самарова и уфимского казака самозванного подполковника Губанова, 24 ноября заняла селение Чеснокровку, что в десяти верстах от Уфы, а также и другие, ближайшие к городу селения. Уфа была совершенно отрезана. В толпу ежедневно прибывали с разных сторон татары, помещицы, государственные и экономические крестьяне. Через неделю в толпе было уже более тысячи человек.

Вскоре к городу подъехала группа башкирцев, они кричали с утра до полудня:

— Эге-гей!.. Давай языка сюда, давай начальства, мало-мало балакать будем... Эге-гей!

Из города выехал майор Пекарский и два чиновника.

— Сдавай нам город! — говорили им башкирцы. — Выдавай коменданта Мясоедова да воеводу Борисова.

— Отправляйтесь, изменники, по домам, — говорил им Пекарский. — Иначе мы всех вас побьем из пушек. Государыня сюда целую армию выслала, солдаты с генералами уже подходят к Волге.

— Врешь, собак кудой! У нас нет государыни, у нас есть бачка-царр...

Комендант полковник Мясоедов стал приводить Уфу в боевое положение. Вокруг города были установлены ночные разъезды, в которые назначались и служащие учрежденных, сформированы боевые дружины, жителям розданы ружья и порох.

Большая толпа вооруженных луками и копьями башкирцев, сделавшая приступ со

стороны села Богородского, была отогнана уфимскими казаками и посаженными на коней жителями. Башкирцы понесли большой урон. Их главари принуждены были обратиться к Пугачеву за помощью.

5

28 ноября состоялось большое собрание Государственного для обсуждения военных дел совета в присутствии императрицы.

— Какие полки вы намерены, граф, двинуть на место мятежа? — обратилась Екатерина к президенту Военной коллегии Захару Чернышеву. За креслом императрицы стоял навьютяжку дежурный при ее особе граф Строганов, чуть дальше — два розовощеких пажа.

— Вчерась в ночь, — начал, подымаясь из-за стола Чернышев, — мною отправлены, ваше величество, курьеры с приказами как можно скорей выступать в поход: Изюмскому гусарскому из Ораниенбаума, второму гренадерскому — из Нарвы и пехотному Владимирскому — из Шлиссельбурга. Всем полкам следовать в Казань трактом через Москву. Опричь того, выслало из Петербурга в Казань шесть пушек с прислугой и снарядами.

— Я держу опасение, что войска наши будут поспешать слишком нескоро, а несчастный Оренбург долго упорствовать этим канальям не сможет, там неюстача хлеба, жителям угрожает бедствие. Надо сию экспедицию как можно форсировать.

— Ваше величество! — воскликнул Чернышев. — Полки, посаженные на почтовые и обывательские подводы, придут на место не позже как чрез два месяца. Также могу поручиться за то, что Рейнсдорп будет держаться в крепости до последней крайности. В том головой ручаюсь!

— Вы, ваше сиятельство, поостерегитесь столь часто закладывать вашу голову, — выразительно прищурилась на него императрица. И ему сделалось неловко, он стал краснеть, кусать губы.

Екатерина вела заседание очень нервно, смута на востоке угнетала ее.

— Вы, поминися, еще так недавно клялися головой, что Пугачева можно прихлопнуть, как комара, с теми силами, кои у Чичерина, Деколонга и Рейнсдорпа. И что войска новых туда не след высылать... Да так и не выслали.

Чернышев хотел было возразить: он-де выслал туда несколько рот и четыре пушки, но, зная, что вступать в пререканья с императрицей в минуты ее раздражения опасно, в обиду прикусил язык.

— Впрочем, ты послал туда две роты... Но... Но от твоей столь щедрой посылки только курицам смешно... или, как это говорится? — продолжала, заметно волнуясь, Екатерина. — Попробуй-ка сам повоюй с двумя ротами, не желаешь ли, граф, туда прогуляться? — Она бросала на сановников косые взгляды, ее оголенные матово-белые плечи нервно передергивались.

Весь генералитет сидел как в рот воды набрал, уткнув носы в бумаги. Только князь Вяземский¹ преданными глазами, со лстывым бессмыслием, взирал на императрицу.

— Я позволю себе спросить вас, господа сановники, — снова зазвучал голос Екатерины; она вынула из бисерной сумочки раздушенный носовой платок, зал наполнился благоуханием. Юный черноволосый паж сладострастно потянул ноздрями воздух, ему вдруг захотелось чихнуть, со страху он обомлел, крепко-накрепко закусил губу и весь содрогнулся. Его товарищ сбросил на него озорные глаза. Граф Строганов повел в их сторону прихмуренной бровью. — Я спрашиваю вас, господа, как быть? — вскинула императрица голову. — Поскольку Оренбург заперт, вся губерния остается без управления. Не направить ли туда второго гражданского губернатора?

— Я полагаю бы, матушка, — заметил негромко князь Григорий Орлов, — все управление краем поручить Бибикову.

— Я склонен поддержать эту идею, — откликнулся Олсуфьев, — ибо все тамошние места заражены шные возмущением и не могут без войсковой помощи управляемы быть.

— Против сказать ничего не нахожу, — проговорила Екатерина. — Прошу пригласить генерал-аншефа Бибикова.

Внешне бодрый, жизнерадостный, но очень бледный, с Александровской через плечо лентой, вошел Бибиков, поклонился, занял указанное ему императрицей кресло.

За окнами дворца бушевала вьюга. Снежные космы, как белый пламень, плескались по зеркальным стеклам. В зале сумеречно, хотя был полдень. Ливрейные слуги запалили горячие плиты, которые вились от светильни к светильне всех ста пятидесяти свечей, и обе люстры вспыхнули, как рождественские елки. На длинном столе заседания зажгли кенкеты — фарфоровые масляные лампы. Четыре лакея в белейших перчатках подали государыне и всем присутствующим горячий чай в расписных гарднеровских чашках. Екатерине прислуживал сам граф Строганов.

В огромном зале было довольно свежо. Императрица пожевывалась, зябко передергивала плечами, дважды кашлянула в раздушенный платочек. Григорий Орлов сорвался с места и ловко накинул на ее плечи пелерину из пышных якутских соболой. Екатерина посмотрела по-холодному на князя Вяземского, что не распорядился как следует протопить печи, сказала Орлову: «Мерси» и потянулась к горячему чаю. Вяземский понял недовольство императрицы. Перестав преданно улыбаться, он пальцем подманил мордастого лакея, что-то сердито шепнул ему и, поджав сухие губы, незаметно лягнул его каблуком в ногу. Тотчас запылали два огромных камина.

— Разрешите, ваше величество, — сказал Вяземский, приподнявшись и щелкнув каблуками.

Екатерина, у которой рот был занят вкусом печеньем, кивнула головой.

Один из секретарей с благородным лицом и осанкой, стоя возле своего пюпитра, звучным баритоном стал читать проект манифеста по поводу разгоревшегося мятежа. Екатерина послала через стол Бибикову записку: «Прошу слушать внимательно».

Когда чтен дошел до места, где Пугачев уподоблялся Гришке Отрепьеву, граф Чернышев попросил, с разрешения Екатерины, еще раз повторить этот текст.

«Содрагает дух наш от воспоминания времен Годуновых и Отрепьевых, посетивших Россию бедствиями гражданского междоусобия... когда от явления самозванца Гришки-расстриги и других ему последовавших обманщиков города и села огнем и мечом истребляемы, кровь россиян от россиян же потоками проливаема...» и т. д.

— Разрешите, великая государыня, — поднялся Чернышев, знаком оставив чтение. — Нам с князь Григорием кажется, что никак не можно уподоблять эти два события — возмущение древнее и бунт современный Пугачева.

— Ведь в та поры, матушка, — подхватил с места князь Орлов, — все государство в смутенье пришло, вкупе с боярством, а ныне одна только чернь, да и то в одном месте. Да такое сравнение разбойника Пугачева с ложным Дмитрием хоть кому в глаза бросится, оно и самих мятежников возгордит.

— Мне пришло в идею сделать подобное сравнение, — сказала Екатерина, — только с тем намерением, чтобы вызвать в народе самое большое омерзение к Пугачеву. Я еще раз готова над сим местом призадуматься и, ежели сочту нужным, допущу перифраз.

За сим была оглашена инструкция Биби-

¹ Генерал-прокурор сената.

кову, по смыслу которой он посылался в беспокойный край полновластным диктатором. Бибикову давался открытый указ, по которому ему подчинялись все краевые власти: военные, гражданские, духовные.

Бибиков слушал весь этот словесный шум, низко опустив голову.

Повестка заседания исчерпана. Екатерина уже стала собирать в бисерный мешочек свои вещи: табакерку, лорнет, носовой платок, бонбоньерку с шоколадными конфетами, а также неуместно подsunутую ей печальным Орловым записочку: «О, богиня!» Но в это время поднялся генерал-прокурор князь Вяземский и обратился к государыне:

— Дозвольте, ваше величество... Последний вопрос, который, по нынешним знатым опасностям, я считаю zelo важным и отлагательства не терпящим. Осмелюсь, ваше величество, свою мысль сказать: не было бы бесполезно, если бы назначить знаменитую сумму денег в награду и прощение сообщникам, кои бы его, Пугачева, выдали живого, или б, по крайности, мертвого. Кажется, что из тех плутов могли таковые найтись. А мог бы и таковой найтись из отважных людей, коему позволить к злодею предаться, чтобы, войдя к нему в услугу, его убил или, подговора других, выдал. И оному удачнику надлежало бы от казны копейку выдать награду.

— Но ведь туда для сей цели уже направлены два казака — Порфилов и Грачев, кажется, — сказала Екатерина.

— Перфильев и Герасимов, матушка, — поправил ее князь Орлов.

— Это сделано без моего ведома, — подъявшись, бросил с обидой в голосе граф Чернышев и сел.

— Это сделано при моем ближайшем участии, — встал Вяземский и снова сел.

— Сих шельмецов мой брат Алексей послал, — проговорил Орлов, — только, чаю я, из этого ни синь-пороха не приключится.

— А может, и приключится... — холодно и вызывающе возразила ему Екатерина. — Однако же, Александр Алексеевич, голубчик, — обратилась она к Вяземскому, — тебе в пору знать, что государю невместно заниматься поощрением убийства. А посему я согласна назначить награду только за живого...

«Чтоб потом живому отплатить головою», — мелькнуло у многих собравшихся.

Екатерина поднялась, и все вскочили, кроме старика Олсуфьева, одержимого подагрой. Опираясь на две палки, кряхтя и выгорбив сутулую спину, он еще долго бы корячился, если б его не подхватили подмышки два лакея, похожих на английских лордов.

Екатерину окружила свита. Одарив всех милостивой улыбкой, она быстро направилась к выходу.

Глава двадцать четвертая

Добрые вести. Митька Лысов «окаянствует». Перфильев двинулся в Берду. Гавриил Романович Державин. Депутаты

1

В Петербурге и на том конце света — в Берде с одинаковой силой сверשתвовала вьюга.

В столице заседание Государственного военного совета кончилось, а в Берде в это самое время открыла свои занятия Военная коллегия.

Прищуривая то правый, то левый глаз и прищелкивая языком, Пугачев с особым вниманием слушал прибывших из Уфы гонцов.

Гонцы — башкирец, русский и татарин — не торопясь рассказывали, как было под Уфой и почему склонившиеся на верную службу великому государю терпят неудачу.

— Для того мы просим вашего царского милосердия: в нашу сторону прислать войско и мало-мало пушек. А то ваших супротивников нам без оных сократить не с чем. Наши полковники Губанов да Кашкин-Самаров¹ приказали всем обольным жителям готовить для войны с каждого двора по одному казаку со своими ружьями, мы в пятницу город Уфу разорить намеренье имеем.

— Мне вестно стало, что в Башкирии немало коней, — заметил Пугачев.

— Эге! Коней, как черной грязи, бачка! Мы тебе целыми косяками пригонять будем. У богатеев отбирать будем. Эге!..

— Ахти, добро! — откликнулся довольный Пугачев. — Как у меня много будет коней, я большую часть армии моей на конь посажу.

Одарив гонцов, Пугачев сказал им:

— Ну, езжайте в обрат, детушки! Будут вам пушки, будут люди, будет и главный над вами командир от меня.

Вошел весь в снег, офицер Андрей Горбатов, поклонился Пугачеву, сказал:

— Государь, вот гонец прибыл к вам с вестями.

— Давай его, ваше благородие!

Вошел широкоплечий казак с плетью у пояса, с винтовкой за плечами и пикой в

¹ Кашкин, (Кашкин)-Самаров, из башкир.

руке. Поставив пику в угол, он усердно покрестился на иконы и упал Пугачеву в ноги.

— Иван Жилкин да атаман Илья Арапов приказали тебе, батюшка, челом бить: А сам я — есаул Плеваков..

— Встань, — сказал Пугачев. — Илью Арапова знаю. Я его с полусотней казаков сам спосылал под Бузулук.

— Истина твоя, батюшка! А мы шестьдесят две четверти сухарей забрали, да сто шестьдесят кулей муки, да круп, да пороху, да ша две тысячи рублей медяков, — все денешки да полущками..

— Стало, хорошие вести привез ты?

— Не надо лучше... Худые вести и гонцу не в радость, ваше величество.

— Ну, сказывай, друг!

Чернобородый, еще нестарый казак с умными глазами не торопясь рассказал о том, что город Бузулук с крепостью и почти все крепости с форпостами Самарской линии взяты ополченцами отставного солдата Ивана Жилкина, а еще беглого солдата Варсонофия Перешиб-Носа¹, да полсотней казаков выпередченного Илья Арапова.

— Перешиб-Нос. Варсонофий? — неприятно удивился Пугачев и даже откинулся на кресло. — Вот те кляквал!.. Как бы он, забудьга, не тово, не этого..

— Откудов взялись Жилкин да Перешиб-Нос какой-то? — ввязался в разговор Максим Шигаев; он, в красной рубахе, сидел на табуретке, закинув ногу за ногу, засунув руки в карманы суконных штанов. — Илью Арапова с казаками, верно, мы спосылали, а эти двое — самочины. Их, ваше величество, надо бы в Военную коллегию вызвать да пристрастить.

— А чего же их пристрастить, — возразил Пугачев. — ежели они моим именем крепости берут? Пушай стараются.

— Для порядку-ба.. — сказал Шигаев и, вынув из карманов руки, сел прямо.

— Когда порядок учнут рушить, так и не токмо что вызвать, а и повесить можно, — и Пугачев обратился к чернобородому гонцу: — Толкуй, казак, дале.

— А комендант Бузулукской крепости-то фамиль Вульф² еще раньше того сбежал. Как узнал он, что полковник Чернышев в плен угодил, ушел со всем семейством. А тут вскорости ваш Илья Федорыч Арапов с казаками приватил в Бузулук, склады провиантские опечатал все, обобрал самолучших

лошадей — и был таков. А в конце ноября и мы на двадцати санях понаехали. Жилкин с Перешиб-Носом велели вина из складов выкатить. Тут все мы, грешным делом, в гульбу пошли! Уж не брани нас, батюшка. Два попа тоже гулеванили с нами. Некый солдат-старик оный в смерть. Во! Через день опять Арапов наскочил со своими. Тогда мы, все совокуясь, побежали на конях помещичьи именья зорить. Мужиков подбивали к тебе, батюшка, идтить, а двух бурмистров вздернули. — Казак вынул из-за пазухи бумагу, протянул Пугачеву, сказал: — Это вот от атамана Арапова списочек, чего да чего шлет он тебе. Вели, батюшка, прижать, Обоз подходит сюды.

Максим Горшков шершавым басом огласил бумагу:

«Его императорскому величеству и всея России государю Петру Федорычу от атамана Илья Арапова погорнейший рапорт. При всей случившейся радостной вашего величества оказии, от изверженных и недостойных рабов, которые бесчувственно, осмелясь, сами себя отреклись, захвачено разных сортов бусу³ и прочих вещей, при сем с нарочным, в покорности моей, посылаются: сахару три головы, винограду сушеного боченков два, рыбы свежей — осетер один, севрюга одна, белорыбца одна, севрюг провесных две, урюку небольшое число, завернутое в бумажке, сорочинской пшеницы, водки сладкой, сургуча два пучка, бумаги писчей одна стопа, сотов три гнезда, гусей да уток по четыре гнезда, масла коровьего кадка, маку фунтов с десять».

Пугачев был необычайно доволен столь задачливым днем: Уфа заперта, Бузулук взят, форпосты и мелкие крепостишки Самарской линии передались ему, подвозят добро с казной. А перед этим — Бар разбит, Чернышев в плен попал, Валленштерн не единожды трешку получал. После таких событий не грешно и разгуляться. И вот царь-батюшка с атаманом поехали под вечер верхами в Каргалу, к знакомым татарам. Увязался с ними и Митька Лысов. В Берде начальником остался Максим Шигев, который и велел объявить по казачьим полкам, чтоб завтра с утра казаки приходили в Военную коллегию получать денежное жалованье.

2

Гости бражничали в Каргале до третьих петухов. Хозяина, сметливого татарина Мусу Улеева, Пугачев поставил каргалинским атаманом, а татарина Абрешита произвел в

¹ Пугачев случайно встретился с ним шесть лет тому назад, во время крестьянского бунта, в поездку свою с Дона в Котловку, что на Каме.

² Зять губернатора Вранта.

³ К у с — провизия.

сотники. Ночью пугачевские атаманы разгуливали по улице в обнимку с татарами, пели песни, играли на дудках, целовались. Пугачев был крепче всех, да и шел в меру, он шел твердо, его по обе стороны поддерживали две красивые татарки в бархатных, вышитых золотом, невысоких шапочках-тюбетейках и в напунутых на плечи меховых шелково-узорчатых охабнях. Одна из них — жена Муссы Улеева, другая — жена Абрешита. Они весело смеялись, наперебой что-то лопотали государю по-татарски. Он ничего не понимал, только встряхивал бородой, широко улыбался и, стараясь быть вежливым, то и дело говорил им:

— Ась, ась? Благодарствую... В гости, мол, приезжайте, в Берду... Саблея, вестивал. Шурум-бурум, шох-вороҳ...

Татары провожали их, как самых почетных гостей, дружными залпами из самострелов. Атаманы в ответ дали прощальный салют из своих пистолетов.

Был предутренний час. Лобастая луна стояла высоко, окруженная яркими звездами, как новый среди гривенников рубль. Просторы голубели. Тишина. Только каргалнские собаки, разбуженные выстрелами, все еще побрехивали вдали.

— Братцы-атаманы! — сказал Лысов. — А пошто это в небушке две луны, пошто они приплясывают козлятами?

— А пото, что они в Каргазе внища наглотались, — ответил ехавший рядом с Пугачевым начальник артиллерии, Федор Чумаков.

— Ха-ха-ха! — залился Лысов. — А пошто мы все пьяны, а батюшка тверезый?

— Батюшка хошь и не мене тебя шел, — сказал Пугачев, — а вот, брось на дорогу шапку, я на всем скаку дно ей вырву.

— А ежели не того... не вырвешь?

— Тогда назови меня никудышным псом!

Лысов, пьяно раскачиваясь в седле, помчался вперед, швырнул в снег шапку, — в лунном свете она ярко чернела на голубом сугробе. Пугачев вынул из-за пояса пистолет, гикнул и, вихрем проносясь мимо шапки, выстрелил в нее. Шапка подпрыгнула и, как черная курица, распустила крылья. Все захохотали. Митька Лысов подцепил пикой шапку — на снегу остались клочья мерлушки — кой-как надел ее на лысую голову, по-злему сказал:

— Ну и чорт ты, батюшка!.. Не иначе, как с анчуткой неумытым знаешь... Ведь шапка-то дорогая, новая... Пес ты и есть, а не царь!

Отъехавший Пугачев этих дерзких слов не слышал. Безбородый, похожий на скопца,

Максим Горшков, сверкнув прищуренными глазами, громыхнул Митьке басом:

— Ты дурнирку-то эту брось!

— А то што? — задыхливо спросил Митька и с мстительной ухмылкой уставился в спину удалявшегося Пугачева.

— А вот что! — крикнул суровый Овчинников. — Ссадим тебя с коня да хороших лешей по шее надаем...

Не слушая его, стиснув зубы, Митька нагнулся, гикнул и — пику наперевес — полным карьером помчался на Пугачева. Тот, ничего не подозревая, ехал впереди ровным шагом. Чужа недоброе, атаманы ринулись вслед Митьке, заплотомно кричали:

— Берегись, батюшка! Берегись, ваше величество!

Но было уже поздно. Налетевший Митька с силой ударил Пугачева пикой в левую лопатку. Пугачев держался в седле крепко, как дуб в земле, он только клянул носом и схватился за шапку, а Митька Лысов от сильного ответного толчка кубырнулся прямо в снег, как брошенный с воза куль.

Остро отточенная пика легко вспорол толстый меховой чекмень Пугачева и смаху уперлась в случайно надетую им поверх рубахи стальную кольчугу. Все соскочили с коней: Почиталин, Творогов, Витошнов, Горшков, Яким Давилин, Овчинников. Все окружили Пугачева. Пегая кобылка Лысова, переступив всеми четырьмя ногами, повернулась к своему хозяину и с удивлением глядела на него, поверженного в снегу, влажными, светящимися глазами, как бы сияясь спросить, по какой причине его угораздило в сугроб?

— На сей раз прошибся ты, Лысов, — сказал Пугачев спокойным, застуженным голосом. — Не добыл кровушки-то моей.

— Здоров ли, батюшка? Цел ли? Не покарябал ли он тебя? — сыпались в его сторону вопросы близких.

— Нетути. Как видите, невредим!

— Вставай, чертяка! — грозно, хором, закричали на Митьку.

Тот повалился Пугачеву в ноги, сквозь шапку без дна мутно блеснул под луной лысый череп.

— Спьяну, спьяну это я, — вопил он. — Прости, надежа-государь, прости, милости-вец!.. Ведь мне поприятчилось, что я под Оренбургом Матюшку Бородина пикой-то пырнул. — Лысов мли пьяные слезы, но волчьи глаза его были трезвы, жестки.

— Как повелишь поступить с ним, ваше величество? — спросил Яким Давилин.

— Встань, Лысов! — сказал Пугачев. — Да другой раз не окаянствуй. Не окаянствуй, говорю!

Лысов, вряхтя, поднялся, с нахальцем взглянул в лица казаков: «Что, мол, много взяли?» и с быстротой росомахи вскочил в седло. Его кобылка, видя, что все пришло в порядок, удовлетворенно встряхнула хвостом и с игривостью повела глазом на пнедого пугачевского жеребца.

Неспешной бежью все тронулись в путь. — Воля твоя, батюшка! — хмурясь, проговорил Овчинников. — А Лысову надлежало бы выпхать для порядку.

— Нет мне охоты идти на комара с рогатиной, — ответил Пугачев раздраженно.

Лысов запыхтел, сравнялся с Пугачевым и, притворно вскрикнув, прогнулся:

— Ты всегда, ваше величество, кровно обижаешь меня. Вот, опять... комаром обзвал.

— Какой там комар, ты вошь! — вскричал атаман Овчинников. — А ну, покажи руки, сними рукавицы! — Снова все остановилось. — Давилили с Почиталиным, сдерните-ка с него рукавички-то козловые.

На пальцах Лысова заблестели крупные, в драгоценных камнях, перстни.

— Откуда взял? — сурово спросил Лысова Пугачев.

— А уж это мое дело... Не из твоих сундуков, что в подпольи у себя держишь.

— То не мои сундуки, а государственные, — повысил Пугачев голос. — Я вчера из них три тысячи рублей Шигаеву выдал на жалованье казакам. Ты, супротивник, опять в щель идешь?

— Не я, а ты, батюшка, в щель-то идешь, — заикаясь и гнусая, стал выкрикивать Лысов. — Ты за всяко-просто обиду мне чинишь... Много на мне обид твоих, батюшка! Я-то все помню...

— Засохни, гнида! — заорал на него Овчинников и притрозил нагайкой.

— Сам засохни, хромой чорт, бараньи твои глаза! — огрызнулся Митька и, выпустив поводья, стал истерично бить себя кулаками в грудь. — Накипело во мне!.. Дайте мне обиду выкричать! Меня тоже погоди обижать-то!.. Я полковник! Я выборный полковник!.. За меня войско заступится...

— Вот, в войсковой канцелярии мы тебя спросим, откуда кольца-то добыл, — поднял голос и молчавший до того Почиталин, но, сразу сконфузясь, покраснел, как девушка.

— Плюю я на твою, щенячья лапа, канцелярию, — не унимался Лысов, в злости то пружинно подпрыгивая на стременах, то снова падая в седло.

— Не плюй в колодец, Митя, — спокойно сказал Овчинников. — А что ты вор, всем ведомо. Ты помещикам живьем пальцы ру-

бишь, чтобы перстеньками поскорее завладеть. Ты всякую поживинку хапаешь, да прячешь, — в кушцы, видно, метишь выйти? Нам-то, брат, все известно. Хоть за пятьсот верст смошенничай — знать будем... Эх, ты, полковник!.. Когда простые людишки грабят, ты их унимать должен, а ты сам путь им указуешь... Полко-о-вник!

— Ладно, поехали! — нетерпеливо крикнул Пугачев.

Застоявшиеся лошади пошли крупной рысью. Луна заметно помутнела, звезды выпвели. Наступал рассвет. До самой Берды всадники ехали молча.

Всяк думал о своем. Мысли Лысова были хитры, занозисты и мрачны. «Ха, царь! Много таких царей по острогам вшей кормит. А эти каверзники: Овчинников — бараньи глаза, да Горшков Макся — скобленное рыло, да Витошнов — старая кила быдто сговорились: царь да царь... Спасибо Чике-Зарубину, пьяный сблотнол мне про батюшку-т... Сволочь, шапку взрызг расшиб, а шапка-т генеральская, шелковая полшивка с золотым гербом. А он, сволочь, — бах! Да нешто царь так стрелять могут? Вот сразу и выдать, что не царь, а чувбурло бородатое. Ха! Где кольца взял... А тебе какая забота? Набил себе сундуки-то... хапаным... Ну, ладно, недолго вам попарствовать. Дай срок — всех вас выведу на чистую водичку!»

Пугачева тоже одолевали думы. Станный, непонятный какой-то этот казак-гуляка, Митька Лысов. То он покорен, рачительно служит, сотнями пригоняет в лагерь крестьян, татар, калмыков, то вдруг — вожака под хвост — и заурсит, заурсит Митька, сладу нет! А ведь он не простой казак, товарищ атаман, начальник войску! Ну ладно, погожу. Как будет невтерпех, так я и саблю выхвачу. А выхвачу саблю — леги голова с плеч!

3

Напутствуя главнокомандующего Бибикова, Екатерина говорила ему:

— Я вас, Александр Ильич, за большого патриота почитаю, за весьма такожде усердного к особе нашей. Всюду, Александр Ильич, действуй моим именем, как тебе бог и совесть укажут, Ты в Казань езжай попроворней, дабы заранее ознакомиться с положением дел в крае, чем возмутители дышут, какие у них с землей связц, каковы ресурсы пропитання, да есть ли у них внутреннее управление, разрозненная ли орда то, подобная стаду овец, или действительно вооружены они дисциплиной? Во всяком разе, я

чаю, что мужество и просвещение, искусством руководствуемые, дадут тебе, Александр Ильич, несравненное преимущество над толпою черни, движимой диким фанатизмом.

Беседа при участии Григория Орлова протекала довольно долго. Екатерина, прежде всех оценившая опасность оренбургского восстания, лично вникала теперь во все подробности дела, давала Библикову всякие советы как в письмах, так и в изустных разговорах. Библиков и без ее подсказа все это прекрасно понимал, но поневоле ей поддакивал, а сам думал: «Либо она считает меня глупым индюком, либо своим якобы знанием жизни поафишироваться хочет».

— Дворянство всегда было надежною опорою престолу, — говорила Екатерина, то принимая напыщенный вид, то облекая румяное лицо в приветливую улыбку, — и я верю, что оно, дворянство, и на сей раз явится на помощь нам по первому нашему призыву. Ты потрудись уж, Александр Ильич, разъяснить, что в их патриотическом усердии залог их личной безопасности, сохранности их имений и самой целостности дворянского их корпуса. Ты расскажи им, как Пугачев расправляется со дворянами и чиновниками, кои попадают ему в лапы.

— Матушка, не забудь насчет комиссии, — подсказал князь Орлов.

— Да! Решили мы тотчас послать в Казань секретную комиссию, коя будет, Александр Ильич, при твоей особе состоять. В ней три гвардейских офицера — Дунин, Савва Маврин и Василий Собакин да секретарь тайной сенатской экспедиции Зряхов, человек, в допросных делах zelo сведущий. В Казани уже сидит сколько-то пугачевских молодчиков. Этих каналий надо опросить и, в страх черни, примерно наказать на публике. Ну, что еще? Как ты уже сам ведаешь, тебе в ближайшую помощь определяю генерал-майора Мансурова да князя Петра Голицына. Также возьмешь с собой, по своему выбору, некое число обер-офицеров да двенадцать grenадер.

— Так ведь ты же бунтовщик был, ты же против генерала Траубенберга шел и принимал участие в его убийстве? — крикливым голосом говорил Перфильеву комендант Яицкой крепости, полковник Симонов. — Как же могу я поверить тебе?

— Правда, был бунтовщик я, а вот теперича желаю искупить свою вину, — отвечал есаул Перфильев, исподлобья поглядывая на Симонова. — Ежели не верите мне, верьте бумагам. Я же передал вам письмо губернатора Бранта.

Умный Симонов только плечами пожимал, он прекрасно знал то, как губернатором Рейнсдорпом был направлен ловить Пугачева каторжник Хлопуша, и что из этого вышло. «Наивные в Петербурге люди, а уже про Бранта с дурнем Иваном Андресвичем и говорить не остается», — думал Симонов.

— Что ж, надеешься Пугачева изловить?

— Изловить мне одному невмочь. А вот казаков от него оторвать да мутию в шайке самозванца пустить — завсегда возможно.

— Ну, чтож, поезжай, — сказал Симонов и раздумчиво провел по стриженным в бобрлик черным волосам своим ладонью. — Я бы не послал тебя в сию экспедицию, ибо она, на мой взгляд, бесполезна, даже вредна! Но раз эта идея относится до графа Орлова, то препятствия чинить тебе не могу. Одно тебе посоветую: помни присягу! И еще возьми в память: у Пугачева шайка отпечтых голов, у ее же величества — в триста тысяч армия. Кто будет в выигрыше-то?

— Козырного туза, ваше высочество, — ответил неглупый Перфильев.

— А кто же туз, по-твоему, кто же туз?

— Да уж известно, кто туз...

— Ну, а кто, кто? — наступал на него Симонов.

— Сумлеваюсь, чтоб отменный фарт привалил Пугачеву... — уклончиво молвил Перфильев, — однакож на свете всяко случается, господин полковник... А впрочем, нам и туза надлежит крыть!

Вскоре Петр Герасимов был направлен Симоновым на нижне-яицкие формосты, а Перфильев, взяв с собою казаков Фифанова и Мирошихина, выехал в Берду.

Дорогою, уже на второй день пути, Перфильев сказал своим товарищам:

— Ну, други мои, напрямки вам говорю: я послан из Питера от самого графа Орлова подговаривать казаков, чтобы изловить человека, который государем себя зовет.

— Да ты сдурел! — в один голос закричали казаки и остановили лошадей. — Нет, нет, Перфиша, об этом и думать не мочи! Он, мы слышали, точный государь. Ведь он к нам, в Яицкой городок-то, не единожды указы насылал, в коих льготить нас обещал и жаловать многими милостями.

— Да ведь и сам я, — опустив глаза, сказал после длительного раздумья Перфильев, — как ехал сюда, в дороге-то хороших вестей о нем наслушался. Народишка прет и прет к нему.

— Ты, Перфиша, не хитри,— сказал Фофанов.— Я, брат, еще в городке сдогадался, что вы с Герасимовым недаром из Питера прибыли. Имей, Перфиша, в виду, что как только в Берду попадем, обязательно донесу на тебя. Так, слышь-ка, брат, не могли этого сделать.

— Я, братцы, завсегда верен казацкой стороне, завсегда против богатеев... Так неужто уж теперича изменю?.. Да что вы, ей-богу!— с жаром защищался Перфильев.— Да оторвись моя башка с плеч, коли я...

— Так, так, Перфиша,— облегченно сказали казаки и двинулись дальше.— Мы завсегда верили и теперь верим тебе.

4

В приемной Бибикова толпились офицеры. Среди них бравый, лейб-гвардии конного полка, подпоручик Гавриил Романович Державин. Когда дошла до него очередь, он явился в кабинет, шлепнул шпорами и вытянулся перед Бибиковым в струнку.

— Очень рад, очень рад!— сказал Бибилов, затягиваясь трубкой.— Слышно, изволите быть стихотворцем? Что ж. и то дело!

— Сие — между тем, ваше высокопревосходительство. Прежде всего есть я покорный раб ее величества и защитник отечества нашего. Кроме сего, имею в Казанской губернии личные интересы, как-то: небольшое имение, а наипаче того драгоценность — старушку-мать... Сим руководясь, желал бы там, на месте, под вашим руководством проявить священные чувства, свойственные всем истинным сынам родины. Словом, великое у меня желание быть полезным вашему высокопревосходительству в походе против похитителя императорского имени — казака Пугачева.

Бибилов слегка поморщился на излишнее красноречие офицера и сказал:

— Желание ваше почтенно, однако должен огорчить вас, что опоздали: все места нужного мне обер-офицерства заполнены.

Державин возвращался домой обескураженный. Лопнула его надежда повидаться со старухой-матерью, да и деньжонок в командировке прикопить. Небогатому офицеру в гвардейском полку служить было трудно, там весело было лишь богачам да картежникам. И если б не состоятельная дама, с которой молодой Державин был в близких отношениях, ему пришлось бы в жизни весьма туго.

Жил офицер Державин в маленьких «покойничках» на Литейной, в доме Удалова. Войдя во двор, он еще раз осмотрел свою ветхую карету, которую он недавно купил в

долг. «Хоть бы какую клячонку завести, либо полкового, отслужившего свой век коня, а то просто срам, выехать в люди не на чем». Он вошел в покойчик, послал денщика за возницей, бегло пересмотрел рукописи, задержался глазами на сером листке с началом оды, полюбовался блестящими английскими салогами с серебряными шпорами и, как подана была лошадь, поехал на Васильевский остров, где жила «дама сердца».

— Не выгорело, любезная Степанида Порфирьевна! Ау, не выгорело! Я генерал-аншефа без меня ловкачи напхись,— печально пробасил он, целуя руку еще не старой, с высокой прической и с томными глазами, женщины.

— Ну вот и слава богу!— чуть не всплакнула она от радости.— Это пречистая богородица мою молитву услышала. В такую страсть ехать! Вот поди-ка, послушай, Гавриил, что люди мои говорят в кухне. С Ладского канала, из моего имения, только что прибыли, харч привезли.

Державин прошел в кухню, там обедали трое крестьян. Один из них, бородастый, пронырливого обличья приказчик, на вопрос Державина стал рассказывать:

— Да вот, ваше благородие, дела-то какие! Дела прямо пакостные! Володимирского полка гренадеры, коих в Казань гонят, в роптание пришли. Как проезжали мы чрез селенье Кибол, сделали ночевку на постоялом дворе, вот там и слышали... Гренадеры-то в ямские подводы укладывались в дорогу, да и говорят громко, никого не страшась. «Вот,— говорят,— вызвали нас из армии, чтоб при свадьбе Павла Петровича быть в Питере. И хощь бы за это беспокойство по чарке водки подали, губы помочить, а замест благодарности, по окончании торжества заставили нас, солдат, на Неве сваи бить, как строилась набережная дворцовая. Ну да ладно!.. Только бы нам,— говорят гренадеры,— до места доехать, да не замерзнуть, а мы от такой худой жизни все свои ружья сложим пред парем, что появился в низовых местах... Царь он али не царь,— нам, дакось, шаплевать!»,— говорят.

— Ах, мерзавцы!— возмущился Державин. Полное лицо его слегка перекосилось.— И что же ты... уже ли смолчал, слыша все это?

— А чего мне гуторить? Нешто это мое дело? Мое дело сторона,— ответил бородастый приказчик, прожевывая кашу и рыгая.

Попивая, чуть погодя, ароматный кофе со своей приятельницей и с отменным аппетитом пожирая румяные, легкие, как вата, пышки, Державин говорил:

— Крамола, крамола, Степанида Порфирьевна! Всюду крамола, даже в армии. Вот времена пошли!.. Я не сказывал вам, свидетелем какого ужасного случая года с два тому назад, в июле месяце, мне быть довелось?

— Ой, не страшай меня, Гаврик!.. У тебя вечно случалось. Да ты лей больше сливочек-то, пеночку-то... Ужо я тебе кружовничного варенья наложу, ты ведь сластена у меня!

— Этот случай отменный, Степанида Порфирьевна, уж дозвольте... Вызван я был со своей ротой на плац-парад в три часа утра. Стоим, ждем. И через часа два со стороны Песков слышим — кандалные цепи лягзгют. Видим, в самом истерзанном облике, двенадцать лучших гренадер ведут закованных, тринадцатый — унтер-офицер. Прочли им указ императрицы и приговор. Они на ее жизнь будто бы умышляли. И тут взялись за них каты! Великое избиение учинено им было жнутьями, а после сего обрядили, да полусмерти избитых, в рогожное рубище, повалили в кибитки и — прямо в Сибирь! Настродался я, глядячи на все сие происшествие!

— Ой, ой! — всплеснула руками женщина.

— Да... Многие на жизнь матушки покушались, и все больше, представьте себе, военные дворяне. Не угодна им государыня. Они бы непрочь Павла Петровича императором иметь... А теперь, вот, Пугачев. Беда! Не уявится, — что будет!

Перед шим, просительно потягивая, крутилась на задних лапках ученая Мпмишка в теплой кофточке. Державин стал швырять ей в рот маленькие кусочки сахара, она ловко ловила их на лету. Желтенький пушистый кенарь звонко распевал в клетке, топила голландская печь, босая девчонка поливала герань и колючие кактусы; в переднем углу горела лампада, на шкафу стоял пыльный самовар.

— Ну, благодарю на угощеньи! Теперь позвольте мне счесть и приходо-расходную книгу вашего приказчика, учиню учет ему.

— Ой, ненаглядочка моя!.. Спасибо на заботе. А я тебе четыре пары бельца из ярославского полотна сготовила. Монашка вышивает гладью вензеля твои... И с короной. Ну и долговязый же ты, батюшка! Я как прикинула твои исподние штаны, так они от самого полу мне до подбородка. Да ты прямо Петр Великий будешь!

— Нет, Степанида Порфирьевна, сей чести не удостоился. В моем росте до Петра Великого верхка недостает...

— Что ты, что ты, Гаврик! А мне, грешнице, думается, ты на вершок длинше его.

Возвратясь домой, Державин с изумлением увидел в полковом приказе высочайшее повеление явиться ему к Библикову. Через три дня он уже выезжал в Казань. И странно — отправляясь в путь, Гавриил Романович вовсе не испытывал радости по сему случаю. Напротив, с ним было такое, словно он взвалил себе на плечи груз — чужой и нелегкий. И даже мысль о возможности свидеться, наконец, с родной матерью мало успокаивала его.

5

Пугачев принимал в золоченом залеце главного судью — старика Витошнова, Максима Горшкова и думного дьяка Почиталина. Горшков зачитывал Пугачеву донесения, полученные из разных мест, а также изустно докладывал вместе с Витошновым разные сведения о победоносных действиях отдельных отрядов.

Пугачев узнал, что на протяжении прошлого ноября захвачены заводы: Катав-Ивановский, Слжский, Усть-Катавский, Юрюзанский и другие. Он приказал Военной коллегии немедленно напросить в каждый завод своих управителей, поручив им лить, где можно, пушки, мортиры, брать порох, ядра, оружие, казну — и все это под верной охраной высылать в Берду. И чтобы в заводах и всюду читались вгуг, где есть люди, его манифесты и указы.

— Можно ли к вам, государь? — приоткрыв дверь из прихожей, спросил Падуров.

— Входи, входи, полковник! Что скажешь?

— Я не один: привел двух выборных от преклонившихся вашему величеству жителей Бугуруслана.

Пугачев приосанился. В горницу вбегнули маленький, лысый, в больших сапогах, Давыдов и высокий, пучеглазый Захлыстов. Оба повалились Пугачеву в ноги.

— Что за люди? — спросил Пугачев, приказав им подняться.

— Я депутат Большой комиссии, ваше величество! Гаврило Давыдов, ясашный крестьянин. Вот на мне и знак депутатский золотой, как у Падурова, Тимофей Иваныча, мы с ним вместе в Кремле-то, в Грановитой палате-то, сидели... — Он снял с шеи тоненькую золотую цепочку с депутатским знаком и показал его Пугачеву. Затем, мотнув головой на стоявшего истуканом своего

соседа, продолжал:— А эвот-то верзила-то Захлыстов прозывается, житель из Бугуруслана. Оба мы посланы от жителей града челом тебе бить, и хлеб с пирогами вам жителями досланы... Да, грешным делом, наши лошаденки схрумкали в дороге хлеб-от с пирогами, и нам-то понюхать не доспелось. Ах, ах!.. Прости уж, батюшка! Ежели не гневаешься за пирог-от, я даже буду сказывать...

— Толкуй, толкуй. Пирог новый испечем!— сказал Пугачев, вслушиваясь в торопливую речь депутата.

— Я тебе по правде, я уж врать не стану,— я ведь депутат, эвот и значок у меня золотой. А сам-то я грамотей. Шибкий грамотей я, у попа учился,— тараторил лысый, низенький мужичок в длинном-оде-зачьем тулупчике. Он, видимо, знал себе цену. старался вести себя независимо — то побочивался, то выставлял вперед ногу в непомерно большом сапоге, то подхватывал спускавшиеся рукава.— Живу я, значит, в Бугуруслане, и пронеслась там молва, что на Янке император объявился. А я, прямо сказать, не верю. Знаю, что Петр-то Федорыч давно умер, дополненно мне это ведомо. А вскорости и от государыни указы воспоминывали, что якобы появившийся — не кто прочий, как Емельян Пугачев, беглый с Дону казак.

Пугачева покорило, он перевел плечами, испытующе прищурил глаза на говорившего. И все присутствующие зашевелились, закашляли.

— Я и этому веры не дал,— наморщив прыщеватый лоб, продолжал, как ни в чем не бывало, мужичонка.— Все манифесты врут! Катерина и о Петре Федорыче публикацию давала, что скоропостижно помре, мол. Врет! Убили!... Орловы его убили... Я то знаю, я депутат Большой комиссии...

— Стой, Давыдов!— прервал его Пугачев.— Царица врала, и ты заврался, мелешь, как мельница. Как же меня убили, когда вот он — я?.. Пред тобой сижу.

— Батюшка, ваше величество!— запрокинув бородатую лысую голову и ударяя себя в грудь, закричал Давыдов.— Да теперичь-то, как своими очам-то тебя узрел, так и я в разум пришел, теперичь-то и я вижу, что ты царь Петр Федорыч! А ведь издаля-то не видно. А башки-то наши темные, выработывают плохо. И вот, ваше величество, извольте слушать... Намеднишь наехали на наш Бугуруслан сто калмыков со своим старшиной, Фокою Алексеевым, разграбили все обывательские дома, и мой домишка претерпел, выгнали весь народ на площадь,

спрашивают: «Кому служите?» Тут мы, старики, отвечаем: «Прежде служили государыне, а ныне желаем служить государю Петру Федорычу». — «Ну, коли желаете послужить батюшке,— говорит тут калмыцкий старшина,— так выберите от себя сколького человек да пошлите к самому государю для поклона и объявите самолично верноподданническое свое усердие». Вот нас двоих, самолучших людей, и выбрал народ-от, и пирогов напекли тебе, батюшка... Да вишь, с пирогами-то чего стряслось: лошади почавкали! Ах, ах, ах!

— О чем же просите, бугурусланцы?— спросил Пугачев.

— Стой уж!— встряхнул рукавами Давыдов.— А просим мы тако, ваше величество: воспрети наш Бугуруслан впредь зорить и жечь, да не можно ли, батюшка, каким способом награбленное возворотить?

Пугачев с просителями всегда был обходителен. Он сказал, обращаясь к бугурусланцам:

— Ну, спасибо вам, детушки! Я велю, Давыдов, дать тебе указ, чтобы никто никакой обиды не чинил вам. А что у кого пограблено, ты сам розыщи и отпниши в мою канцелярию — для резолюции. Стало, Бугуруслан к моей державе отошел?

! — Так, ваше величество!— воскликнул Давыдов, выпучив глаза и запрокинув голову.— Со всеми селениями к тебе приклонился. Я уж в дороге столкнулся с мужиками: вот вернусь — бекеты везде выставим, солдатшек казенных ловить учнем, оружие станем супротив катерининских отрядов.

— Благодарствую! Почитайин, заготовь указ Гавриле Давыдову, ставлю я его там своим атаманом, и под его команду нарядить отряд в тридцать казаков. Доволен ли, друг мой?

— Ваше величество!— Давыдов повалился на колени.

— В другой раз, как поедешь ко мне с пирогами, так за лошадьми-то следи лучше. А то они у тебя сладкоежки.

— Да уж... Ах, ах, ах!.. Схрумкали, схрумкали, ваше величество! А пироги-то какие!.. С узюмом!

Давыдов и Захлыстов уходили, обласканные. Витюшнов велел им послезавтра зайти в Военную коллегию. Пугачев сказал:

— Ну вот, господа атаманы! Как видите — начинаются великие дела. Что ни день, все к нам да к нам преклоняются пароды. Это восчувствовать надо!— Глаза его блестя, грудь от прилива чувств вздымалась.— А посему давайте-ка сегодня вечером посне-

даем вместе, саблей учиним. А то как бы подарки-то, что атаман Арапов прислал нам,—белорыбицы разные да севрюжины провесные,—как бы, говорю, их тоже лошадки не схрумкали... Ась?

Все засмеялись, засмеялся и Пугачев. Обратясь к Падурову, он сказал:—Слышь-ка, полковник! А ты, как не то, принеси-ка сюды... как ее... карту эту самую с городами да с морями, кою мы взяли в Татищевой. Мы с тобой проверку учиним, что да что отошло к нам, какие заводы да жительства разные.

— Слушаюсь, ваше величество!

— Как-то, помню, зашел я в спальню сына своего любимого, а его граф Панин грамоте учит, карта на стене висит. «А ну-ка, Павлуша,—спрашиваю наследника своего,—покажь-ка, где Москва?» Он тырк пальцем. Я ему: «Верно,—говорю,—молодец! А где Питенбург?» Он опять тырк пальцем. «Верно,—говорю,—хорошо стараешься. А где Киев-град?» Он тырк пальцем... «Врешь,—говорю,—это Уфа... Учись лучше, а то штаны спущу и выдеру. Не погляжу, что наследник!»

Все опять засмеялись, а Падуров, выждав, сказал, обращаясь к Пугачеву:

— Заждался вас, государь, дражайший наследник-то ваш. Вот как мы возле Оренбурга-то застоялись! Мы-то стоим, а время бежит, не ждет...

— Что задумал, полковник? Не тяни.

— Да что, ваше величество... Сказать правду, замечтался я этой ночью о всякой всячине... Взять, скажем, Москву. Слухи ходят, что и там ждет не дождется царя честной народ. А ведь Москва не Яик, государь.

Пугачев молчал, отдувался, как если бы кто внезапно подкинул ему на плечи нелегкую поклажу.

— Ты это зря, полковник, насчет Яика,—ввязался в разговор старик Витошнов.—Оренбург нам почище всякой иной столицы... Опять же, какой дурак вперед лезет, ежели у него враг за спиной во всеоружьи?

— А я так мекаю,—гулко заговорил Максим Горшков, воззрясь на Пугачева.—Оренбург, конечно, супротив Москвы птичка-невеличка... Однако издревле сказано: не сули журавля в небо, а дай синицу в руки. Слыхал, Тимофей Иваныч?

— Как не слышать, слышал,—заволновался Падуров.—Только треба и то помнить: хоть тресни синица, а не быть ей журавлем! Чего зря ума болтает.

Спор оборачивался в перебранку. Приступив о стол ладонью, Пугачев сказал:

— Всякому овощу, детушки, свое время. А наша судьбишка такова: где силой, а где и терпением бери. Нам еще над войском своим потрудиться предлежит. В дальнюю путь собираешься, упряжь как след быть изготвь да коня выкорми... Так-то, Падуров!—закончил он и миролюбиво потрепал полковника по плечу.

Глава двадцать пятая

Боевые мероприятия. Пугачевская военная коллегия. Крутил-завихаривал буран. «Что же тебе надобно, обиженный?»

1

Емельян Иваныч еще загодя отправил повеление приказчику Воскресенского — купца Твердышева — завода, Петру Беспалову: «Исправить тебе великому государю пять гаубиц и тридцать бомбов, и которая из дела выйдет гаубица, представить бы тебе в скором поспешении к великому государю и не жалеть бы государевой казны, — сколько потребно давай работникам, а я тебя за то, великий государь, буду жаловать». Но докатились до Берды слухи, что приказчик Беспалов не больно-то государю усердствует, а, по всем видимостям, хозяйские, купца Твердышева, интересы блюдет.

Пугачев приказал Чике-Зарубину, казаку Ульянову да пушечных дел мастеру Якову Антипову, тоже казацкого рода человеку, не медля отправиться на Воскресенский завод и чинить там строгий надзор за исполнением государева приказа. «А в случае чего — приказчику Петьке Беспалову ожерельице на шею!»

Пугачев особую надежду возлагал на казака Якова Антипова, в пушечных делах особо дотошного.

— Я, батюшка, как поуправлюсь тамо-ка, стану новые пушки вам лить,—сказал горбоносый, рослый Антипов, степенно оглаживая рыжеватую круглую бороду.—Да у меня дружок на заводе проживает — Тимофей, а по прозвищу Коза, такожде по пушечным делам знатец изрядный. Ну-к мы с ним...

— Спасибо, Антипов,—поблагодарил Пугачев.—Сам, друг, ведаешь, сколь велика

нуждица в пушках у нас. Уж поусердствуй. А на заводе пристрел-то пушкам чипите?

— А как же! На заводах-то у нас, батюшка, свои бомбардиры, свои и паводчики.

— Ну, так и бомбардиров доразу отправляй к нам, в стан, при пушках.

— Всех не можно, государь, а которые лишние — отправлю, — и, помолчав, Антипов добавил, моргая рыжими хохлатыми, бровями: — Ежели хватит моего разумения, отчубучу я пушку тебе, ваше величество, на особую статью!

— Каку-таку? Докладывай.

— А вот сам увидишь ужю... Во сне я, быдто наяву, дозрел пушку. Будешь, государь, доволен. Мы ведь, заводские, почитай, с десятков годков поджидаем тебя, батюшка...

С этим Антипов ушел. Прощаясь с Пугачевым, Чика хотел приложиться к его руке, но Пугачев не позволил.

— Давай-ка почеломкаемся, брат, — сказал он. — Пуще всех, Чика, верю тебе. Простой ты, бесхитростный. Что лежит на душе, то и выкладасшь.

Вслед за Чикой были вызваны к царю Хлопуша и яицкий казак Андрей Бородин.

— Вот что, Афанасий Тимофенч, — приветливо обратился Пугачев к Хлопуше-Соколову. — Берн-ка ты три сотни из своего полка заводских людей, а ты, Бородин, — четыре сотни плечких казаков, да идите вы вместе крепость Верхнеозерную брать. Там, сказывают, всякого продовольствия довольно. А как бог не подаст вам удачи, известите меня, тогда прибуду лично, подмогу сотворю.

Под строгим, самолично царским досмотром отряд был снаряжен в поход быстро. Полк работных людей представлял собою немалую силу: люди друг с другом сжились еще на заводах. В Берде они гуртовались по артелям — свои к своим. Когда-то испитые, одетые в рубище, они за время пребывания в армии успели раздобреть и приодеться. Стойкость, сметливость, чувство товарищества присущи были им еще в заводской совместной работе. Поэтому боевые их качества, как впоследствии оказалось, были значительно выше, чем у скопищ простых хлеборобов. Пугачев это знал и претомненно ценил полк заводских людей. Одна беда — их было пока что мало — сот семь-восемь, не боле.

— Знайте, детушки, — напутствовал их Емельян Иванаыч, — у меня, под нашими царскими знаменами, всяк за себя воюет, за весь свой род-племя. А заводы уральские от купчишек да бар в наши, государевы, руки перейдут. И кто по воле своей станет на них работать, тому я, великий государь, доб-

рое жалованье платить учну... И во всяком довольствии отказу вам не будет.

...Как то на военном совещании, полковник Шигаев сказал Пугачеву:

— Нам, батюшка Петр Федорыч, Яицкий-то городок, как-никак, к рукам надо бы прибрать. Ежели Оренбург вскорости не осилим, так зимовать туды подадимся: там и житьельство обширное и съестного для армии хватит... У коменданта Симанова всякого к уса наготовлено вдоволь... Он не Рейнсдорлу-выжиге чета.

— И ты, ваше величество, правильно умыслил, — подхватил Овчинников, — что Хлопушу спосылай Верхнеозерную брать. Как завладеем денежками, да довольствнем, да зарядами с ядрами, тогда уж и Яицкий городок штурмуем.

Старый есаул Витощнов, человек со скуластым лицом и втянутыми щеками, потереблявая седую бородавку, сказал:

— Мое слово, молодцы, — надо нам на нижние яицкие форпосты Мишку Толкачева с манифестом спосылать: пушай он всех казачков забирает к себе... Вот чего надо.

— А к киргизскому Дусали-султану татарина Танганча отрялить, — опасливо косясь на Пугачева (как бы не оборвал его), проговорил торопливо Лысов. — И тоже манифест вручить ему: пушай султан конных киргизов шлет нам поболе.

На следующий день Толкачев и Танганч отправились с манифестом куда следовало, а штаб стал исподволь готовиться к походу на Яицкий городок.

Пугачев спросил главного атамана Овчинникова:

— Знаешь ли ты, Андрей Афанасьич, сколько у нас всего людства? И ведешь ли ты списки?

— А людей, ваше величество, невыпроворот у нас, к десяти тыщам подходит. Списки же сначала я вел, но впоследствии времени бросил... На Кара ты услаи тогда меня.

— Да, брат, всенародство простое ко мне валом валит, — с гордостью промовил Пугачев. — Одна неустойка — командиров мало. Полагаю я, Андрей Афанасьич, офицеров к сему делу приспособить... Сколь их у нас?

— За десяток перевалило, батюшка. Горбатов-то, повый-то, уже впрягся, я ему казачков да парод на полки поручил разбить. Деляга человек и со старанием!

— Его отличить бы, Андрей Афанасьич. Он сам ведь к нам явился. Ты ему на жалованье не скупись, такому и три, и четы-

ре, и все пять рублей в месяц не жалко. Нускай старается. Да и... как бишь его? Шванычу оклад положь. А казакам-то в аккуратности платишь, ась? Смотри, брат!..

— Плачу, плачу! С замшккой, а плачу... Ну, да они свое не упустят. А у меня яным часом и недостача случается в дельгах-то.

— У нас в казне тысяча до десяти, как не боле, лежит. Ничего, не скудаемя.

Пугачев сидел в кресле, позвякивая связкой ключей от «казны», атаман Овчинников, прихрамывая на левую, чуть покорооче, ногу, рассказывал вдоль золоченой горенки.

— При многолюдстве нашем полки-то мочно покрупнее сбить, ваше величество, да на сотни построить. Доведется полковничков нам троих прибавить... Ужо казакский круг выберет и полковников, и сотников с есаулами.

— Гарно! Не ведаю вот, как мне с мужиками и прочим людом быть? Шибко просьбицами одолевают, — жаловался Пугачев. — Как выйду, на колени валятся... У каждого свое — то горе, то обида от соседа, то хлеба подай. Порешил я, о чем и допреждь мы с тобой толковали, утвердить свою Военную коллегию...

— Дело, дело... В Петербурге — своя, у нас — своя.

— Своя, казакская, на казакский лад! Чтобы там и судьи были, и понытчики, и чтобы все по армии дела вершились. И пушай народ туда идет с нуждицей... Маленько годя скляч-ка ты Падурова да Горбатова со Шванычем, они люди бывалые, книжные, пусть мозгами раскинут. Да и сам приходи, Андрей Афанасыч.

Как стало смеркаться, пробралась в царскую кухню красавица Степа. Она покрестилась на образа и, увидав толсторожего Ермижку, сбивавшего мучовкой сметану в крышке, вызвала Ненилу в сенцы.

— Ненилушка, — сказала она, зардевшись, — допусти меня до государя.

— И не подумаю, — крутнула головой Ненила, и глаза ее сразу обзлилились.

— Да ведь он меня, бабюшка, сам присуглашал — приходи, да приходи.

— А наплевать, что присуглашал. Он рад всех баб присуглашать... На што он тебе сдался? У тебя свой хозяин есть. Вот ужо скажу Творогову-то, Ивану Лександрычу-то, он те косы-то долгие поубавит...

— Он уехатчи! А ты меня, Ненилушка, пусти, пусти, желанная...

— Вот прилипла! Иди, ежели совесть потеряла, с чистого крыльца.

— С чистого-т не пустят, стража там. Да и огласка мне ни к чему. А мне бы тояко рубашечку ему передать, сама выпивала шелками, — и она шевельнула узелком подмышкой.

— Рубашечки-то и мы горазды шить. Эвот у меня две татарки гладких на печи спят, нажрались за обедом вдосыт.

Степа сняла с руки бирюзовое колечко и молча сунула его Нениле. Та приняла, поблагодарила и, вздохнув, сказала:

— Ну, ми-пойдем... Только, чур, ненадолго. К нему народ вскорости потянется. Ой, да и стыдобушка с тобой, Степанида!

Когда поднялись они по внутренней из кухни лестнице, Ненила крикнула в покой:

— Эй, ваше велиство! Кундюба тут одна припожаловала к тебе! Прймай!..

А Ермилка, тряхнув чубом и облизнув мучовку широком, как у коня, языком, подумал: «Ну до чего приятно царем быть!»

2

Крепость Верхнеозерная была расположена в ста верстах от Оренбурга — вправо от него, на реке Яике. Афанасий Тимофеевич Хлопуша со своим отрядом двигался по той самой дороге, по которой еще так недавно пробирался к Оренбургу бригадир Корф.

Сравнявшись с Верхнеозерной, Афанасий Тимофеевич сплюнул на далекое расстояние и сказал своим:

— Мы эту на закусочку оставим, а первоначально Ильинскую схрупаем, — и повел отряд еще на сорок две версты вперед, к Ильинской.

Крепость Ильинская была беззащитна, Хлопуша взял ее сразу, забрал деньги, пушки, заряды с ядрами, продовольствие и повернул назад к более сильной Верхнеозерной крепости. Ее защитниками были две пришедших из Сибири роты, около сотни гарнизонных солдат, отряд польских конфедератов, двести калмыков с башкирцами да изрядная горсть казаков. Начальник крепости, полковник Демарин, сделал все приготовления к защите.

В ночь на 23 ноября Хлопуша двинул свое войско на штурм, но захватить крепость врасплох не сумел. Перестрелка длилась все утро, целый день. Хотя калмыки, башкирцы и казаки сразу же передались Хлопуше, сибиряки и поляки сражались стойко, почему и второй штурм оказался безуспешным.

Хлопуша с Андреем Бородиным отступил в Кундуrowsкую слободу и послал царю известие о своей неудаче.

Между тем на вечернем совещании у Пугачева обсуждался важный вопрос об организации Военной коллегии.

— Мы должны какой ни на есть порядок завести, — сказал Пугачев, — чтобы нашему делу порухи не было.

Пугачев жаловался, что мало в войске дисциплины, что его войско не похоже на настоящую армию, что казаки, а глядя на них и прочие, сверх меры пьянствуют и под Оренбург выезжают частенько под хмельком, что по ночам войско орет песни и дерется промежду себя, что иным часом, пользуясь особым своим положением, казаки обижают башкирцев да татар, а то и пришедших к нему, государю, крестьян.

— Промеж моего народа растатурица идет, никакого настоящего уряду нет. Так впредь жить, други мои, не можно, — сетовал Пугачев, со строгостью поглядывая на присутствующих. — Эвот ономьясь, как Чернышев отряд взяли, я сплеховал да своим людям в походном порядке обещать дозволил, а они, паскудники, с радости на вино набросились — через что и Корфа прозевали мы. Ради этого самого я и толкую: к лешему поруху нашу, к лешему растатурицу!

Офицер Андрей Ильич Горбатов со вниманием и одобрительно прислушивался к речам Пугачева.

— Второе дело, — продолжал Пугачев, он поднялся из-за стола и стал рассказывать по горнице, — ...второе дело, как мы в народе суд чиним? Не суд то, а чистое бессудье. Иной час займется сердце, тут и велишь другого общника вздернуть, а обидчика-то облыженный поклеп взвели? Дела, други мои, теперь доведется вершить по правде, не как повелось в судных избах при воеводствах, да при губерниях, да при магистратах, а по чистой правде. Ась? А то эвот ко мне две жалобы поступили, обиженные крестьяне на Митрия Лысова, на полковника моего, челом били: как, мол, ходил он по деревням набирать в мою армию людей, так будто бы справедливых мужиков грабил и битью предавал, а за помещика примется, — добро его себе берет. Я бы Митьку повесил, невзирая, что есть он полковник, да сомневаешься — не врут ли мужики?

— Лысова можно и обыскать... Денежками-то он швыряется, это верно, — сказал Овчинников.

— Третьим делом, — не слушая его, продолжал Пугачев, — учинили ли мы какую не то управу в деревнях, да селах, да в местечках разных, кои нам приклонились?

— Вы административные дела имеете в виду? — подсказал офицер Горбатов.

— Да, да, министративные! Посажены ли там люди наши, а ежели посажены, как они там правят?

Совещание длилось всю ночь до рассвета, было высказано много нужных мыслей. Горбатов сообщил, что он с Падуровым, с двумя грамотными есаулами и при посредстве Овчинникова с Шигаевым составили новое распределение полков. Выделено несколько полков казачьих, остальные люди разбиты по племенным и, так сказать, сословным признакам.

Слушая Горбатова, Пугачев к нему приглядывался и находил в нем стоящего офицера, а себе хорошего советчика.

— Сколько всего народу у нас? — спросил он.

— Полностью еще не подсчитано, — ответил офицер Горбатов, — только полагаю, не менее пятнадцати тысяч.

— А пушек да мортир?

— Восемьдесят шесть, — сказал Овчинников.

Составили списки полковников. Овчинников, оставаясь войсковым атаманом и общим руководителем армии, назначался командовать полком яицких казаков, Творогов — полком илецких казаков, Падуров — полком оренбургских и других казаков, взятых в крепостях, Бядин Семен — полком исецких казаков, Дербетов — полком ставропольских калмыков, Мусса-Алиев — полком каргалтинских татар, мулла Кинзя Арасланов — башкирским полком, Хлопуша-Соколов — полком заводских работных людей, Шванвич — полком пленных солдат. Всею остальной сборною пехотою — крестьянами и прочими людьми — должен будет командовать казанский татарин Абдул. При артиллерии оставлен Чумаков, к нему в помощь назначен солдат Калмыков, умевший исправлять пушки, и, по личному приказу царя, старый бомбардир Павел Носов, пожелавший остаться на царской службе. Постановлено иметь в каждом полку канцелярию из двух писарей и казначея.

Очень долго, в горячих спорах, составлялся общий регламент для Государственной военной коллегии. На следующий день был позван к Пугачеву штаб армии в полном составе. Оба офицера, а из приближенных — Дмитрий Лысов отсутствовали.

— Вот что, атаманы молодцы!— припоминая слова и выражения Горбатова, обратился Пугачев к приближенным.— Мы, божьею милостью, положили утвердить при себе Государственную военную коллегию, коя поведет все дела нашей армии, а также и порядки, государственные на казачий лад, потому как государству нашему предложит быть державой казачьей. Почиталин! Сделай огласку правил.

Ваня Почиталин (он за короткое пребывание у Пугачева возмужал, раздобыл, раздался в плечах, его перестали кликать «Ваня», величали Иваном Яковлевичем) четко и внятно стал читать регламент.

На Военную коллегию возлагались следующие повседневные заботы: давать указания поставленным от государя командирам, посылаемым в разные места для привлечения народа; ведать доставлением провианта и фуража, разграблением господских пожитков, отобранием в крепостях снаряжения и отправки его в государев стаян; давать указы и наставления тем доброхотам, кои приходят к государю и изъявляют свое усердие набирать в его службу людей или грабить помещичьи дома, а самих помещиков предавать смерти; разбирать жалобы на башкирцев и казаков, в государевой толпе находящихся, кои обиды и разорения народу причиняют; следить строжайше, чтобы башкирские и мецгерьякские богатеи не чинили насилий над русскими крестьянами; наблюдать за бережением отобранного у помещиков и казны добра; в восставших селениях ставить новую власть: старшин либо урядников, «да и того надблести, чтоб те старшины всяк своей чести достоин был как в расправах, так и в поступках военных... также и в защищении верноподанных рабов». О всех важных делах коллегия обязана чинить доклад государю и все важные дела купно с ним решать.

Иван Почиталин огласил регламент и раз и два. Пугачев задал приближенным вопрос, удовлетворяют ли их оглашенные правила, и, получив согласные ответы, велел прочесть именные списки членов Военной коллегии. Почиталин начал:

— Во главе Военной коллегии поставить четырех судей: Максима Шигаева, Андрея Витошнова, Ивана Творогова и Данилу Скобочкина...

Все назначенные судьи враз заговорили: они-де судьями быть не могут, им недосуг, к тому же — малограмотны... Пугачев с силою ударил о стол ладонью:

— Перечить моей воле кладу навсегда запрет! Слышали?!

Все присмирели, иным бросилась в голову

кровь, лица стали красны. Старик Витошнов потупил взор, Шигаев, покашливая, запустил пальцы в надвое расчесанную бороду и замер в этой позе.

— При коллегии также состоят,— продолжал докладывать Почиталин,— секретарь Максим Горшков, думный дяк Иван Почиталин, спречь — я, и четыре понытчика: Иван Герасимов, Супошин, Пустаханов, четвертый — еще не назначенный, а всего будет в Военной коллегии десять человек.

— Тебя, Иван Александрыч, как доброго полковника, я назначаю главным судьей,— сказал Пугачев Творогову.

— Увольте, ваше величество!— встал и низко поклонился Творогов.— Главным пущай будет Витошнов, он много почтенней меня летами.

Пугачев согласился. И отныне на заседаниях Военной коллегии Витошнов всегда сидел выше Творогова, а Шигаев хотя и ниже их обоих сидел, но как был он человек замысловатый и государем самый любимый, то судьбы больше следовали его советам. Наиболее грамотным из всех был секретарь — Максим Горшков.

Так возникла знаменитая Военная коллегия Емельяна Пугачева.

Пока длилось это совещание, в лагере казаков был созван круг, на котором утверждался список полковников, сотников и есаулов. При оглашении большинства имен круг кричал: «Годен! Годен!» А когда кто-либо был казакам не по мысли, круг кричал: «Долой! Не годен!» — и выбирал своих людей.

3

По зову Хлопуши Пугачев не медля выступил в поход со всеми яицкими казаками и с частью артиллерии. Заместителем своим в Берде он назначил Максима Шигаева. По дороге добровольно к Пугачеву присоединился небольшой отряд художонных казаков, высланных Рейнсдорпом за сеном.

Утром 26 ноября, соединясь с отрядом Хлопуши, Пугачев двинулся к Верхнеозерной и приказал обстреливать крепость из пушек, ружей и сайдаков. Наезжавшие на крепость кучки казаков голосили часовым:

— Пускай ваши солдаты не палят в нас, а выходят с покорностью, ведь под крепость подступил сам государь! Он наградит вас!

— У нас, в России, государыня Екатерина Алексеевна,— отвечали с валу,— окромя нее, нет у нас государя!

С полдня Пугачев с Овчинниковым повели свой полуторатысячный отряд на штурм.

Однако крепость защищалась стойко, поражая противника метким огнем. Япские казаки и приведенные Хлопушей заводские крестьяне пришли в замешательство.

— Грудью, други, грудью!— кричал Пугачев, разъезжая между оробевшими казаками.— На штурм! На слом!

— Поди-ка, сунься!— орали ему в ответ из толпы.— Супротивник-то вон каку пальбу ведет... Пули нам в лоб летят...

— Вперед, детушки, вперед!— не унимался Пугачев, стреляя из пистолета и бросаясь в самые опасные места. Вот конь царя, подбитый картечью, взвился на дыбы, опрокинулся, едва не подмял своего хозяина.

Во рву и возле ворот уже полегло немало штурмующих казаков и заводских крестьян.

— Кусается враг!— сердито сказал Пугачев.

К вечеру штурм был прекращен, войска отошли в Кундуrowsкую слободу. Урон в пугачевской силе был порядочный, особенно среди заводских людей: дружные, отважные в бою, они, к сожалению, были плохими наездниками, на лошадей залезали неуклюже, нагая животоми, да и седел под ними не было,— сидели кое-как на неоселанных башкирских лошадях, прикрытых лишь войлочным потником либо рогожей.

Взятая на днях Хлопушей крепость Ильинская снова была занята отрядом майора Заева, шедшего, по распоряжению генерала Станиславского, на помощь Верхнеозерной.

Пугачев всей силой двинулся к Ильинской крепости. Штурм был быстр и кровопролитен. Несмотря на упорное сопротивление гарнизона, крепость была взята, майор Заев взрублен, четверо офицеров, лекарь Егерсон и около двухсот нижних чинов убиты. Уцелевшая команда помилована. Два офицера — Камешков и Воропов — были Пугачевым опрошены:

— Пошто вы против меня, своего государя, идете? \

— Ты не государь нам!— закричал старший офицер Воропов.— Ты самозванец! Ты бунтовщик! Народ обманываешь!

— Геть, изменник!— вспылил Пугачев.— Да я из твоего дедушки прикажу костью наделать.

Он велел тотчас обоих офицеров повесить. Ильинская крепость была сожжена, взяты пушки, пленным обрезаны косы. Захвачен проходивший возле крепости караван в двадцать пять верблюдов с двадцатью бухарцами. Пугачев приказал разделить товары между япскими казаками. Обрадованные казаки кричали государю «ура».

Было получено угрожающее известие, что

генерал Станиславский двигается сюда из Орской крепости, он уже подходит к Губерлинским горам, расположенным на полпути между Ильинской и Орской крепостями. Пугачев, остерегаясь встречи с войсками генерала, спешно повернул в Берду. На верблюдах погрузили оружие, снаряжение, снятую с убитых одежду и выступили в дорогу толпой в две тысячи двести человек при двенадцати пушках.

Крутил-завихаривал еще с вечера начавшийся буран. Во рву, возле догоравшей крепости, немало свежие сугробы. Сквозь белесую муть темнели торчавшие из снега конские, вверх копытами, ноги, окоченевшие трупы людей. Ветер мел-перекачивал по рыхлым сугробам две казацкие шапки, а там из снежной заструги торчала рука с зажатым в горсти, неопасным теперь, ножом.

Было морозно. Пугачев в дороге стал зябнуть, выпил вина, пересел в кибитку.

Пугачев оробел перед генералом Станиславским, а тот испугался Пугачева и, узнав про участь майора Заева, отступил в Орскую крепость.

Здесь Станиславского адал приказ генерала Деколонта немедленно отступать на север, в Верхнеяпскую крепость.

Таким образом, Деколонт, находившийся в Троицкой крепости, не только не шел на выручку Оренбурга, но допустил совершенно обважить от воинской силы обширную область. Он опасался за целостность Исетской провинции, горные заводы которой были охвачены волнением, его беспокоила также судьба Екатеринбург — административного центра горной промышленности на Урале. Он вместе с тем знал, что в Башкирии пламя мятежа разгорается, что всякое сообщение с Оренбургом прервано, что отдельные отряды пугачевцев безнаказанно хозяйничают во многих местах Башкирии, что ими заняты многие уральские заводы¹.

Видя столь угрожающую обстановку в крае и не имея воинских сил для предотвращения мятежа хотя бы в Исетской провинции, Деколонт обратился к сибирскому губернатору Чичерину за помощью.

Однако губернатор Денис Чичерин и сам не располагал достаточным количеством воинской силы, чтоб охранять обширнейший Сибирский край от «повсеместно распространеннейшей, подобно моровому поветрию, пугачевской заразы». А между тем признаки этой «заразы» уже начали обнаруживаться и в Челябинске, и в Омске, и даже в Тобольске.

Уже ходили слухи, что башкирские пол-

¹ Усть-Ивановский, Троицкий, Кухтурский и др.

чища, разоряя и предавая огню попутные селения, подступают к Уфе, и что этому крупному административному центру грозит участь Оренбурга.

Казанский губернатор Брант и военачальник, точно так же пришли в замешательство, не зная, что им делать. Все их взоры были устремлены на Петербург: только Петербург спешной помощью мог придушить мятежные страсти в народе.

Но Петербург, во главе с Екатериной, еще не был осведомлен о масштабах восстания. Петербург сам был связан по рукам затянувшейся войной с Турцией, у Петербурга не было свободных войск. А сверх того — и это самое главное — правящие круги столицы все еще недооценивали крупного значения событий, совершавшихся в Оренбургском крае, на Южном Урале и по ту сторону Уральского хребта.

Итак, несомненный перевес воинских сил и возможностей был пока что на стороне Пугачева. Население относилось к нему с большим сочувствием, тогда как во всем правительственным карательным мероприятиям оно было настроено то холодно, то открыто враждебно. Поэтому военная удача почти всюду сопутствовала Пугачеву.

Но чем дольше длилась осада Оренбурга, тем трудней становилось народной армии удерживать за собою все свои преимущества. Чрезмерное сиденье Пугачева под Оренбургом дало правительству Екатерины возможность осмотреться и накопить воинскую силу, которая «едва ли не страшна была и соседям», как признавали открыто в Петербурге. И недаром Екатерина, в связи с разгромом Чернышева, писала Волконскому: «В несчастии сем можно почесть за счастье, что сии канальи привязались два месяца целые к Оренбургу, а не далее куда пошли».

4

Пугачев приехал в Берду еще засветло. Следуя мимо квартиры Творогова, он на этот раз не увидел Стешы, обычно поджидавшей его приезд на крыльчке. (Впоследствии Пешнила сообщила ему, что Иван Александрыч Творогов, пока царь ходил воевать, жестоко оттресал Стешу за косы и отправил ее под конвоем в свою сторону.)

Но дороге стояли на коленях припленные крестьяне с котомками за плечами, кланялись, простирали к Пугачеву руки, о чем-то молили.

Пугачев кивал народу головой ласково, как мог, говорил:

— Детушки! Со всякой пуждипей спешите

те в Военную коллегию, она все разберет, и хлеба вам выдаст, и жительство определит.

А вот и Военная коллегия, — обширная приземистая, в шесть окон на улицу, изба с вывеской, ярко намалеванной офицером Горбатовым на гладко оструганной доске.

Пугачев приостановился, хотел зайти.

Чрез слетка приоткрытую дверь вылетал на улицу дружный хохот, громкий разговор. «Чего это там ржут?» — с неприязнью подумал Пугачев и поехал дальше, ко двору.

В Военной коллегии пред судьями стоял плечистый, коротконогий дядя. Он одет в заплатаанный полубубок с чужого плеча — талия спустилась очень низко, полы волочились по земле; он лохматый, густобородый, нос у него картошкой, в глубоко посаженных глазах озлобленность, тоска и безнадежность. Он говорил звонким тешорком, по-смешному растягивая слова, взмахивая рукой, приотптывая лаптем.

Главный судья, старик Витошнов, посмеиваясь в седую бороденку над любопытным рассказом приземистого дяди, предложил:

— А пойдемте-ка все к государю, благо прибыл он, поздравим с благополучным возвращением, да пушай-ка он, батюшка, на потешение себе, послушает этого самого Сидора Бородавкина...

Все с Витошновым согласились, толпой повалили к Пугачеву.

После общих приветствий, поздравлений и расспросов главный судья учинил доклад государю о делах и велел думному дьяку Почиталину огласить отправленные Военной коллегией и полученные ею бумаги.

— Гарно! — сказал подконец Пугачев. — А это что за человек...

Все сидели за столом, а стоявший возле двери мужичок, приударив себя в грудь, с азартом закричал:

— Надежа! Надежа! — и повалился на колени. — Дозволь слово молвить, кормилец наш! — Уперев ладони в пол, он земно поклонился Пугачеву, из кармана разметавшегося по полу длинного полубубка выпало куриное яйцо и покатилося к ногам батюшки. Все заулыбались. Пугачев, подметив, что у крестьянина нет на левой руке указательного пальца, проговорил:

— Встань, раб мой! С чем пришел и откуда?

— Не смею и встать-то я. Недостойн! — Лохматый мужичок подполз к яйцу, подобрал его, поднялся, выложил на стол целый десяток печеных яиц и, кланяясь, сказал:

— Уж не прогневайся, прими. Как узнали, что я к тебе правлюсь, всего подавали

в дороге-то,— вот и шубенку дали, а то в соломе обмотанный шел, как сноп. Ребятишки, бывало, как завидят, так и заблажат: «Сноп, сноп! Глянь — сноп идет!..» — Он задвигал густыми бровями и стал рассказывать, почесывая бока:

— Шытан был и клещами жжен... И было мне пятьсот плетей и три стряски — все косточки во мне с мест спевелены...

— Палец? — спросил Пугачев.

— Как топором вдарили — и палец отлетел... Хотели напрочь и рученьку рубить, да вот парика небесная спасла. А с чего зачалось? Бежал я от своего помещика-людоеда — от гвардии секунд-майора в отставке Лукьянова. Он, боров гладкий, и рученьку-то мою покалечил... Ну, я хвост в зубы да й тягался!.. Вот пымали меня юд городом Ставрополем. А сам-то я с-под Арзамасу. «Как прозвище?» — «Сидор Бородавкин», — молвлю. Вот ладно. И приходит к воеводе какой-то ставропольский барин и говорит ему: «Сто лет тому назад, — говорит, — у моего прадеда мужик Бородавкин сбежал. Ну так этот, — говорит, — от его кореню. Он мой», — говорит. «Как отца звать?» — спрашивает. «Иваном», — говорю. «А деда?» — «Деда — Петром». — «А прадеда?» — «Не упомню». Тогда воевода с баринном поглядели в книгу, говорят мне: «Прадеда твоего Пантелеем звать, ты от его рода и происходишь. Верно ли?» — «Нет, — говорю, — не верно. Мой прадед и все сродственники на одном погосте лежат за много сотен верст отсель, под Арзамасом, а здесь-ка Ставрополь. Это не мой прадедущка, которого вы Пантелеем называете, а я не ваш». — «Ах, Пантелей не твой прадедущка, а ты не наш? Пороть!» Вот спустили мне штаны, заголили рубаху, шишко выдрали. Опосля порки сказал я: «Точно... прадедущку моего, — превечный покой его головушка, Пантелеем звали, я от него произошел».

Члены Военной коллегии густо заулыбались, Пугачев нахмурился.

— Тогда новый мой барин отвез меня в свое поместье. А тут узнал другой барин, свойный сосед, приехал и говорит: «Этот мужичок Бородавкин — мой! У моего прадеда, — говорит, — тоже крепостной Бородавкин был, да сто лет тому назад минуло, как в бегах скрылся... Стало быть, этот мужик мой». Опять меня в суд поволокли, и оба-два барина со мной. Опять сызнава зачал меня воевода выпытывать: «Как батьку твоего звать?» — «Иваном», — отвечаю. «Врешь, не Иваном, а Гарасимом». Я сказал тут: «Какой же он Гарасим, когда завсегда Иваном звался. Я не в согласии: он по сей день

жив-здоров, мой батька-то, подите справьтесь». — «Нам, — говорят, — справляться не приходится, а только что отец твой — Гарасим. Снимай порты!» Тогда я сказал: «Ну, будь по вашему, пушай родителя моего, Ивана, Гарасимом звать. Я в согласии». — «Ну, а деда как звать, а прадедущку?» — «Дедущку Петром звать, а прадедущку, как-жись, Пантелеем». — «Врешь, вшивая твоя борода! — загайкал на меня, затопал ногами воевода, — он, должно, со второго барина взятку-то ухапал поболее, чем с первого. — Твой дед не Петр, а Гаврила, а прадед не Пантелей, а Никанор. От его кореню ты и проходишь. И в списках так... Подать плетей сюда!» И принялись меня самопшью пороть. Тут, знамо дело, довелось мне призываться, что и от этого Бородавкина я второй раз произошел.

Максим Горшков уткнулся в шапку и заперхал сильным хохотком, а глядя на него, дружно всхохотнули и прочие. Пугачев укорчиво сказал:

— Тут не до смеху. Сказывай, дядя...

— И только я, батюшка ты мой, вымолвил, что у меня-де прадедущка не Пантелей, а Никанор, а родной отец мой не Иван, а Гарасим, как судьи с воеводой затопали, завоптали: «Ах ты, холопская твоя душа! Как ты посмел переменные речи молвить?! То Пантелей у тебя прадед, то Никанор. За переменные речи — пытка!» Я аж закачался. Ну, думаю, порешат мою жизнь на пытке-то. Слышу, оба барина руготню из-за меня подняли: «Мой он! Не отдам!» — «Нет, мой!» Да давай плевать в морды, а тут и в волосы друг другу вцепились. Судьи разнимать их кинулись и про меня забыли, а я чох за окно да на Волгу, да в челн, — так вот и утек. Да прямо к тебе, надежа-государь, хощь казни, хощь милувай!..

Пугачев почесал за ухом, посмотрел просительно на судей, сказал:

— Что же тебе надобно, обиженный?

От тихого, уветливо произнесенного самим батюшкой слова «обиженный», у мужика брызнули слезы, но, сделав над собою усилие, он сдержался. Глубоко зажавшие глаза его вслед за слезами вдруг наполнились яростью, он закричал, ударяя себя в грудь кулаком:

— Дай мне, надежа-государь, человек с двадцать разбойничков, брошусь я помещиков резать!.. Перво-наперво свою барина, гвардии секунд-майора Лукьянова, жизни решу, а тут воеводу. уступаю да двух бартех, что за прадедущек каких-то шкуру со спины мне спустили... Душа из них вон, дай!

— Утихомирься, друг мой,—махнул рукой Пугачев и, подумав, спросил Бородавкина:— Вот ты гораздо много места прощал,— ну как крестьянство-то там? Приклянутся ли они ко мне, государю своему?

— И не спрашивай, надежда-государь!— опять закричал Бородавкин.— Только дай весточку, да подмогу какую не по прищии, да свою грамоту орленую... А уж там... Чего тут... Ведь я к тебе тридцать шесть парней привел да четверых солдат беглых. Шесть самопалов у них, звероловы — мужички-то...

Военная коллегия, по совету Пугачева, постановила: организовать легкий полевой отряд из сотни крестьян, весь отряд посадить на лошадей, придать к нему двадцать башкирцев да десять человек испытанных казаков, во главе поставить сотника Калинина и челобитчика — крестьянина Бородавкина, снабдить их манифестами для оглашения в людных местах и раздачи населению, направить отряд в сторону Волги, указав руководителям отряда их задачи: разорять помещичьи гнезда, провиант и фураж доставлять на барских и крестьянских подводах в Военную коллегию, подымать народ именем государя Петра Федоровича Третьего.

Подобных отрядов в двадцать пять, пятьдесят, а иногда и в сто человек создавалось Военной коллегией все больше и больше, благо находились охотники с горячими головами. Эти боевые отряды посылались во все стороны от Оренбурга. Помимо того, то здесь, то там, в близких и весьма отдаленных от Оренбурга местах, самостоятельно возникали мятежные «толпы» со своими атаманами, со своими полковниками, а иногда и собственными Петрами Федоровичами Третьими. Особенно много таких «толп», как грибов после дождя, зарождалось в башкирских степях, а также на Южном и Среднем Урале.

Глава двадцать шестая

Веселая застольица, Митька Лысов пьет водичку. «Граф Чернышев». Два офицера

1

Ужины проходили шумно. Витюшнов знал старинные проголозные песни, дрожащим тенорком он клал зачин, атаманы подхватывали. Пели складно, зычными голосами, запивали водкой и господскими винами. Пугачев был с воздержанием, он выпил только четыре чары при общих тостах — в честь его

здоровья, за Павла Петровича, за ящичких казаков, за всю его армию.

Плешивый, брюхатенький, но упругий телом Митька Лысов тоже выпивал с воздержанием, стараясь перелить вино в стакан соседа или незаметно выплеснуть под стол. Однако он притворился пьяным и вел себя занозисто. Он старался всех уязвить, ужалить, за последнее время стал ядовит и опасен, как гадука. То начинал подсмеиваться над Иваном Твороговым, делать оскорбительные намеки насчет поведения его супруги: То встречал в дружный хор певцов и своим бараньим голоском нарочно путал песню, нарочно искажал ее мотив. То подмигивал Пугачеву хитрым глазом и, подергивая свою козлиную бороденку, слюняво, под шумок, гнусил:

— Ваше императорское величество! Хи-хи-хи!.. Давайте опрокинем чушурышку за здравие всемилоостивейшей государыни Екатерины, ведь мы ей присягу чинили. Да, поди, и сам ты присягал ей... Хи-хи-хи!..

Пугачев, разговаривавший с Падуровым, так сдвинул брови и таким взором ожег Митьку, что тот заерзал по лавке, забубнил: «Не буду, не буду, стрель ты в штыку!»

Гостей было человек тридцать. Кроме главных военачальников и судей, за столом и вдоль стен сидели наиболее видные из простых ящичких казаков: есаулы, сотники, старик Пустобаев, а также два каргалинских татарина и царский толмач Идорка, увешанный кривыми ножами.

Широкоплечий крепыш, с коротко подстриженными бородой и усами, Идорка сидел против Пугачева, неотрывно глядел на него восхищенными глазами, и когда Митька Лысов начинал батюшке докучать, он, скрипнув зубами, хватался за нож, ждал от бачки-осударя повеления.

У печки, возле маленького столика, торчал спиной ко всем поп Иван, в рясе, лантях и архиерейской митре, украденной казаками в Егорьевской оренбургской церкви. Поп к ужину приглашен не был, затесался сюда сам, без зова, однако Пугачев, увидя его, разрешил ему остаться. Лицо у попа широкое, простое, борода мочальная, в воспаленных глазах бездонная тоска, под глазами мешки, а меж бровями резкая складка, изобличавшая, что носит отец Иван в душе какое-то незабываемое горе. Никто не знал его прошлой жизни, да он об ней никому и не заикался.

Хотя он был пьяница, расстрига, или, как его называли, «распон», но богомольная Пе-

нила все же видела в нем носителя божественной благодати, поэтому подавала ему пищу столь же усердно, как и самому государю. Возле пона у стенки стоял штоф водки, отец Иван приглядывался к нему с усердием. Ему уже, верно, стало казаться, что начинается землетрясение, он хватался за стол, за стены, дико кричал: «Спасайся, братия!» и силился подняться, чтоб бежать, но сделать этого был не в состоянии. Гости, глядя на пона, впадали в веселый хохот.

Седоголовый Витошнов, раскрасневшийся, пьяненький, оперев локоть о стол, голосисто сатынул:

Как на Яике, на родной реке,
Собирались в круг все казаченьки.

Его зачин разом дружно подхватили. Могучий старичина Пустобаев, широко разевая заросший густыми волосами рот, рывал своим басом оглушающе. Не утерпел и губастый Ермилка, притаивший из кухни две большие чашки со студнем из телячьих пожок. Он сунул студеня на стол, тряхнул чубом и складно вылезел в песню таким высоким, почти женским голосом, что все посмотрели на него с приятностью. Пробовал подстать и поп Иван, но для него опять началось землетрясение, он снова заорал: «Спасайся!» и едва усидел на стуле. А песня гремела.

Атаман боец круту, речь держал,
Кругу речь держал, сам приказывал:
— Вы, казаченьки прирубешные,
Вы не кланяйтесь каменной Москве.
Каменная Москва Яик выпила,
Осетров в реке всех повывела,
К нашей волюшке подбирается,
Нас в дугу согнуть собирается...

Но вот все набросились на студеня. Когда управились с этим вкусным блюдом, запели веселую — «Колечко, ты мое колечко». Давилин отворил дверь на лестницу в кухню, крикнул вниз.

— Эй, Ненила! Пироги-то готовы? Подавай!

В кухне засуетились. Пироги были горячие, румяные, с рыбой, с мясом.

— А где с узюмом пирог? — спросила своих помощников управная Ненила.

— А эвот, эвот!.. Я его ермилкиным портиками накрыла, чтоб отволгла корка, — ответила подслеповатая баба Лукерья.

Молодая татарка, Ненила и подоспевший Ермилка потащили пироги наверх.

— Ура! Пироги плывут! — закричал застенчивый Ваня Почиталин и тотчас же смутился.

— Ура, ура! — подхватили пажде на еду казаки.

— Караул! Спасайся! — во всю глотку заорал пон Иван и, не выдержав землетрясения, под общий хохот упал со стула.

От горячих пирогов валит вкусный дух.

— А вот с узюмом, самый сладкий! Ешьте, ешьте! — расхваливала сладный пирог румяная Ненила.

— Гуляй, ребята, покамест Москва не проведала! — занозисто ввинтил свой голос в общий гомон Митька Лысов.

— А что нам Москва? Мы сами себе Москва! — вскозырились казаки.

— Уюшь горько, да ждкю! Давай еще! — басит Пустобаев и пудовой лапой тянется к вину. — С самим батюшкой гуляем, а ни с кем-нибудь!

— ...на кораблике уплыл, — продолжает слегка захмелевший Пугачев рассказывать о своем прежнем житье-бытье. — Как взяли паруса, так ветрище и попер нас. Таким-то побытом я и стал ходить из царства в царство, из королевства в королевство.

Атаманы, особливо же чиновная казачья молодежь, попевали усердно управляться с пирогами и с любопытством внимать речам обожаемого батюшки.

— И наущает меня турецкий султан: «Что же, говорит, ты по чужим-то огородам шагаешь, у тебя, говорит, свой зеленый сад цветет. Толкнись-ка, говорит, к орлам своим бородатым, к казакам, да присутласи, говорит, их к себе. А уж через них — получишь ли, нет ли, что тебе по праву следует. И так, говорит, ты, ваше величество, ни за что, ни про что десять лет мытарилсь без места своего...

— Вот султан-то и верно угадал, — проговорил опрятно одетый, всегда трезвый Максим Шигаев. — Казаки-то бородастые первые вас, ваше величество, Петр Федорыч, поддержали.

— Ежели они первые подмогу дали мне, так первыми и в государстве моем будут, — важно и громко произнес Пугачев и покосился на Митьку Лысова, как бы ожидая от него новых дерзостей. — Япккое казачество у самого сердца моего.

Митька Лысов прыснул в шапку, но Шигаев, сердито хлестнув его по спине рушником, как плетью, спросил казаков:

— Слышали, молодцы, что батюшка-то изволил сказать? Мы первые у него будем.

— Благодарим, благодарим! — закричали казаки и стали чокаться с Пугачевым. — Будь здоров, отец наш! Жить да быть тебе, долго здравствовать!

— Благодарствую, — ответил Пугачев и со всеми выпил. — Да, детушка, придет пора-времечко, да ежели бог благословит, я на

Питенбурхе крест поставлю, а своей столицей ваш Яицкий городок объявлю. И сотворю по всей земле казацкое царство! И вечная будет всем воля!

— Ура! — закричала застольница, и все, кроме Лысова, снова чокнулись с Пугачевым.

— А с изменниками своими, что сгубить измыслили меня, — ну, не протневайся, — как донесет меня бог до Питера... жарко будет им. Я им не токмо что головы покусую, а черева из них повытаскиваю. Геть, злыдни! — и Пугачев, сверкнув углами глаз на Лысова, грохнул кулаком о столешницу. Все вздрогнули, стаканы подскочили, а Митька Лысов, схватившись за виски, прынул прочь от Пугачева.

Чавканье, бряк посуды постепенно стихали, гости были сыты, холостые казаки крадучись рассовывали себе по карманам куски пирогов, все стали еще прилежней вслушиваться в речи Пугачева. Он говорил плавно, неторопливо, делая паузы и внимательно всматриваясь в лица гостей.

— А чем я не люб-то им был, великим вельможам, генералам да князьям? А вот послушайте. Еще когда тетушка моя была жива, Елизавета Петровна (Митька Лысов опять хихикнул, но тотчас зажал рот рукой), а потом и при моем царствовании многие бояре да и середовичи шли своей волей в отставку, уезжали на жительство в поместья свои и зорили своих бедных крестьян. Я начал таковых нерадивцев к службе принуждать, и намеренье имел отнять от них деревни, а их посадить на жалованье. А судей неправедных, кои с народа последние потроха выматывают, хотел я смерти предавать. Как они увидали, что я крут, навроче дедушки моего Петра Великого. (Митька Лысов, оскалив гнилые зубы, снова нацелился хихикнуть, но Шигаев крепко пнул его под столом ногой.) ...как увидали они поров мой, сразу тут и умыслили всякие козни мне чинить, аму козачь подо мной. Как-то поехал я по Неве в шляпке — разгуляться, они меня и заарестовали и разлые поклены на меня стали возводить. И быть бы мне убитым, да господь не допустил коснуться главы помазанника своего, — добрые люди спасли меня. И стал я странствовать с того времечка по свету, и какой только нужды я не претерпел...

Пьяный Пустобаев, распустив веником бородину и приоткрыв рот, сидел за столом юпна копною; он смотрел в глаза батюшки, в три ручья лил слезы умиления, утирался скатертью. А Митька Лысов крутил носом,

подмигивал казакам, язвительно прикрикивал.

— Да что уж об этом толковать-то, — продолжал Пугачев задумчивым, негромким голосом. — Вы сами ведаете, в каком несчастном виде обрели меня; вся одежка-то моя гроша ломаного не стоила, — бродяга и бродяга! А вот теперь, ежели его святая воля будет (Пугачев усердно перекрестился), утвержду царство праведное, чтобы гарный порядок был и чтобы народ не знал отягощения. А там от всех дел отрешусь, странствовать пойду!

Он замолк, и все молчали, сидели смиренно, не шевелясь, только Пустобаев все еще кривил рот от избытка чувств и пошмаркивался в скатерть да поп Иван, лежа на полу, логонько во сне постанывал, охал.

— Ну, а как же, Петр Федорыч, держава-то российская? — спросил Максим Шигаев и прищелкнул пальцами по надвое расчесанной бороде. — Как же с державою, ежели вы странствовать уйдете? Кто же царствовать-то станет?

— А на царство пусть садится сын мой, Павел Петрович, — подумав, ответил Пугачев, и на лице его изобразилась скорь, правое веко задергалось.

Жизнерадостный Творогов, взглянув быстрыми глазами в загрустившие глаза царя, ударил ладонь в ладонь, крикнул:

— Братцы казаки! А ну, песню! А ну, притоннем!

Вновь стало шумно. Грянула веселая хорровая. Сытые казаки быстро поднялись, сбросили чехмени, оттащили спящего попа к сторонке, встряхнули чубами и под пару балалаек да под пяток дудок пустились в пляс.

За столом остались Пугачев с Горшковым да Митька Лысов. Оперев локти о стол, обхватив ладонями голову, похожий на скопца, Горшков притворился спящим, даже чуть похрапывал: ему необходимо знать, как будет вести себя с государем полковник Лысов.

Дмитрий Лысов, ехидно улыбаясь, оттопырив зад и принавав грудью к столу, воззрился в упор на батюшку. Шея у Митьки втянулась в плечи, сутулая спина еще больше сторбилась, лысина тускло блестела, он походил на большую лучеглазую жабу, которая вот-вот прыгнет на Пугачева и вопьет ему в горло. И верно: он подлезолзил по скамейке к батюшке, схватил его левую руку повыше кисти двумя руками и лукаво заглянул ему в глаза. Пугачев сверху вниз смотрел на него, настороженно и с гадливостью.

— Давай, давай, давай мириться, — забормотал Лысов пьяным голосом, облизывая запекшиеся губы. — Ведь я тебя в тот-то раз, ей-богу, по ошибке... пикой-то пырнул! Хи-хи-хи!.. Ведь я люблю тебя, слышь, шибко люблю! А ты не веришь? Хи-хи-хи!..

— Ты пообидел меня не пикой, а иным манером, — сказал Пугачев. — За пику, за окаянство твоё мы какие то ещё сквитаемся, а вот как за Харлову я с тобой разочтусь, не ведаю... Пошто ты, бес, прикончил Харлову? Ведь она мне шибко по сердцу была. Я ведь по сей день скучаю о ней. — Пугачев часто замигал, нижняя губа его задрожала, он тихо, почти шепотом, проговорил: — Жалко мне увенную, вот как жалко!.. Может, такая одна на свете была, разъединственная!..

Лысов как-то слабоумно захихикал, заперхал, стал крутить руку Пугачева. Тот с сильным напряжением сказал:

— Брось, а пет — ударю!

— Ты, брат, не пугай, не пугай! Хотя ты и Пугач, а я не шибко-то пугаюсь тебя Емельян Федорыч, то, бишь, как тебя... Петр Иваныч... Тьфу!.. Петр Федорыч... Хи-хи-хи!.. (Максим Горшков, все еще притворяющийся спящим, сквозь топот залихватских плясунов, сквозь шум и песни с трудом ловил речь Лысова.) Ведь Чика-то поведал мне по чистой совести, кто ты есть. Царь, царь! Ваше величество! Хи-хи-хи! Да ты, батюшка, не страшись: ведь здесь все пьяные, вишь, как орут, наш разговор никому не чутко. А я, видит бог, люблю тебя, а вот ты злобишься на раба своего, рад бы живьем меня схрупать, да я ершист, уколешь глотку-то, батюшка, Емельян Федорыч, то, бишь, как тебя?! — брызгая слюной, бормотал Лысов, а сам все накручивал-крутил руку батюшке.

В глазах Пугачева загорелись злобные огни, он хотел крикнуть, чтоб вывели Митьку вон, или выхватить саблю и смахнуть гадюке голову. Однако страшным усилием воли он сдержался, только зубами скрипел и вырвал руку из лап пьяного Лысова. Тот чуть не опрокинулся на пол от сильного рывка.

— Хи-хи-хи!.. Силен, силен, слов нет! А слажу с тобой, ей-ей — слажу! Исподтишка, из-за уголочка! Ишь ты... царь!

Тут, бросив прикидываться спящим, вдруг вздыбил коренастый, угрюмый Максим Горшков. Уперев кулаки в стол, он хрипло сказал Лысову:

— Ты что? Ты это что тут раскудахтался?

— А ты, голомордый чорт, чего цепля-

ешься?! — вскочив, закричал Лысов на безбородого, безусого Горшкова и выругался матерно.

Горшков мигнул наблюдавшему их разговор Шигаеву, и оба они, пробираясь между плясунами, быстро вышли.

2

Между тем веселье было в полной силе: присвист, балалайки, дудки, плясы — дом дрожал. Грузно /клядаясь вправо-влево, тряс боками семипудовый Пустобаев, разухабисто выкрикивал:

— Эх, кахы, кахы, кахы! Эх! Кахы, кахы, кахы!

Верткий Падуров выкручивал с носка на каблук забористые штучки. Скакали веселыми козлами Иван Александрыч Творогов в паре с атаманом Овчинниковым. Возле них крутились каруселью, взвизгивали, гикали молодые казаки. Вот втерлась в круг танцоров пышнотелая Ненила, за ней — молоденькая черноглазая татарка, за ней — подслеповатая полупьяная баба Лукерья в новых линовых лаптях и чубастый Ермилка с наклеенными под носом, смеха ради, черными усами. И все это — живое, пестрое — загайкало, с силой завертелось в вихре.

Митька Лысов, продолжая ругаться и бубнить, схватил самую большую кружку, до краев наполнил ее вином и с жадностью, единым духом, выпил. Затем грохнул кружку об пол, вскочил на стол, спиной к Пугачеву, и диким голосом заорал что-то несуразное в толпу.

— Полковник Лысов, слезь! — озлобленно выкрикнул из хоровода плясунов разгорячившийся атаман Овчинников и резко взмахнул рукой: — Геть! Государю смотреть мешаешь.

— Ха! Государь... — истонно, стараясь заглушить шумливый, беснующийся в плясе хоровод, закричал Лысов. — Знаю, знаю я, кто батюшка-то наш... Емелька Пугач он, вот кто! В манифестах государыни все пропечатано... — Он, видимо, потерял всякую волю над собой и безудержно катился в пропасть. — Гей, казаки! Выбирай меня едино... единоподержавцем... Завтра же Оренбург возьмем, по колено в золоте ходить станем, в господском вине купаться!

Пугачев впился руками в локотники кресла, с треском выворотил их, завопил:

— Заткните ему глотку!

Горбоясыи Овчинников, схватив Лысова за ворот яркочерного чекмена, уже сдернул буяна со стола, опрокинул его на пол, начал душить. Лысов отчаянно барахтался, хрипел.

— Стой, Андрей Афанасьич! Не трог полковника!— кинулся к Овчинникову прибежавший с улицы Максим Горшков,— он в меховом чекмене, в шапке и с плеткой через плечо, в его жестких глазах решимость.

Пляска чуть приостановилась, наиболее трезвые казаки уже вытягивали шею, стараясь всмотреться и понять, что такое среди начальства приключилось.

— Митя, друг!— меж тем обратился Горшков к Лысову.— Что ты наделал... Ведь тут тебя... Ах, друг!.. Пойдем, Митя, тихо-мирно на улку.

— Макся, ты?— проквикал насмерть испугавшийся Лысов и стал чихать.— Этот сволота Овчинников... за горло... чоловушка гудит. Охмелел я... Ох, батюшки мои!.. Пойдем, пойдем скорей.

Была звездная ночь с морозцем. Свежий воздух благотворно вламывался в грудь, охлаждал взбудораженную кровь, прогонял хмельной угар из головы. Во дворе уныло тявкала продрогшая собака, гремела цепью. У высокого столба с сигнальным колоколом маячили черными тенями два неподвижных человека. Вдоль прясла привязаны казачьи лошади, они хрупали овес, отфыркивались, всхрапывали.

— Веди меня, домой, Макся, я тебе два золотых перстня подарю,— бубнил Лысов.— Стой! Колодец... Водички бы. Душа горит, обделал. Чхи!

Колодец был с высоким журавлем, с железной бабьей.

— Кто тебе, Лысов, сказал про батюшку, что он Пугачев?— сквозь зубы прошипел Максим Горшков.

— А сам Чика сказал мне это, вот кто.

— Ой, врешь! А ежели и так, ежели проболтался кто тебе, так по тайности, да и зазря, потому как ты сволочь,— скоргоча зубами, шипел Горшков,— ты всякому болты болтаешь. Мы знаем, как ты третьеводнись в тверезом виде нашим илецким казакам о том же самом брякал, а вчерась — трем пленным гренадерам, их комуцал...

— А вот буду брякать, буду! А вы...

Он не договорил. Сзади подскочил Идорка, размахнулся, ударил Митьку кирпичом по затылку. Тот враз уткнулся по плечи в колодезный сруб.

— Спускай!

Татарин схватил Митьку за ноги и с силой сбросил его вниз головой в колодец.

Загремела собачья цепь, залаял Шарик. За высоким тыном, вдоль дороги, громко переговаривалась, ехал казачий дозор. Во дворе, сквозь подернутые морозом стекла, туск-

нели огоньки, просилась шаружу заунывная степная песня.

— А где Митя?— спросил Андрей Овчинников, вошедшего в шумное зальце Горшкова.

— Воду пьет,— басом сказал Горшков и задвигал бровями; глаза его хмурые, неспокойные, взбаламученное сердце гулко колотилось.

Казаки с Витошновым дружно вывели песню. Затем, усталые, сытые, принеся благодарность государю, начали расходиться по домам. Остались только ближние.

Поднялся с полу проспавшийся поп Иван, разыскал митру, истоптанную каблуками плясунов. Качая головой и причмокивая, он выправил ее, пообчистил, водрузил на кулатую голову, поклонился Пугачеву в пояс и поблагодарил за угощенье.

— Не обессудь,— ответил мрачный Пугачев.— Пошто ты в архиерейском колпаке-то?

— А как я могу в другом виде пред очами отца отечества, государя самого, явиться?

— Изрядно говоришь. А на ногах лапти... Пошто вы ему, господа атаманы, сапожники не добудете?

— Ох, царь батюшка,— опустил поп голову,— добывали мне благодетели, добывали... да я... я возьму да и пропью, благословясь. Вот все корят меня — пьяница, пьяница! А чего ради виновывцем-то стал аз, грешный, об этом-то никто не спросит.

— Ну, ступай себе, отец Иван, ступай! Да не жри винцо-то зря, а то я выгоню, а нет — так плетьми велю выдрать.

Чем свет труп Дмитрия Лысова был извлечен из колодца и повешен. Палач Иван Бурнов вздымал его на виселицу охотно и с легким сердцем. А ближние все еще сидели с государем в молчанку, грызли поджаренные арбузные семечки или вели разговор о пустяках. О скандальном же поступке Лысова никто не вымолвил слова. Пугачева стало клонить ко сну. Последним уходил от хозяина Шигаев.

— А где же полковник Лысов, запьянцовская голова?— спросил Шигаева Емельян Иваныч.— На фатеру, что ли, увели его али под арестом?

— Нет, ваше величество,— ответил Шигаев резко.— Подмок он маненько, ну так и подвесили его... сушиться.

Пугачев не вдруг понял. А поняв, сказал глухо:

— Так, так... Что ж, сам в петлю влез...

По армии было объявлено:

«Постановлением Военной коллегии полковник Дмитрий Лысов, уличенный в госу-

дарственной измене и незаконных грабежах среди населения, приговорен к казни смертию, что и совершено».

Труп Митьки висел три дня, на четвертый был брошен в овраг, на съедение волкам и хищным птицам.

3

По прибытии в Берду Перфильев сразу направился к своему доброму знакомцу, с которым важивал в Яицком городке хлеб-соль, главному атаману Овчинникову. Атаман с грамотным молодым казаком Ершиком проверял записи по выдаче казакам жалованья: Ершик диктовал цифры, атаман щелкал па счетах.

— Ба! Перфиша! Да откуда это ты?— воскликнул Овчинников, пораженный столь неожиданной встречей с другом. Обнявши гостя, он отправил Ершика домой, а свою прислугу — форсистую, в скрипучих сапогах и бусах Фросю — послал к Горшкову:— Добудь-ка нам, Девонька, веселенький штоф хмельничку!

Гость и хозяин остались одни. Перфильеву сорок три года, Овчинников был почти на десять лет моложе его, а уже имел при Пугачеве высокое звание. За короткое время атаманства он привык властвовать, был строг и тверд характером. Серыми умными глазами уставился он на гостя с некоторым подозрением. Перфильев исподлобья смотрел на хозяина: его некрасивое, изрытое оспой лицо было сурово. Так они старались испытать один другого. Да оно и понятно: время стояло необычное, смутное, когда нельзя поручиться не только за приятеля, но и, дико сказать, — за самого себя.

Вспомнив, однако, про свою давнишнюю дружбу, они оба, как по уговору, облегченно захохотали. Овчинников потрепал приятеля по плечу, сказал:

— Толкуй-ка, брат, толкуй!

— А я, друг, из Петербурга, Андрей Афанасьич, — пряча завивавшие глаза, пробасил Перфильев. — А как прослышал, что здесь-ка объявился своею персоной государь, не стерпел, бросил все дела да тайком и ударился сюда, послужить хочу батюшке.

— Хм... — недоверчиво хмыкнул длиннопольный, горбопсый Овчинников, оглаживая кудрявую, как овечья шерсть, бороду. — Да ведь ты же был нашими казаками послан в Питер по войсковым делам. Как же ты, не окончивши делов, улепетнул отсюда?

— А чего же попусту поклоны там терять, Андрей Афанасьич? Рассудил я, что

милости искать сподручней у самого государя.

— Так-то оно так, теперича мы и сами резолюции кладем, — сказал Овчинников. — Только нам, лишким казакам, все милости от пресветлого государя уже дадены по манифесту его. А вот, ответь-ка мне, кто тебя уполномочил у государя для казаков милости просить? Да никто! И еще ответь: каким ты побитом из Питера мог вырваться самовольно? Нам, Перфиша, ведомо, что Захар Чернышев вот как за депутатами нашего войска надзор блюдет. Да тебя уже двадцать разов изловили бы, покудов ты сюда ехал. Сдается мне, лукавишь ты, Перфиша, чего-то, какую-то утайку творишь от меня.

Перфильев надул губы, отвернулся, побарабанил пальцами по столу, затем с сердцем сказал:

— Не чаял я, что этак примешь меня, Андрей Афанасьич, с подозрением с таким.

— Вот и обидно, что своему приятелю врешь ты. Сознайся, ведь врешь, Перфильев? Я, брат, не терплю этого. У нас, брат, знаешь как? У нас, брат, здесь-ка строго!

Перфильев взглянул в серые похолодевшие глаза Овчинникова и сказал, вздохнув:

— Ну, слушай! Опасался я тебе открыться-то, понимаешь? Как был ты простой казак, так моя душа была пред тобой настежь была, а теперь ты самоглавный атаман. Эвот у тебя сабия-то какая, вся в серебре да золоте, и чекмень с позументом. Думал, наляпаешь на себя лишнего, так ты...

— А ты говори, говори о деле-то, а то девка скоро вернется, — нетерпеливо сказал Овчинников и раскинул по столу крепкие руки.

— Прямо, без утайки скажу, — решительно начал Перфильев. — Послал меня сюда граф Алексей Григорьевич Орлов и дал повеленье казаков от самозванца отвращать, чтобы они от него отстали, да связали бы его. Тогда, сказал мне граф Орлов, вы и все милости от государыни примете...

— Вот видишь, Перфиша, не прав ли я был, что в подозрении держал тебя? — тяжело задыхав, сказал Овчинников и нахмурил брови. Наступило томительное молчание. Затем Овчинников заговорил:

— Начхай ты па этого Орлова, мы сами здесь-ка Орловы-Чернышевы, графья! Плюнь, говорю, да служи верно батюшке, — он точный государь, Петр Третий. Эвот его даже офицеры признают. Недавно Горбатов, офицер из Оренбурга, перебежал к нам, так и он в государе угерился довольно. А что Екатерина нашего государя злодеем обзывает, так это ее дело: ей полаться некуда, ей так

и так надобно простой народ обмануть. Идем, идем Перфилья, к государю нашему, откройся ему во всем...

Пугачев только что вернулся с Маячной горы, куда он ездил с офицером Горбатовым, дававшим ему наглядное пояснение, как Оренбургская крепость устроена.

Войдя во дворец, Овчинников велел Перфильеву обождать в прихожей, а сам, прихрамывая, прошел в золоченое зальце, и доложил Пугачеву о приехавшем из Петербурга казаке.

— Покличь!— сказал Пугачев.— А сам ты, Андрей Афанасьич, шагай до Военной коллегии, пушай все сюда идут. Надо нам под Уфу человека слать, чтобы обначать дело наше... Полагаю Чику туда спосылать, благо он на Воскресенском заводе, не столь уж далеко от Уфы-то.

— Отменно, ваше величество, рассудить изволили! Чика хорош будет. Ну-к, я пошел в коллегию.

Войдя к царю и взглянув на чернородото, плечистого человека в простой казачьей одежде и в длинных валенках, Перфильев сразу заскучал сердцем. «Вот так царь,— подумал он,— мужик — мужик и есть... Ах, сукин сын Овчинников!»— и повалился Пугачеву в ноги. Сделал это вопреки всем своим мыслям, как если бы кто с силою толкнул его: на колени! Столь суров и повелителен был взгляд у этого детины.

— Встань и расскажи, что ты в Пштенбурхе делал?

— Был по войсковому делу там, да, не дождавшись резолюции, коль скоро услышал, что вы здесь-ка объявились, бежал, чтоб служить вам верой и правдой.

— Истину ли говоришь, мне, есаул? Не кривишь ли? Не шпионствовать ли прибыл к нам? Ась?

— Нет, ваше величество, супротив вас я никакого намерения не имею. Не такой я человек, чтобы...

— Ой ли? Ну, гарно, гарно... В таком разе оставайся, служи верно, как все казаки ваши мне служат,— Пугачев разглядывал Перфильева в упор. Он казался ему человеком твердым, воинственным и как будто честным. Лишь не нравились глубоко запавшие глаза казака, то, как исподлобья, сурово и хмуро, смотрел он.— А ежели ты с каким-либо злым умыслом прислан, так я и того не больно-то боюсь: пистолеты при мне, сабля также, да и есть кому заступиться за меня.— Казалось, он улыбался, пошучивал.— Ну, иди с богом!

Когда Перфильев вышел чрез сени на крыльцо, охрана яицких казаков, расступив-

лась перед ним. Его все знали, спрашивали наперебой:

— Каким побытом пожаловал к нам, Афанасий Петрович? Ну, каково в Питере? Каково в дороге? Поди, государыня-коварница войско по нашу душу шлет?

— Нет, не бойтесь, братья казаки,— здороваясь со знакомыми, говорил коренастый, небольшого роста Перфильев, рыжеватые щетинистые усы его топорщились.— В Питере есть слых, что промежду великим князем Павлом Петровичем и его матерью черная кошка юлит. Бьдто бы Навел-то Петрович сторону родителя держать собирается, Петра Федорыча!

— Дай-то бог!— откликнулись хором казаки.

Перфильев, умный и бывалый, после краткой встречи с Пугачевым враз почувал в нем человека настоящего, сильного духом. «Эка диво, что в мужицком шебуре! Он ведь с похода прибыл... А вот как взглянул в глаза, так насквозь, кажись, и усмотрел меня... Эх, дурак я, дурак!.. Не открылся сразу! Беспременно открыться надо. Все на чистоту доложить!»

К явившейся во дворец Военной коллегии Пугачев вышел не вдруг. Он облекся в рядный, с позументами, кафтан, в бархатные, малинового цвета, шаровары, в желтые татарские, питые шелками, сапоги.

Иван Почиталин вытащил из кармана бутылку с чернилами, Максим Горшков — свою. Поднялась вслед им из кухни Ненила, заму-мела:

— Это чего же вы, молодцы, озоруете? Склянок поганых понатыркали на чистую скатерть... Опрокинете, кому стирать? Убереите!

Почиталин с Горшковым, оробев крикливой бабы, сняли чернильные бутылки. Ненила сдернула скатерть, сказала:

— Ладно и на голым столе наварачкаете бумажонки-то, не бозпать какие писаря великие!..— Она пренебрежительно крутнула носом.— Эта скатерть батюшке дарепая... Сама Стеша Творогова препоручила ему... Ой, да уж... Не глядели б мои глаза... Чего палились-то на меня, Иван Александрыч? Не узнал? Твоя хозяйка батюшке скатертку-то приперла!.. Твоя, твря!

— Геть на кухню!— притопнул на нее появившийся на пороге Пугачев.

Ненилу как ветром сдунуло. Иван Творогов, вдрот помрачнев, метал косые взгляды на батюшку и, потеребливая черную, в крупных кольцах, небольшую бороду свою, сидел все время молча.

Пугачев приказал думному дьяму Ивану

Почиталину составить имешпой указ Чие-Зарубину, находившемуся на Воскресенском заводе, чтоб он не медля отправлялся в Уфу и принял начальство над всей собравшейся там толпой усердных государю войнов.

— Окромя того... Ну-ка ты, Горшков, возьми бумажку, подбортней которая, голубенскую, да напиши Ивану Зарубину тако: «Я, божней милостью, Петр Федорыч Третий, император, тебя, Зарубина-Чика, облекаю навсегда полной мочью. И всем, как военным, тако и гражданского и церковного званья особам, тебе во всем погораться. Облекаю тебя полной мочью казнить и миловать».

Пока Горшков, сопя и выделывая губами натужливые гримасы, писал, Пугачев, наморщив полуприкрытый челкой лоб, выскивал в своей памяти знаменитых генералов, с коими приходилось ему встречаться. «Граф Чернышев, с ним мы Берлин брали!» — мысленно воскликнул Пугачев и спросил Горшкова:

— Ну, что, господин секретарь, написал, что ли? Пиши еще: «И жалуюм мы тебя, Ивана Зарубина, в графы Чернышевы. Отсе-лева ты больше не Зарубин-Чика, а именоваться тебе по всей государственной форме тако: граф Чернышев...» Господа Военная коллегия, поздравляю вас с новым произведенным графом! И напередки нам надобно, внушения ради, званья графьев да князьев раздавать достойным. Давилили! Прикажи, чтоб из пушки три раза вдарили в честь нашего казачьего графа Чернышева. А ты, Овчинников, не забудь объявить по полкам, чтобы честь-честью касаемо чина и порядка.

4

С казнию полковника Лысова воздух очистился: атаманы и все приближенные вздохнули свободнее. На душе Пугачева тоже полегчало, как будто ему вырвали большой, сгнивший зуб.

За последнее время Дмитрий Лысов стал вносить в армию начало распада. По природе предприимчивый, юркий и коварный, он явно завидовал Пугачеву, умышлял тем или иным манером свалить его, захватить власть и объявить себя не каким-то там царем, а доподлинным казачьим батькой. В этом духе он и действовал: копил богатства для подкупа нужных людей, старался расположить к себе казачьи низы, крестьян и солдат. Привлек на свою сторону офицера Волжинского. Эти кривые пути полковника впоследствии узнались.

Пугачевскому штабу немалых трудов стоило прикончить брожение в армии. Военной кол-

легкой было предано казни через повешение двенадцать явных изменников. Начались побегии заговорщиков. Беглецов ловили, вешали. Большую, полезную для порядка работу среди казаков, крестьян и солдат вели офицер Горбатов, атаман Витошнов, Горшков, Шитаев, полковник Падуров, отчасти офицер Шванвич. К речам депутата Большой комиссии, полковника Падурова, всегда носившего на себе депутатский золотой знак, народ относился с особым доверием. Верили люди и слову Горбатова, они уважали его как офицера, самовольно передавшегося батюшке.

— Мы, как люди образованные и в Петербурге подолгу жившие, — говорил Горбатов, — можем вас заверить и даже клятвой подтвердить, что тот, который называет себя государем, есть истинный государь Петр Третий, уж вы никакого сомнения не держите в мыслях. Он и в военном деле искусен, и ум у него крепкий, и государственные знания его обширны, да и по портретам зело схож, только что бороду отпустил.

Эти речи говорились не как заранее приготовленные, а как случайные дружеские беседы во время обычных учебных стрельбищ при полевых экзерцициях. Пугачеву было известно усердие офицеров, он прислал в подарок Горбатову и Шванвичу по отличной шубе.

Офицер Волжинский, живший в одной избе со Шванвичем, был арестован и казнен. Ему вменялась в вину государственная измена. Он подговаривал своих гренадер сесть ночью на казачьих коней ш мчать к губернатору Рейнсдорпу. Выдала его кучка гренадер, в том числе девице Шванвича, старый скуластый Фаддей Киселев. Он еще в походе невлюбил Волжинского и непрерывно следил за ним.

В избу к Шванвичу, с небольшим мешком в руке, вошел Андрей Горбатов.

— Здравствуйте, Шванвич, — поприветствовал он молодого человека, читавшего возле окна книгу. — Вы не удивляйтесь, что я вломился в вашу келью без зова. Меня полковник Падуров направил к вам в сожители. Которая койка Волжинского? Эта? Чудесно! Жизнь есть жизнь, война есть война! Один ad patres, — другой — на его место! — Он бросил мешок в угол, снял шубу.

Молодые люди пожали друг другу руки. После казни Волжинского юный Шванвич стал замкнут, осторожен. С Горбатовым он уже успел встретиться несколько раз, Горбатов был симпатичен ему.

— Слушайте, Горбатов, я ласкаю себя надеждой, что мы сойдемся хорошо.

— Что ж, Шванвич, я буду рад этому. Чувствую, что вы не как тот дурак, Волжинский,— взял да и сгубил себя безрассудно. Да разве побегги устраивают так?.. Сущий дурак он! Без меры болтал и... все прочее.

Горбатов отдернул занавеску в кухню, взглянул на печку, спросил:

— Вашего личарды, Киселева, нету?

— За бараниной ушел.

— Так вот,— раздумчиво сказал Горбатов, протер пальцами, как гребнем, по волнистым белокурым волосам, сел на кровать и уставился в лицо Шванвича темными улыбающимися глазами.— Так вот, Шванвич, можно нас с вами поздравить: мы оба на службе у самозванца... Да, да, у самозванца! Но какого! Талантлив, как сто чертей...

— О каком вы самозванце?— воскликнул Шванвич с явным притворством, тем не менее вздрогнув, как при ударе.— Он же царь, Петр Третий. Я безоглядно почитаю его царем.

— Ай, ай, Шванвич! Как вам не стыдно прикидываться!— по-серьезному возразил Горбатов, глаза его перестали улыбаться.— Какой там царь! Он такой же царь, как царица Екатерина— мать всех скорбящих! Ха-ха!.. Оба неплохие актеры, только наш играет по воле народной, а та— под дудку сиятельной знати... Что, не так?

Шванвич вскочил с табуретки и принялся зволнозвонно выптагивать из угла в угол.

— Эге, голубчик, Михаил Александрыч, да вы поблбднели, вы не в себе. Уж не опасаетесь ли, что предам вас? Не бойтесь. Ведь вот я же нимало не страшусь. Впрочем, вы можете поступать, как вам угодно... К смерти я с равнодушием отношусь.

— Да что вы, Горбатов, с ума сошли!— вскричал Шванвич с жаром.— Какой же я предатель!

— Успокойтесь, успокойтесь! Я к слову. А что касасемо этой казацкой затеи с мятежом, то я прямо скажу: как бы мы ни расцпнивали дело, оно кончатся зело печально. И меня, и вас ждет виселица, плаха. Словом, наша приверженность к царю-лиходею нам даром не пройдет. Вы юны, вы очень юны, Шванвич, и еще не знаете, на какую месть способно вельможное дворянство...

— Стойте!— прервал его Шванвич, густо краснея и прихмуриваясь.— Вы так говорите, такой держите со мной тон, будто наперед видите во мне труса.

— Нисколько, Шванвич. Я нимало не сомневаюсь в вашем мужестве, и потому-то столь откровенен с вами... Да я и в помыс-

лах не допускаю, что вы... что вы захотите повредить мне...

— Я— вам? Ни-ко-гда!

— Верю... Итак, мы с вами служим царю, а всего лишь казаку Пугачеву. И, ежели угодно, не ему, а черни... И вот я спрашиваю вас, бывшего офицера армии ее величества, спрашиваю в упор: готовы ли вы служить самозванцу?— Горбатов, сидя на кровати, засунул кисти рук подмышки, вытянул ногу, глядел вприщур на Шванвича. Тот остановился, присел у стола, беспомощно вскинул голову.

— Собственно, об этом я еще не думал как следует,— сказал он уклончиво и припал спиной к стене.— Пожалуй, думал, но... но... не решил еще вполне, как быть.

— Голубчик!— воскликнул Горбатов почти весело.— Да нам с вами и решать-то нечего. Судьба да обстоятельства за нас решили все. Нам с вами в удел— либо конец, как Волжинскому, от руки Пугачева, либо честная служба ему. Какой еще третий предвидите выход? Бегство?..

— Хотя бы...

— Ах, милый юноша... Но ведь там, куда вы убежите, спросят вас: а скажи-ка, мол, почему это тридцать два чернышевских офицера и сам Чернышев предпочли измене мученическую смерть, а ты, голубчик, на кровати у злодея полеживал да под окошком книжечки читал?.. Что вы на это ответите? «Виновсю, мол, прошибся», как солдаты отвечают. «Ага,— скажут,— прошибся!» Срубите этому офицеру голову, чтоб он в другой раз не прошибался!» Ну так как, Михаил Александрыч, решена наша судьба или не решена? .

Крепко привалившись спиной к стене, Шванвич некоторое время молчал, грудь его вздымалась, на верхней губе проступили капли пота.

— Вы правы... Все кончено!— глухо произнес он и опустил голову.

Глядя на него с лаской и жалостью, Горбатов продолжал:

— Сухая правда говорится: «Попала в колесо собака— пищит, да бежит». Так и мы. Впрочем, я-то в колесо не попал, меня-то в плен не забирал никто, я сам в свою судьбу скакнул. А почему? Надобно знать жизнь мою, чтобы понять— почему так жестокая, нещальная жизнь!.. Как-нибудь на досуге расскажу вам про себя.

— Расскажите сейчас.

— Нет, после. Итак, мой друг... Друг, не правда ли? (Вспыхнув, Шванвич кивнул в знак согласия головою.) Итак, дорогой друг, одна, неизбежная для нас обоих, развязка

говорит нам о многом... И прежде всего о том, что жизнь и долголетие **нашего** царя есть **наша** жизнь, его преуспевание — **наш** успех... Да только ли наш? Ведь речь идет об участии несметного числа людей, кои он, реченный царь, сулит вольную волю... Читали вы его манифест да указы? Вот... А ежели так, то подь к чорту всякое колебание мыслей!.. Вытянем! А вытянем общее дело — спасем и себя. Что, не так? Ей-богу, так!.. И еще: вы, Шванвич, к нему, к царю-то нашему, присматривались? Присмотритесь-ка, очень советую. Конечно Вольтера и Монтескье он сроду не читывал, зато в нем есть что-то такое... этакое, как-бы вам сказать? Ну, одним словом — силища! Такой человек, ежели что вбил себе в голову, запросто не сдаст. Такого за здорово-живешь не взять. Что, не так? Так, так, Шванвич! Вы заметили, как он атаманов своих в лапах держит?

— Атаманы у него дельные, — отозвался Шванвич, оживляясь.

— Дельные, башковитые, отчаянные! — проговорил Горбатов. — Слушайте, Шванвич, а вы, надеюсь, чем-нибудь меня покормите?

— Всенепременно! Сейчас придет мой Киселев, он нами и займется. И, прошу вас, Горбатов, при Киселеве ни слова. Ради бога! Он за царя-батюшку пам горло перервет. Старик он честный, только упряма, как бык.

— А я все ж таки попытался бы потолковать с ним с глазу на глаз... И открыть ему карты.

— Что вы, что вы! Да он тотчас с доносом побегит, даром, что яничится со мной.

— Ну, уж и с доносом. Понятно, надо умючи. А знаете, кто мог бы с Киселевым претомненно потолковать и в свою веру залучить? Да сам Пугачев, ей-ей!

— Вы полагаете?

— Не полагаю, а уверен! Говорю так, потому что собственными ушами слышал тайный разговор Пугачева в избе Военной коллегии с чернышевским старым солдатом. Вот уж поистине — чудо!

— Тайный разговор? Но как же это случилось? — воскликнул Шванвич. — Как вы могли слышать их беседу?

— Да очень просто. Я в ту минуту в канцелярии, за печкой притаившись, сидел, — и, торопясь, с видимым удовольствием, Горбатов рассказал про встречу Пугачева со своим старым другом, бомбардиром Носовым.

Шванвич слушал с открытым ртом, с широко распахнутыми глазами.

— Ага, поняли, как он, царь-то наш,

простую душу всколыхнуть может? Поняли? — говорил Горбатов, потягиваясь и разминая мускулы. — Я подобных слов, как те слова его бомбардиру Носову, вовек не слыхивал. Верите ли, слушая тогда этого Пугачева, я еле сдерживал себя, чтоб не выскочить из своего убежища и не повалиться вместе со стариком ему в ноги! Всякие видал я виды, а тут и меня пропало. Вы понимаете: в каких-нибудь две-три минуты он прямо-таки преобразил старого, закоренелого солдата... Из яростного своего врага преобразил в человека, понявшего смысл происходящего. Ведь он, этот Носов-то, известного ему Омелку тут же царем назвал! Это... это, знаете ли, чего-нибудь да стоит! Так, с пяток на голову перевернуть темную душу может не всякий. Подобной силой владеют только натуры избранные, независимо от того, в каком звании они родились. Да! Особый он человек, широкой души человек и, вдобавок, не малого внутреннего зрения: он берет сердце человеческое теплым, трепыхающимся, берет рукой уверенной... И вот, Шванвич, сияя там, за печкою, я дал себе клятву служить ему до издыхания.

У Шванвича от волнения кружилась голова, он закинул под затылок скрещенные руки и утомленно прикрыл глаза.

— А я еще буду с ним говорить, — слышал он голос Горбатова. — Всенепременно! И по-серьезному! Душа в душу.

Шванвич молчал. Вдруг Горбатов громко засмеялся.

— Слушайте, Шванвич!.. Вскоре после того разговора, подслушанного, я подошел к Павлу Носову, — пушку он баником чистил, — и спрашиваю: «С кем это ты, бомбардир, намерился в Военной коллегии разговор иметь?» А он даже в лице изменился, да как зыкнет на меня: «С царем! С самим государем! А ты, ваше благородие, думал, с кем?» — да глазами в меня, как штыком... Вот какие дела, дружище мой! — Помолчав некоторое время, Горбатов продолжал: — Вы, Шванвич, наверно, немало удивлены, что я вот так... вломился к вам, и по первому же абугу с самого щекотливого вопроса закрутил. Ведь так? Не изумляйтесь, милый юноша. Я многое слышал про вашего родителя, про то, например, как он вздумал подпортить ударом шпаги портрет красавчика Орлова. Ваш родитель человек честный, стойкий, с характером. И вы в него! Я многих ваших гренадер расспрашивал про вас... Ну, так вот... По этому самому я с вами и разоткровенничался.

За окнами послышался нарастающий шум. Горбатов припик к окну. С песнями, с криками шагали мимо избы подвыпившие казаки, человек сорок. Они вели под руки какого-то коренастого, видимо почетного, казака с повязанным через плечо белым полотенцем. Впереди несли штоф, а на капустном листе — закуску. Вот, приостановились, подали почетному казаку чарку, подали закуску, закричали «ура» и тронулись дальше.

Вошел, прихрамывая, старый гренадер Киселев.

— Что там за шум, Фаддей? — спросил его Горбатов. — Кого это вели по улице с песнями?

— А это, ваше благородие, какой-то Перфильев прибыл. С самого Питера! Его Перфильев казаки зовут. А кто он, в точности — не ведаю. Уж я подумал, не с весточкой ли какой к государю от Павла Петровича? Был слух, будто великий князь с маткой-то своей повздорил, полки сюда ведет, отцу родимому на помощь, нашему Петру Федорычу, императору.

Горбатов прикрикнул, подмигнув Шванвичу и сказал, обращаясь к старику:

— А тебе матки-то Павла Петровича нешто не жалко? Ведь, как-никак, сын единокровный — и вдруг супротив нее пошел!

— Кого жалко? — сердито возрился старик на Горбатова. — Да такую жалеть — себя потерять надо! Небось, она батюшку-то нашего, а своего богоданного супруга, не шибко-то жалела, как на жизнь-то его покушалася... Он ведь, наш батюшка, сколько годов из-за нее, коварницы, чужие земли топтал, без роду-племени скитался...

Старый гренадер все повышал и повышал голос, поблескивая на молодых людей взором возмущения, а те, затаившись, глядели на него взволнованно и жадно.

Не выдержав, Шванвич сорвался с места, подлетел к старику, обнял его, как медвежонок пестуна, и принялся тискать его, ширво покачивать вправо-влево:

— Верно, верно, Фаддейшка! Ну и крепко! Ой, да ж заборист ты, старый хренок, аж молодому в нос шибает!

Затем они втроем стали полудневать, аппетитно унывая ржаной хлеб с малосольным салом. При этом старик, как ни упрашивали его занять место за столом, устроился со своим куском в сторонке, поближе к печке: сердцем-то льви, а чин да порядок соблюдай!

Чудодей-помещик. Губернатор Брант жует губами. Пожар все шире да шире. Чесноковка

1

Искры брошены — вспышки, вспышки, пламень и потоки огня. Как подожженная с многих сторон сухая степь, клубится и горит восточная окраина России, охваченная народным волнением.

В Казанской и Оренбургской губерниях, от Саратова до Пензы, от Самары до Арзамаса, широкие тракты и малые проселочные дороги были полным-полны вышедшим из повиновения крестьянством, а также помещиками, торговым и прочим людом, напуганным близкой опасностью. Вооруженные чем попало, толпы мужиков текли громить барские усадьбы, либо, по лесам и долам, к месту нахождения объявившегося «батюшки». Мужики стремились к Пугачеву; дворяне — подальше от него: в Москву, в отдаленные от пагубы губернии.

Направлявшийся в Казань член секретной комиссии, лейб-гвардии Семеновского полка, капитан-поручик Савва Маврин, спрашивал встречных дворян:

— Ради бога, объясните мне, что мне значит? Все куда-то спешат, куда-то передвигаются. Что за причина?

— Ах, сударь! — отвечали ему. — Да разве вы сами-то не понимаете? Наш вам совет, коль службой вы не обязаны, в Казань не ездить... Вертайтесь-ка, сударь, обратно вспять.

Маврин иногда сталкивался на своем пути с явлениями странными, только и возможными в чудаконатой помещичьей России.

Ясное солнечное утро. Легкий морозец. Небо высокое, бледноглубое. Кругом неоглядные снега, тронутые легкой синью. Дорога пряма, широка. По дороге, взбрыкивая певичей медью, несется тройка. Черпобородый ямщик удало посвистывает, поигрывая не странными для прилежной тройки кнутиком. Тройка несется к большому селу с белой церковью. В прекрасном расположении духа Маврин вкатывает на широкую улицу, обставленную с обеих сторон крепкими хозяйственными избами. Возле изб — палисадники, возле палисадников — праздные зеваки: бабы, мужики, ребята. Маврин остановил тройку и вместе с сопровождавшими его тремя солдатами вылез из сапей.

От самой церкви темнела вдоль села бесконечная вереница запряженных великолес-

ных лошадей. Они запряжены цугом, в одну уходившую вдаль линию. Ремешные построики от коня к коню и щегольские шлеи играли на солнце начищенными медными бляхами. Два конюха, молодой и старый, не торопясь и с толком запрягали последнего голубного коня. Лошадиная грива в бумажных цветах, в ярких бантах, резная дуга вызолочена.

— Это который конь-то, Устин Федотыч?— ухмыляясь, полюбопытствовал из толпы глубоглазый, приятного вида старец.

— Сто семьдесят четвертый,— с охотой ответил кудреватый конюх, пробуя, крепко ли прилажена дуга.

— Кто у вас помещик?— спросил Маврин окружившую его группу крестьян.

— А наш барин гвардонец Голованов, Николай Петрович. Наш барин добрецкий, дай бог ему! Он нашего брата, мужика, жалует. А сегодня именинник он, николин день сегодня.

— Так куда ж он от именин уезжает-то?

— А никуда не уезжает. Он только до храма божьего, за обедней молиться будет. Сядет в карету возле свою двorca, да и доедет вот до этой самой церкви. А его дворепто эвот-эвот — рощица-то темнеет, ну ж там и с версту не наберется. А так он никуда не выезжает, окромя церкви, вот уж годов с двадцать все дома да дома...

От поместья скачет рейтар в красном жупане с позументом, кричит:

— Готово, что ли?

— Готово, готово!— отвечает старый конюх.

— Фореиторы, по коням!— командует красный жупан.

Через четыре копя в пятый живо вскочили на лошадиные лоснящиеся спины молодые парни. Они в желтых либреях, в руках у них длинные биты.

Вдали, у дома помещика, рванул раскатыстый, на манер пушечного, выстрел. Это сигнал: «Барин сел в карету».

— Тро-о-ога-ай!— мало помедля, звенящим тенором прокричал красный жупан. И весь поезд в сто семьдесят четыре копя чинпо тронулся вдоль села.

— Эй, на колокольне! Успули, чего ли?

Густым гулом рванул большой колокол. Распахнулись церковные двери, староста с приспешниками торопливо стали расстилать от крыльца на улицу красную ковровую дорожку. Колокол ударил второй и третий раз, неспешный благовест огласил окрестность. Крестьяне, перебежав на церковную сторону, сермяжной стеной выстроились вдоль дороги, воспринимали шагши. Из храма вышло в парче-

вых ризах духовенство — с кадиллом, крестом, зажженной толстой свечой. Вслед за духовенством гурьбой высыпали гости — соседи помещика, с женами, с детьми, и почетные граждане из города.

Сытые кони, похрапывая, потряхивая расчесанными хвостами, шли шагом. Торжественный выезд барина продолжался довольно долго. Блистая свежей лакировкой, огромная карета с золоченым гербом остановилась возле широко распахнутых ворот каменной ограды. И тотчас же воздух огласился залхватским плясовым трезвоухом всех колоколов. Соскочившие с заляток лакеи мигом открыли дверцы кареты и, подхватив барина под ручки, извлекли его на божий свет.

Он приложился ко кресту. Дьякон, едва сдерживая приятную улыбку, бесперечь кадил ему. Гости взяли именинника в шумную атаку с поздравлениями. У всех на душе было празднично. И дьякон, и все гости знали, что предстоит продолжительный роскошный пир: ведь о богаче имениннике на всю губернию гремела слава русского гостеприимства. Официальное пищество обычно продолжалось трое суток, но многие бездельники оставались на именинах, в особом флигеле, вплоть до рождества и разъезжались уже после встречи Нового года. И когда хлебосолозьянин оставлял их и после Нового года погостить, они, кланяясь, говорили:

— Батюшка, Николай Петрович, да ведь мы у вашей милости и так второй уж год живем.

Маврин, чтоб лучше рассмотреть этого барина-чудодея, сбросил в сани шубу и в одном мундире подошел представиться имениннику и тоже, к случаю, поздравить его.

Помещик был шупленький, невысокий старичок, согбенный грузом лет и тяжестью добротной шубы. Умное, сухощекое, с живыми темными глазами, лицо его было приветливо. Он не носил парика, и свои седые, бобриком, волосы красил в черный цвет. Никогда не носил он и многочисленных орденов своих. Под распахнутой шубой синела у него обычная русская поддевка, перехваченная кожаным поясом, а ноги обуты были в крестьянские серые валенки.

Маврин отрекомендовался и поздравил Николая Петровича с днем ангела.

— Премного, премного,— ответил, слегка живнув ему, помещик.— Ласкаю себя надеждой, что... Ну, словом, милости прошу именинного пирожка...

— Счел бы за счастье, Николай Петрович, но как я тороплюсь в Казань по указу его величества...

— Аа-а, Пугачев?! Так, так. Ну, мы его

не больно-то боимся. Справимся! Кланяйтесь Якову Илларионовичу Бранту. Впрочем, ежели надумаете, прошу, прошу... И без стеснения... — он закивал головой, спял брововую шапку, его под руки повели в церковь.

Маврин наскоро закурил в ямской избе, переменял лошадей, и поехал дальше. Сто семьдесят четыре лошади были повернуты и вытянулись вдоль села в обратном порядке. Последний конь, с позолоченной дугой, уже стоял у помещичьих хором, а карета была возле церкви.

Новый ямщик, из крепостных помещика Голованова, вел беседу с Мавриным. Он говорил, что их барин хороший и что его крепостные без малого все живут исправно, а потому, мол, и Пугач барицу не страшен, да к тому же у барина четыре медных пушки да полтора человека, не токмо что вооруженных, но и «дюже обученных стрельбицу» парней да мужиков. Нет, у нас, слава богу, тихо, мужик сидит смиренхонько, не то что у прочих иных господ. Вот ужо баринуд в пути попадаться проезжающему барину всякие народы, так он сам увидит и услышит. Ой, господи... Чего только не болтают, чего только «не выкомаривают»... Мол, это не Пугач, а сам царь Петр Федорович, он, мол, нам волю с землей сулит и льготы будет, а всех помещиков приказывает смерти предавать. «Настанет наше золотое времечко, — чернь гуторит, — мы обязательно верх возьмем и опасаться нам нечего». Вот какие дела-то происходят. Ох, грехи, грехи... Да уж не конец ли свету приближается?

При своем двухдельном переезде от Петербурга до Казани Маврин наслушался немало беспокойных речей, испытал многие от крестьян угрозы: «Ахвищер?! Имай его, братцы, да на березу!»

Впоследствии он доносил императрице: «Торопись прибыть в Казань, некогда мне было всем буянам и предерзателям делать примечания и оных, забирая, отсылать к начальникам, да и невозможно в самом деле, по причине множества их».

2

Казань переживала времена тяжелые. Тревожные слухи плыли, ширились, обыватель не знал, что делать. Губернатор одной рукой старался навести хоть какой-нибудь порядок, другой рукой, подавшись общему настроению, успокоительные свои мероприятия первый же нарушал.

Так, в конце ноября, темной ночью, распихнулись дворские ворота губернаторского дома, и двенадцать возов имущества Бранта

тайно тронулись в более безопасное место — в Козьмодемьянск. А перед рассветом выехали туда же и все семейство его. «Эге-ге-ге», — подумал обыватель, пронюхав о сем происшествии, и впал в еще большее уныние.

Примеры заразительны. Вслед за губернатором и многие крупные казанские чиновники, а вместе с ними и скопившиеся в городе дворяне-беженцы принялись вывозить свое добро в тот же богоспасаемый Козьмодемьянск.

И вот разнесся по Казани слух (может быть, пустил его какой-либо затесавшийся в город пугачевец): «Б городу царь Петр Федорыч с воинством подходит».

Этот слух — очередная выдумка, но жители поверили. И вот зашумела, замутилась Казань. Обыватель ударился в разгул и пьянство.

— Господи, батюшка! — кричали отчаявшиеся. — Погибель пришла на град наш! Что делать будем? Злодей в сорока верстах от нас.

— А пуцай! — перебивали их другие. — Ворота отворим, примем с честью. Пуцай аршинники да госнодишки бегут, нам терять нечего.

Пушцы тоже заторопились грузить свои товары на возы. Народ суетился, бегал со двора во двор, перетаскивал на загорбках, на салазках узлы с пожитками. Людшки старались упрятать куда-нибудь поукромней шемудрый свой скарб, бросали на ходу друг другу загадочные фразы, переругивались, и, завидя церковь, истоиво крестились: «Отведи грозу, господи». По улицам скакали всадники, медленно двигались возы с добром, у торговых рядов, среди купцов, брань и мордобой. «Мой ямщик!» — «Врешь, мой!». Сновали всполошившиеся псы, с пронзительным криком кружили над улицами галки-пересемшницы, гремела всюду пьяная, разухабистая песня. Город как с ума сошел.

Такое замешательство продолжалось двое суток. И приди в это время полсотни пугачевцев, они могли бы взять город голыми руками.

Губернатор перетрусил. 1 декабря он выпустил к гражданам оглашенное по церквам воззвание. Он объявлял, что все слухи о приближении мятежников к Казани есть сущий вздор, что сам душегуб Пугачев по сей день сидит под Оренбургом, а войско его вооружено дубинками, и что вообще Пугачев «отнюдь не имеет толикого числа людей, как слух о том носится».

Но словам губернатора уже не давали ве-

ры. Не стесняясь, людишки выкрикивали в церквах:

— А почто ж он свое-то добро спозаранку вывез? Обман кругом!

Капитан-поручик Маврин, имевший от Бибикова поручение выведать, пока что путем неофициальным, настроение Бранта, пришел рано утром в губернаторский дом. И немало удивился: дом был пуст, в залах ни стола, ни стула. Маврина провели в кабинет. Он представился губернатору как старший офицер, командированный Петербургом в Казань, где он, Маврин, будет ожидать из столицы особых инструкций. О том, что он член секретной комиссии, Маврин умолчал. После краткого и ничего не значащего светского диалога он спросил:

— Что это значит, ваше превосходительство. Ваш дом подобен пустыне... Уж не было ли вашему превосходительству какою тревоги?

— Да, господин капитан-поручик, тревога была и доднесь существует. Я всех опустил в Козьмодемьянск,— ответил, виляя взором, Брант и пожевал губами.

— Что ж, очевидно, злодеи приближаются?

— О, да!.. Без всякого сомнения... И в великих толпах злодействуют.

— В великих, изволите, молвить? — переспросил притворно удивленный Маврин.— Но ведь вы в своем воззвании как раз наоборот... Впрочем... Да...—замаялся он.—Значит, от этого самого и в городе почти никого из видных жителей не осталось?

— От этого, от самого,— холодно ответил губернатор и незаметно стал нащупывать пульс па левой руке.

— А не находите ли вы, ваше превосходительство, что отправив свое семейство, а также имущество в Козьмодемьянск, вы тем самым подали дурной пример гражданам?

«Дерзкий человек или круглый дурак»,— подумал Брант и не ответил ему, только сердито стал жевать губами.

— Да, да,— продолжал Маврин настойчиво.— Все куда-то бегут, устремляются... Не все, а класс состоятельный... Но что же, ваше превосходительство, делать тем, кому бежать некуда и уехать нечего? Не остается ли им отпирать, в случае пашествия самозванца, ворота да встречать его?.. И, заметьте, не по предательству, а по необходимости, яко истинного гостя, чернь втуне не покидающего!

Губернатор от этих вызывающих слов какого-то... какого-то... петербургского щеголя пожегился и, ощутив в области сердца боль, совсем затревожился. «Да уж полно, не со-

глядатай ли, подосланный по мою душу?» — подумал старик.

— А вы какого мнения, ваше превосходительство, по сему смутному казусу? — и Маврин, сказав это, окинул пристальным взглядом сановную персону.

Они сидели друг против друга в обширном кабинете. В ярко топившемся камине непрерывно постреливали еловые дрова. Губернатор, приняв надлежащую осанку, сухим тоном произнес:

— Милостивый государь, я не считаю нужным и возможным ответить вам на ваш несколько... эм-м... шекотливый вопрос... И прошу, молодой человек, принять в мысль, что перед вами некто иной, как сам генерал-аншеф,— губернатор затряс головой и снова сердито зажевал губами.

Маврин нимало не смутился. Он был лично известен императрице, и ему казалось, что она ценила его как умного, исполнительного офицера, а также и первого великосветского танцора.

— Ваше превосходительство! — вздернув плечи и гордо вскинув голову, отвечал Маврин.— Я не осмелился бы докучать вашей особе праздными разговорами, но я обязан это сделать в силу данных мне лично ее величеством инструкций: я член так называемой секретной комиссии, назначенной их величеством. Цель комиссии — расклевать заварившуюся в ваших местах кашу. Я ничуть, ваше превосходительство, не теряю из памяти, что имею честь беседовать с генерал-аншефом, и счастлив уведомить вас, что на ближайших днях к вам прибудет в качестве главнокомандующего всем краем, охваченным мятежом, Александр Ильич Бибилов, тоже генерал-аншеф.

Покрытое старческим румянцем лицо Бранта то удивленно вытягивалось, то слагалось в подобострастную улыбку. «Ну, так оно и есть — соглядатай, сыщик! Гм.. Гм!..» — губернатор встал и, крепко пожимая руку поднимаемому Маврину, задабривающим тоном произнес:

— Очень рад мне слышать, господин капитан-поручик. Ведь мы с Александром Ильичом, мы с ним... как бы это вам сказать...

Собравшиеся в этот же день члены секретной комиссии — Маврин, лейб-гвардии Измайловского полка капитаны Лукин и Собакин, а в качестве секретаря — сенаторский чиновник Зряхов — приступили к занятиям. Ознакомившись с истинным состоянием края, секретная комиссия воочию убедилась в том, что правящий Петербург имеет совершенно превратное понятие об оренбург-

ской трагедии, что местная власть в крае парализована и что опасный мятеж, охватив Оренбургскую губернию, начал перебрасываться и в Казанскую.

Да и на самом деле: вся северо-западная часть Оренбургской губернии была во власти Емельяна Пугачева, а южная подверглась нашествию киргиз-кайсаков. Их предводитель Нур-Али-хан подался с кочевниками к берегам Волги и появился неожиданно близ Черного Яра. Киргизские орды разоряли и жгли попутные деревни, забирали скот, а жителей уводили в полон.

Комедант Яицкого городка Симонов и астраханский губернатор Кречетников запрашивали Нур-Али-хана: с какой целью он перебрался на казачьи земли и позволяет своим киргизам разорять русские селения? Нур-Али-хан с коварством и хитростью отвечал, что причиной тому злодей Пугачев; он-де, назвавшись Петром III, присылал к киргизам возмутительные воззвания, поэтому подвластные Нур-Али-хану киргиз-кайсаки ныне перестали слушаться его.

Между тем киргизские орды успели перебраться через Волгу, угрожали Дубовке и ряду станиц волжских казаков, грабили их хутора, зимовья и форпосты.

Если загорится сухостой да подует ветер,— пожара не унять. Вслед за киргиз-кайсаками стали все настойчивей понашивать гулящие люди и в стенах Башкирии. Русские толпы, соединившись с башкирцами, бродили возле Бугуруслана и в окрестностях Бугульмы. А в Бугульме сидел со своим отрядом генерал Фрейман, покинутый на произвол судьбы злополучным Каром. Не получая обещанных подкреплений, Фрейман «жучал» и не знал, что делать. Но вот «развлечение»: ему донесли, что в соседней крепости Бакалах возмущившиеся казаки посадили своего атамана на цепь и собирались отправить его к «царю-батюшке».

Фрейман немедленно послал в Бакалы карательный отряд пехоты и четыреста конных башкирцев под командой секунд-майора Тевкелева. В полдень 6 декабря отряд был окружен толпой пугачевских башкирцев, все конники отряда передались на их сторону, а избитый, израненный Тевкелев попал в полон.

Сердце Фреймана облилось кровью,— он лишился последней своей кавалерии. Ближайшие дороги в Казань были для него почти отрезаны. К городку Заинску подошла толпа башкирца Нагайбака. Инверцы, как это ни странно, были встречены священником Прокофием Андреевым и горожанами с хлебом-солью, крестами и хоругвями; за молебс с провозглашением многолетия государю

Петру Федоровичу священник получил от Нагайбака рубль, да столько же на церковные нужды. Живущий в городке отставной капитан Мертвецов пригласил к себе на пиршество Нагайбака, а также местных жителей — отставных офицеров Лопашина и Савичина¹.

Все пили за здоровье государя.

Заняв Заинск, мятежники распространились по окрестностям, доходя до Бирска и Елабуги. Отряд Фреймана попал в окружение. Возмущение крестьян и разгром помещичьих гнезд продолжалось.

Толпы башкирцев стали проникать на пермские горные заводы и в исетскую провинцию. Губернатор Браун организовал защиту заводов, поручив эту заботу члену главного заводоуправления на Урале, коллежскому асессору Башмакову. Юговский казенный завод (в 60 верстах от Кунгура) был построен в виде крепости, чем и воспользовался Башмаков, решив защищаться тут от мятежников. Многие заводы прекратили к тому времени работу. Башмаков приказал с закрывшихся заводов перевести всех вооруженных людей в свой, Юговский, завод, туда же свозить пушки со снарядами и порохом.

Большинство заводского населения, руководимого раскольниками, приказу Башмакова не подчинилось, даже не пускало и тех, которые были согласны перебраться в Юговский завод. Горячие головы шумели по заводам:

— Не верьте, мастеровые да работники, начальству! Врет начальство, что это беглый казачишка Пугачев! Он истинный есть царь!

— Бабы не был он царем, так из Москвы да из Питера давно бы государыня войско супротив него выслала. А где оно, войско-то? Ничим-чего...

— Ведь уж три месяца прошло, ребятушки. Значит, правительство признало, что он, батюшка доподлинный! А мы и допрежде присягали и ныне служить готовы.

— На местах, на местах сиди, трудяжки! — потрясая бородами, кричали на собраниях степные мастера-раскольники, имевшие большое влияние на рабочую массу.— Дома свои не оставляй, а то семейства ваши и вся домашность разорены будут.

Мятежный шум шел по всему Уралу. Убоявшись того шума, защитник Башмаков послал по заводам с тем же приказом утешительного Бахмана. Ни красноречие, ни

¹ Впоследствии все три офицера были сосланы на каторгу в Азов.

угрозы не помогли Бахману, работный люд упорно шел в отпор. На одном из заводов три мастера тайно шепнули Бахману:

— Убирайся-ка ты, господин, во-своясц, да поскорее! А пет — закуем тебя в железа и к самому батюшке отвезем.

Бахман поспешил скрыться. Почти все работники многих заводов приняли сторону Емельяна Пугачева. Восстание всюду разгоралось. Пугачев с атаманами могли бы ликовать. Но все дело портили неумные башкирцы. Их неорганизованные толпы не имели ни разумного руководства, ни страха над собою. Мстя хозяевам заводов, завладевшим башкирскими землями, башкирцы продолжали неистово грабить не только заводы, но попутно также и людей работных и встречные русские деревни. Башкирцы все вокруг обращали в дым и пепел. Пугачевская военная коллегия была засыпана жалобами разоренных: «Царь-государь, дай защиту!»

Коллегия Емельяна Ивановича сначала рассылала охранные листы заводам и селениям, перешедшим к пугачевцам. А вскоре в управление всей Башкирией вместе с уральскими заводами вступил, как уже было ранее сказано «граф Чернышев», то есть Иван Зарубин-Чика.

Атаман Илья Арапов, когда-то посылавший Пугачеву в дар осетров с провесными себрюгами, находился в захваченном им Бузулуке. Пугачевской военной коллегией ему было приказано двинуться к Самаре и укрепиться на самарской линии. Он стал пополнять свою боевую толпу охотниками из встречавшихся на пути селений. К нему пришло до тысячи крепостных крестьян графов Орловых и многие из волостей близ Сызрани.

Восстание охватило весь Ставропольский уезд. Арапов подошел к Самаре и был торжественно встречен населением. Командант Балахонцев и поручик Кутузов с частью солдат еще загодя бежали в Сызрань.

Был жестокий рождественский мороз, по пароду навстречу гостю высыпало много. Атаман Арапов, коренастый, с черной бородой и горящими быстрыми глазами лихой дегина, одет был в лисий, крытый темнозеленым сукном чекмень, на ногах у него рысьи теплые сапоги. Грубое, продубленное степными ветрами лицо его с мясистым, навешшим на густые усы носом казалось особенно внушительным под форесто надвинутой на ухо мерлушковой шапкой с красным верхом. За поясом у атамана пистолет, при бёдре богатая, как у Пугачева, сабля. Подбоченившись, он зычно крикнул в шарод:

— Спасибо вам, самарцы, что предались мне без супротивленья! Это нашему батюшке в самый раз по сердцу, он, государь наш, отблагодарит вас, мряннушки, а ваш город Самару обратит в губернию.

— Вот бы добро было, вот бы славно! — отвечали дружно самарцы.

Арапов велел выкатить из питейных заведений бочки с водкой. Подгулявший народ, собираясь в шумные кучки, кричал до хрипоты:

— Здравствуй, батюшка наш, Петр Федорыч!.. Ура-а!

3

Пока Бибииков правился к месту своего нового служения, в Петербурге не раз возвращались к делу о пугачевском мятеже. На экстренном заседании государственного совета генерал-прокурор Вяземский объявил о желании императрицы во что бы то ни стало принять меры к тому, чтобы мятеж не распространялся далее Оренбургской губернии. Вяземский предлагал во всех деревнях соседних с Оренбургской губернией провинций установить при главных дорогах рогатки и заставы, а прочие дороги перекопать, дабы не было всяким нищebroдам и подозрительным людям ни проходу, ни проезду. Эта мера показалась собравшимся пустой, и князь Григорий Орлов ее вышутил.

Зато заявление министра иностранных дел Никиты Панина было признано неоспоримым. Он сказал:

— Изолировать Оренбургскую губернию никакими рогатками невозможно. А скрывать от народа истину о происходящем под Оренбургом вредно и несмысленно. О возмущении том уже давно известно всей России чрез народную эху. Надо во всеуслышание, по всей империи манифестом объявить, именовав мятежников разбойничьими толпами, а Пугачева вором и самозванцем.

Манифест был составлен и впервые опубликован 23 декабря по всему государству. Этот манифест, как и манифест, посланный когда-то с Каром, было предложено Бибиикову перевести на башкирский и татарский языки для оглашения в Башкирии.

Зарубин-Чика прибыл под Уфу в сопровождении своего помощника, липцкого казака Илья Ульянова, и тридцати работников воскресенского Твердышева завода¹. По пути

¹ Зарубин-Чика и Ульянов были в начале декабря посланы Пугачевым на этот завод для литья пушек и ядер.

Зарубин-Чика всюду встречал сочувствие и собрал толпу в полтысячи человек заводских крестьян, башкирцев, беглых барских мужиков.

Местом своей ставки он выбрал село Чесноковку, что в десяти верстах от Уфы, и поселился в доме священника Андрея Иванова.

Новоселье было проведено шумно, пьяно, весело. Нашлись скрипачи и дударь. Стараясь, страха ради, угодить пугачевцам, подвыпивший отец Андрей прикинулся дурачком: бил в такт музыкантам по медному подносу то кулаком, то лысой головой, то железными клещами. Удалей всех плясал сам граф Чернышев в набойчатой простой рубахе и широких плисовых штанах; ему под стать, с гиком и звонким хохотом, кружились в плясе охмелевшие — кровь с молоком — девки да бабенки. Даже молодые поповны и сама попадьа, не в меру приурезав наливки и меда, вились вихрем возле разухабистого чернородого цыгана.

— Не брезговаю вами!..— кричал «граф», высоко подсакивая и ударяя ладонями по голенищам. Подхватив железной рукой за талию какую-нибудь краснощекую красотку, он крутил ее по горнице, как мельницу.— С самим графом Чернышевым пляшете!— гремел он.— А по утрам— все за дело, дружки! Уфу зорить, супротивников батюшковых изничтожать. А кто не с нами, тому перекладница с петлей!

У многих гостей, как ни были они пьяны, на душе становилось тревожно, а поп с попадьей всю ночь не сомкнули глаз.

— Пропали мы с тобой, матка!.. Со всем приплетом нашим, со всем жительством,— стоная батюшка, не находи себе покоя.

До рассвета гуляла Чесноковка, а на рассвете Зарубин-Чика принялся за дело. Напористый и на соображенье скорый, он в полной мере чувствовал власть в своих руках.

«Будь в спокойе, Емельян Пугачев, нареченный царь-государь, уж кто-кто, а Ванька Чика тебя не подведет»,— держал он в мыслях, положив до последнего вздоха служить обожжаемому «батюшке».

Ударили на бат. Сбежавшемуся к церкви народу граф сказал:

— Во всеуслышанье объявляю настрого: жителям собираться в поход! Чтобы с каждого двора по одному человеку, и с оружием. За супротивство— смерть! Отец Андрей,— обратился он к рыжеволосому священнику,— всех без изъятия мужиков и баб и всю мою

армию приведи к присяге на верную службу государю Петру Федорычу. И зачти в гух манифест его величества.

До полден шла присяга. Зарубин-Чика не медля стал рассылать во все концы манифесты Пугачева.

Население в Чесноковке и по всему уезду быстро вооружалось, садилось на конь, спешило к графу Чернышеву. Вскоре армия его стала насчитывать более четырех тысяч человек. А спустя несколько дней, когда в Чесноковку прибыли толпы рабочих людей со многих остановившихся заводов, силы Зарубина-Чики утроились; у него скопилось до двенадцати тысяч человек. Громада!

Заводское население, спасая свою жизнь от разбойных наскоков башкирских толп, бежало и в Берду, и в Чесноковку. Депутаты жаловались:

— От набегов воровских башкирских партий спасу нет! наших людей, кои за селом выезжали, многих башкирцы поувечили да на смерть покололи безвинно. И не стало нам николикой свободности.

Хотя таких своевольных башкирских партий было не так уж много, однако пугачевская военная коллегия все же предписала графу Чернышеву принять строгие меры к прекращению бесчинств башкирцев и к возвращению награбленного хозяевам. Военная коллегия повелевала:

• «Да и впредь, ежели такие злодеи окажутся, не приемля от них никаких отговорок и не возя сюда, в Берду, чинить смертную казнь».

• Зарубин стал широко пользоваться этим правом. Возле его дома были поставлены две виселицы. Под наметом из содомы и в поповском амбаре хранились пушки, боевые припасы и оружие, привозимые его людьми из разных городов и заводов. Так, сотник Иван Кузнецов, выйдя с партией из Берды и завладев Саткинским заводом, взял там у заводчика Лугинина десять тысяч рублей денег, двенадцать пушек, двести пятьдесят ружей и пять пудов пороху. Затем он захватил Златоустовский и Катав-Ивановский заводы, взяв там сорок пушек и девяносто пудов пороху. Половину из добычи Кузнецов отправил в Берду, половину в Чесноковку.

Зарубин-Чика через два дня в третий посылат в военную коллегию свои донесения, а ответы коллегии приказывал публично читать на улицах. Впоследствии эта деловая связь с Бердой становилась все реже и реже,— Чика решил действовать самостоятельно. Он назначал атаманов и полковников, у него

была и своя военная коллегия, где он единолично принимал просителей, вершил суд и расправу, диктовал писарям свои распоряжения.

И стал он как бы вторым Пугачевым, Чесноковка — второй Бердой.

Приказы Зарубина-Чики были разумны и толковы. Не в пример губернаторам фон Бранту и Рейнсдорпу, он обладал редким даром администратора. Этот задирчивый, с нахрапом казак-гуляка, забубенная головушка, ленивый в обыденной жизни и беспечный, и сам теперь приходил в немалое удивление, открыв также у себя лачества, о существовании которых и не подозревал.

— Ха-ха!.. Ай-да, Ванька, ай-да, сукин сын!.. Правителем стал! Да оторвись моя башка с плеч, ни сном, ни духом этого не чаял... Ну да ведь я не толсторожий Тимоха Мясников, я в графья пролез. Граф Чернышев, ха-ха!.. Дай бог Емельяну Пванычу здоровыща! — рассуждал он сам с собой в минуты душевного спокойствия.

Он издал приказ выбрать всем жителям в каждом селении и на заводе атамана или старосту и обязал их смотреть за порядком, содержать пикеты и заставы, всех подозрительных направлять в Чесноковку.

Рождественского завода атаману он писал: «Надлежит вам свое население содержать в добром порядке и ни до каких своевольств и гребительств не допускать, ослушников же его императорскому величеству по произволению вашему наказывать на теле... Населению своему никаких обид, разорений и палогов не чинить и ко взяткам вам не касаться, опасаясь за ваш проступок неизбежной смертной казни. По моим ордерам исполнению чините в немедленном времени... Когда потребую от населения вашего на службу его величества, по тому требованию хороших, доброкосных и вооруженных ребят немедля отправлять ко мне. А в службу надлежит набирать таковых, чтобы не были старше пятидесяти и малолетнее восемнадцати лет».

Оставшимся семействам выступивших в поход людей приказано было вылавать провиант из казенных магазинов.

Вскоре у Чики-Зарубина скопилось много денег, много вооружения, много всякого добра. Он ласково обращался с духовенством; задобренный священник может оказаться общником полезным; он иногда щадил и представителей правительственной власти: чем чорт не шутит, могли пригодиться и они... Зарубин-Чика человек себе на уме: в его руках власть, в голове — русский охватистый разум.

На улице метель — свету белого не видно, снежная кутерьма и пляска от земли до неба. А вот в квартире нареченного графа Чернышева тепло, уютно. Покрытый белыми скатертями, нарочито сколоченный большой стол ломится от изобильного хмельного нития и вкусной, горой наваленной седи: лускай гости вдосыт наедятся и упыются — для дела польза. И что сегодня съедено, позавтра втрое больше доброты нанесут. Недаром поп Андрей внушал ему: «Рука дающего не оскудеет».

Стены горницы, замест золоченой фольги, как у Пугачева, увешаны самодельными, из кошмы, башкирскими коврами, а сверх ковров — собранные в помещичьих домах ружья, сабли, кинжалы, досюльные старозаветные мечи. А возле икон врезанный в рамку стараньем священника ярлык: «Быть Чике-Зарубину графом Чернышевым»; на ярлыке красная сургучная печать, как сгусток крови.

— Матка! — кричит граф попаде и утирает взмокшее лицо рукавом растегнутой у ворота рубахи. — Брось швырять поленья я мечку, и так мы, как в аду...

Кроме Ильи Ульянова и ближних, среди гостей два попа: отец Андрей и прибывший из села Березовки, Сарапульского заказа, родпой брат его — отец Данила. Андрей рыжебород, Данила череп. Между ними хмурый, раздобривший, бритый воевода пригорода Осы, что на реке Каме, поручик Ф. Д. Пироговский. Правый глаз поручика в упор смотрит на графа Чернышева, левый полупрекрыт: веко парализовано. Темные с проседью волосы его вчера остригли под кружальце, по-казанки. Лицо выражает испуг, душевное томление.

Да, он нарушил присягу государыне, нарушил долг солдата. Когда на Осу внезапно налетела шайка этих разбойников башкирцев, его схватили и к петле подвели. А возле виселицы жена слезами обливается: «Федя, Федя!» — кричит; и малые дети навзрыд плачут: «Папенька! Ой, не вешайте папеньку!» Тут Пироговский стал как бы вне себя и сказал злодеям: «Вишюсь! Готов служить государю Петру Федорычу...» И вот, он понес свою повинную голову в Чесноковку, да пушку медную прихватил с собой, да десять пудов пороху, да два воза медных денег.

Уже оттремели здравницы за государя Петра Федорыча, за наследника с супругою, за графа Чернышева. Вот граф приказывает

опять наполнить чарки и громким кричит голосом:

— А ну, хрещенные, за нового казака, за бывшего воеводу Пироговского... Выпьем! Благодарю господа-спаса, поручик Пироговский, ты пыне его величества казак, а не воевода катерининский. Будет тебе мирскую кровь-то сосать...

Все поднимают чарки, лезут чокаться с новым казаком.

• Шумели, пили, чавкали, граф Чернышев кричал:

— А вы, господа попы-святители, тоже слушай мою команду! Ваше дело доглядывать за своими прихожанами само крепко. Дабы не было супротивников его величеству... Чтобы, значит... его высокой власти. Попяли, святители? А ежели кто где сыщется, таковых отвращать от сей пагубы добрым словом.

Оба родных брата, рыжий и чернявый, вылавливая из овсяной похлебки куриные петроха, согласно кивали грозному начальнику умащенными елеем головами:

— Паки и паки постараемся, ваше графское сиятельство, господин граф Чернышев, Иван Никифорыч.

У попа Даниила черноволосая бородастая голова посажена прямо на крутые плечи, он могуч, пышен со спины и предостаточно брюхат.

— Писаря, слушай!— продолжал Чика.— Чтобы точно отписать мои слова всем попам, всем муллам, не исключая... А буде кто и чрез оное поповское увещевание от злоумышленного не отвратится, то таковых ловить и доставлять ко мне же медля, а будет с такими поступлено в силу указов немилосердно!..

Так великий хлопотун Зарубин-Чика даже и во время попок не забывал своего дела.

Поручик Пироговский был поставлен на квартиру вместе с простыми казаками. Чика приказал следить за ним «в оба», но вскоре отпустил его в Осу к семейству.

Отец Даниила слово свое сдержал. Прибыв в Саранул, он собрал сход и убедил жителей присягнуть новоявленному императору. Саранульцы немало попу дивились:

— Да, бывают, мирянушки чудеса на свете,— говорили они.— Уж раз сам иерей божий царя признал, так нам и сомневаться нечего. Амись тому делу.

Иные же, слушая отца Даниила и накопив горькую слюну, сплевывали и зло возражали:

— Поповское ли это заделье в усобицу встревать? Такого кутье хлеба вверх пяткам

повесить бы... Да и повесят, уж это как бог свят!

Отец Даниила, закутавшись в теплую, подаренную ему графом Чернышевым шубу, объезжал окрестные селения, он всюду успешно привлекал жителей под знамена Пугачева и лишь на Ижовском заводе осекся. Народ шел в отпор, не желал признавать какого-то нового царя. Один из разгорячившихся сердцем рабочих людей во время словесной схватки ударил ретивого пона кулаком по щеке. Пострадавший отпсал обо всем в Чесноковку, и уже через три дня в Ижовский завод явилась высланная Чикой партия в триста человек.

Завод был приведен в повиновение, казенные дома разбиты и разграблены, забраны ружья, порох, девять тысяч рублей денег. Мастерские и работники из приписных крестьян распушены на волю, по домам, завод закрылся. А вскоре поп Даниила был схвачен отрядом правительственных войск, пытан в Казани и повешен.

В это время по Башкирии гуляли толпы мещераков и башкирцев. Их вели «начальный возмутитель» мещерак Каззафар Усаев и двадцатилетний башкирец Салават Юлаев. Молодой батырь Салават обладал редким даром слагать песни, был отважен и любим своими соплеменниками. Имя Салавата в скором времени с шумом пролетит по башкирским степям, по предгорьям Урала.

Каззафар и Салават лихим набегом заняли Красноуфимск; захваченную при этом казну они послали Пугачеву, а пушки оставили себе.

Чесноковка на первый взгляд напоминала собою пугачевскую столицу Берду, но здесь, начиная от хозяйна, все было второго сорта. Хозяин вел себя необычайно просто, вовсе не по-царски и не по-графски даже, а как бог на душу положит. Любил он власть поесть и крепко выпить, любил громко похохотать и подурить с бабенками. Одевался так себе — ни генеральских лент, ни позументов. За своей наружностью следил плохо: борода запущена, с мылом умывался редко, да и то кое-как, словом — цыган и цыган. Когда дома — ворот рубахи всегда расстегнут, густо-волосатая грудь обнажена, а на морозе — замызганный овчинный чекмень пакинут на одно плечо. Квартира не из важных, у него золотой горешки пет и почетного караула нет, свиты тоже не положено. Подруги сердца его живут в двух избушках, на краю селенья.

Ранний вечер, уже мерцают звезды. Бороз

подопли, несет по Чесноковке шартым : ком. Улочки, переулки замечены снегом. Высокою приподнятая метелями дорога укутана горбом. Она, как крепостная насыпь, громоздится выше окон. По откосам ее, от избушек, от домков, вытопы проторенные тропинки. И ежели б дыхнуть враз и по-настоящему на Чесноковку жаром, все селение захлебнулось бы снеговой водой,—столь глубоки, столь обильны тут сугробы. На задах, на огородах и возле Чесноковки, на степи, многочисленные, из плотной кошмы, башкирские юрты. Из их круглых отверстий валит дымок. Кругом костры, костры; гривастые кони хрумкают овес и сено. На кострах медные, до десяти ведер, котлы, в них барабанна, или махан. Башкирцы сыпят в котлы соль, крупу, болтают в котлах большими, как оглобли, жердями, готовят ужи. Скулят там и тут собаки. И откуда шайтан принес их? Башкирец выхватил из котла оглоблю, огрел ею собачью свору: «Аря, аря!» — и снова оглоблю в котел.

Кругом селения ездят бессменно дозорные — казаки, крестьяне, башкирцы. И там, далеко впереди, стоят зоркие пикеты. Недавно Зарубин-Чика в три часа ночи объезжал проверкой все посты и заставы. Караульные всюду бодрствовали. Лишь в перелеске, возле моста, дозорный спал у потухшего костра, дремала, опустив голову, и пегая его кобылка.

— Так-то караулишь, сволочь! — гаркнул Чика.

Мужик вскочил, протер глаза, сказал хрипло:

— Прошибся! Сон одолел...

— Ха-ха-ха!... Сон одолел? А ежели б из-за тебя, гада, нас всех одолел?! — и Чика выстрелом из пистолета уложил дозорного на месте: в пример другим.

А приехав домой, он сказал атаману Грязнову:

— Сменить дозорного, что под ельником у моста! Уснул до самого второго пришествия.

Веселый Чика! Бешабашный Чика! А с народом обходительный, простой. Однако его все, как огня, боятся. Граф разговаривать долбо не станет. У него пить так пить, воевать так воевать.

На улице сумерки гуще, звезды в небе ярче. Выдоенные жоровы, подогнув сначала передние ноги и гряхтя, деуклюже валяются на соломенную подстилку, на них накапывает дрема, они устало, впологлаза, глядят во тьму и всю ночь пережевывают жвачку.

По взгорбленной дороге вдоль села, покачиваясь и обнявши друг друга за шею, дви-

жутся трое: Чика, атаман Грязнов и сэтник Кузнецов. Остановятся, попелуются, Чика всохотнет па все село и — дальше.

Скачет всадник, кричит:

— Сторонись, ожгу!

— Стой, куда? — гремит Чика.

— Ё хозяину, ко грахву, гонец я...

— Я граф. Что падо?

Гонец скатывается с лошади, срывает шапку, рапортует:

— Так что докладую: Красноуфимск занят Салаваткой, ваше благородие. Ижевский завод занят такожде...

— Ха-ха-ха! Слыхали, атаманы? Ижевский занят... Чья это пзба?

— Мужичка Абростима.

И уже грохает в калитку железное кольцо. Гонец кричит, припав голоусым лицом к волоконому окошку:

— Эй, дедка Абростим! Вдувай огня, сам грахв к тебе, сам Иван Никифорыч.

Чика вломился в избу, поздоровался «об ручку» со стариком, со старухой, с парнем, велел принести от попа снеди с выпивкой.

— Ну, как казаки-удальцы? — заговорил он, усаживаясь за стол. — Дела наши идут не падо лучше! Города и заводы сдаются нам с легкостью... Ты что притуманился, атаман Грязнов? Поди, все — ха-ха! — о божественном помышляешь, а?

Лысый, бородатый, с умным глубокомысленным лицом, еще не старый атаман Грязнов, потупя свои бесцветные, водянистые глаза, ответил:

— Эх, Иван Никифорыч... Думал я когда-то и о божественном, а вот как определил себя па кровольтье за простой народ, уж тут не до божественного...

— Ха-ха-ха!.. Ну-к, удалцы, чего же дале-то нам делать? Обозгуюм, чего ли...

— А тут и моговать неча. Наше дело воевать! Уфу брать надобно.

— Уфа — что... — возразил Чика. — Придет час, эту фрукту мы съедим. Нам вширь распространяться треба. Покамест народишко не остыл, главные города забирать, коп в отдаленности. Да и за Урал-горой пожарише не плохо бы пустить! Ха-ха-ха! Недаром ведь народишко-то с огоньком пошаливает...

— Комацуй, батюшка Иван Никифорыч, мы всеобщему отцу отечества Петру Федорычу послужить рады, — степенно оглаживая бороду, сказал атаман Грязнов.

— Стало быть так, — Чика со всей застойницей выпил, положил в белозубый рот склизкий соленый груздок и, чавкая, продолжал: — Главный город Пермской провинции какой? Слыхал я — Кунгур. Стало быть, брать нам Кунгур! Это я тебе дове-

ряю, Иван Кузнецов.— (Черноусый табынский казак, сотник Кузнецов, встряхнул пьяной головой, поклонился Чике.)— И ставлю тебя главным российского и азиатского войска предводителем... Чувствуй, чортова ноздря!

— Чу-чу-чувствую,— сказал сильно захмелевший Кузнецов, он кособоко поднялся, впились руками в стол, чтоб не упасть, и вновь стал кланяться.— Вдругорядь благодарим тебя, Иван Никифорыч, гы-гы... грахв...

— Ха-ха-ха!.. Ладно, садись скорей, а то ляпнешься,— и Чика обернулся к Грязнову.— А тебе, атаман, подлежит идти с отрядом под Челябину. Оная Челябина, как мне вестно стало, главный городок Исетской провинции. Верно ли? И где-то там Деклонг, генерал, бродит, и где-то Чичерин, губернатор, сидит, всей Сибири. В Тобольске, кажись? Верно ли? Ивану Кузнецову подмогу дадут верные нам башкирцы с Салаватской да Канзафаром Усаевым. А тебе, Грязнов, предлежит забирать всех заводских крестьян. Опослезавтра и выступать. Кончено!.. А ну, нальем!..

Военные планы Чики были широки и основательны. Ирядно грамотный атаман Грязнов, удивляясь его сообразительности, недоумевал: то ли оный человек заранее обдумывал свои намерения, то ли это накатывало на него вдруг, вроде как «от благодати».

Вот и теперь, выложив на ходу, за пьяным столом, свои виды-планы, он вновь сделался беззаботным.

— Дедка Абросим! Чего бородой трясешь? Пей! Бабка Ульяна, тяти до самого доньшка!.. Эх, попа Данилы при нас нет... Вот уж мастак был по винной части. Как почнет за сорок мучеников выпивать, тут ему и ведерки мало: за каждого мученика по единой!.. Ха-ха! А между прочим дурак... Дурак, говорю, Данила. Он нам всю кашу сорока мучениками своими на Ижовском заводе спортил. Первое — несусветно пьян, второе — от православия гнет, а мастера в Ижовске сплошь расколу привержены... Довелось тогда Ижовск силою брать... Слушай, атаман!— обратился он опять к Грязнову и, как ни в чем не бывало, по-трезвому наморщил лоб.— Надо бы, атаман, умиротворить Ижовск нам... Как-никак, заводошко-то оружие мастерит, а без оружия, известно, какая ж война. Вот и батюшка наш, Петр Федорович, о непорядках в Ижовске тужил, чуть меня — ха-ха!— из графьев не разжаловал...

— Ну, ин с Ижовском еще успеем!— розонно отсклякнулся Грязнов.— Вот ты какие задачки нам задал — Кунгур да Челябин!..

— И то правда,— согласился Чика.— Ну-к, что ж, будем наперед глядеть, а назад опосля как-нибудь... Значит, через деек и в поход, други милые! А мне Уфу воевать. Отправив сотника Кузнецова под Кунгур, атамана Грязнова под Челябину, Зарубин Чика 23 декабря сделал первую попытку овладеть Уфой.

Но Уфа не поддалась.

Глава двадцать восьмая

Купчик Полуехтов, Есаул Перфильев, «Ты, батюшка, похитрее сатаны».
Бибиков в Казани

1

Бесшабашный купчик Полуехтов, чтоб восстановить былое уважение к своей храбрости со стороны Рейнсдорпа и оренбургских граждан, решил, с пьяных глаз, не медля направиться в стан Пугачева. Он заручится в Берде каким-нибудь доказательством своего пребывания там и личного свидания с Пугачевым. Вот и все. Купчик обрядил себя по бухарца: выкрасил рыжеватые усы и бороду в черный цвет, добыл цветистый халат; голову обмотал чалмой и отправился в это отчаянное путешествие на верблюде, ночью, с небольшим тюком бухарских товаров.

Утром был он схвачен пугачевским разездом и доставлен в Берду. Прикинувшись «казиатом», он по-русски ни слова не говорил и на допросе в военной коллегии объяснялся знаками, а если и лопотал, что всякую неудобь-тарабаршенку.

— Не высмотреть ли Рейнсдорпа? Как знать?..— выразил опасение главный судья, старик Витошнов.

— Может статься, и так...— подал голос угрюмый Горшков.

— А ежели так, то не иначе — шея его по петле стосковалась.

Полуехтов испугался, нижняя губа его задрожала, глаза осоловели.

— Да нет, господа судья,— сказал молодой Почиталин.— Он кубыть действительно бухарец-купец, а как в Оренбурге денег ни у кого не стало, вот он и подался в наше места. На мою статью, не следует чинить ему помехи, пускай себе торгует!

Полуехтов, прислушавшись к Почиталину приободрился, даже оскалил в легкой ухмылке зубы. Осложный Максим Григорьевич Шгаев, все время наблюдавший бухарца, нажимисто проговорил:

— Нет, чего там... Повесить! Всенепременно повесить его!

Полухтов пошатнулся, часто задышал. На щеках Шигаева заиграли улыбчивые ямки. Обратясь к судьям, он громко сказал:

— Надо сликать сюда бухарца, их десять человек живет в землянках подле мельницы. Ежели бухарец дознается, что оный пойманный тоже бухарец, так мы оставим его в Берде жить без выпуска под крепким смотрением, а ежели это русский перевертень, так мы его тотчас на перекладнику... Эй, казак, живо сюда бухарца! А этой птице связать назад руки...

В это самое время подъезжал к себе на тройке Пугачев, сзади него с пиками отряд телохранителей, а по сторонам дороги прохожие мужики и опустившиеся на колени пленные солдаты. При встрече с государем солдаты всякий раз должны были преклонять перед ним колени,—одна из мер военной коллегии к укреплению в народе веры в государя. («Уж ежели старые солдаты валяются перед батюшкой — значит, дело без обмана», — рассуждали мужики.)

— Встаньте, детушки! — раскланиваясь на обе стороны, выкрикивал Емельян Иванович.

Вдруг он видит: по снежной дороге что есть сил бежит бухарец в полосатом халате и чалме, за ним гонится Ваня Почиталин: «Держите, держите его!» Вот оба они шмыгнули в проулок, и Пугачев, остановив тройку, приказал:

— Взять!

Купчика вволокли во дворец два молодых казака, а следом за ними пришел и запыхавшийся Почиталин. Один из казаков, двигая бровями, заявил:

— Это, надежа-государь, не бухарец и не персюк, это кулачный боец из Оренбурга. Он, тварь, самый русский, он супротив наших воевать намерднись выезжал на коне...

— А-а-а,—протянул Пугачев и прикрыл правый глаз.— Так это ты моему верному казаку зубы клишкой выбил?

— Я,—ответил Полухтов. Он хотел многое рассказать Пугачеву и не мог: его трепала нервная дрожь, рукава длинного халата встряхивались, зубы стучали. Он только выдохнул:— Винца бы... Не змоготу мне...

Пугачев умел щепить храбрость, и на оробевшего молодца посматривал с незлой улыбкой. Пока молодой гуляка тянул из стакана настоянную на перце водку, Почиталин торопливо докладывал Пугачеву все, что знал о пойманном купчике.

— Военная коллегия присудила одного шпиона вздернуть,—заклучил секретарь.

Забористая волка уже успела всосаться в

кровь курского купчика, трясение кончилося, он вновь почувствовал в себе прилив дерзости.

— Вешать меня не за что,—молвил он и с наглостью посмотрел на Почиталина.— Вам такого права нет надо мной... Я человек не разбойный, а мирный.

— Хорош мирный! — улыбнулся Пугачев.— Я, ведаешь, сам видал, как ты наших-то... И велели мы тебя живьем словить, чтоб быть тебе при мне, люди отчаянные мне любы... А ты и сам к нам припожаловал. Чего ради, не дождавшись святок, бухарцем-то вырядился да ко мне в таком виде дерзнул?

— А вот слушай, хозяин,—проговорил купчик и принялся рассказывать Пугачеву все свои похождения, вплоть до последнего свидания с Рейнсдорпом.— Ты дай мне, хозяин, удостоверение, что я у тебя был и с тобой разговор имел, да отпусти-ка меня заради Христа либо к папаше моему в Курск, либо в Оренбург...

— А что у вас дется в Оренбурге, ну-ка отвечай? Ась?

— А в Оренбурге у нас расчудесно, всего вдосталь, народишко живет безбедно, войсков боде двадцати тысяч...

Пугачев, охватив грудь руками, сердито захохотал, закачался в кресле, крикнул:

— Ах ты негодник! Ах ты подлая твоя душа! С голоду вы там все, дьяволы, подыхаете, лошадей жрать начали...

Полухтов тарачил глаза, молчал.

— Я б тебя, чувырло неумытое, немедля повесить приказал, да вот за проворство, за отчаянность твою прошая тебе. Оставайся у меня служить, сыт будешь и награду примешь от меня.

— Нет, хозяин! Я не в согласи...

— Какой я тебе хозяин! — поднял голос Пугачев.— Ты раб мой, а я твой царь...

Винные пары затуманили голову молодого забулдыги. Глаза его стали дикими, голос наглый, скандальный, он потерял всякую волю над собой.

— А мне горя мало — царь ты али кто! — выпучив глаза, закричал он и покачнулся в сторону Пугачева.— Ты только дай мне знак какой, алибо записку, что я был у тебя.

Улыбка, похожая на судорогу, тронула лицо Пугачева, брови его сдвинулись.

— Так знак, говоришь, тебе?

— Без знака не уйду!

— Ладно, я тебе знак сделаю... Эй, обрежьте-ка ему правое ухо да спровадьте не медля с поклоном Рейнсдорпу.

Булочник сразу отрезвел, упал Пугачеву в ноги:

— Батюшка, царь-государь! Батюшка!...

— Стой! Как прозвище твое?

— Полуехтов, царь-государь! Полуехтов...

— Ну, так таперь Полуухов будешь...

Взять его!

2

Пугачев сидел в маленькой боковой горнице за фасонистым, на гнутых ножках, столом, придвинутом к самому окну, чтоб лучше видеть. Большой, широкоплечий, он, ссутулясь, громоздился кое-как на легком золоченом стуле, держал в правой, испачканной чернилами, руке гусиное перо, смотрел в четко написанный Швавичем на особом листке русский алфавит и с напряжением выводил на бумаге робкие каракули: палочки, хвостики, кружки. От натуги на носу и лбу выступила у него мелкая россыпь пота, он прихрюкивал, поскрипывал зубами, ударял пяткой в пол, но толку было мало. Без сторонней помощи освоить грамоту — дело многотрудное. «Эх, голова, голова, — горестно укорял себя Емельян Иванович, — кабы знала ты, голова, да ведала съзмалу, не то было бы. А таперь, не иначе, катиться тебе, темная головушка, с крутых плеч долой... из-за недозора какою-нибудь».

Иногда он взглядывал за окно, в синие сумерки: там проезжали с песней казаки, повизгивал полозьями по каленному, наезженному снегу обоз. А вон прошагал вовсе трезвый пол Иван, опираясь на длинную палку с завитком, пробрела вдвое перетнутая временем старуха, пробежала с санками гурьба ребятишек. Жизнь шла своим чередом, и никому не было дела до мучительного труда Емельяна за этими самыми «буками, ведями, глаголями».

За белыми шуховыми крышами нежно блестел на светлозеленом небе тонкий серп месяца. На улице крепчал мороз, а здесь, в натопленной вволю горенке, было жарко, как в бане. Царь сидел в одной рубахе с расстегнутым воротом, обнажив белую грудь со старинным серебряным крестом на гайтане и «царскими знаками» под правым и левым соском. Босые, начисто отмытые ноги его отдыхали от узких щерольских сапог, широкие, как юбка, алого сукна шаровары касались пола.

— Ваше величество, Перфильев просится, — проговорил появившийся в дверях несмешный дежурный, пухлый рыжеусый Давилин.

Пугачев проворно прикрыл ладошкой свою работу, с досадою сказал:

— Пуцай войдет.

Перфильев, взглянув исподлобья на Пугачева, повалился ему в ноги.

— Ну, с чем явился?

— Батюшка, виноват пред вами. Намеклись всей правды не сказал вам, вроде как утаил.

— Коли винышься, бог простит. Встань! — молвил Пугачев и подумал: «Второй раз! смотрю на него... Обличен злой, а характером, кажись, крепок, этот не предаст, да шояка, сказывают, бывалый... Обласкать надо бы молодца. — Какую-же ты от меня утайку сделал, друг? Ну-ка?»

Перфильев глубоко передохнул, переступил е ноги на ногу; не зная, куда глаза девать, опустил голову. Но, овладев собою, заговорил:

— Меня на Яик государыня послала и приказ дала: яичное войско уговаривать, чтоб оно от тебя отстало да пришло бы в повиновение ее величеству, а тебя чтобы мы связали да доставили в Питер.

— Ох ты, ох ты, окаянство какое! — помрачнел Пугачев. — Ах, злодей, чего измыслили! Да ты ведаешь ли, на какую пагубу толкали тебя? — тряхнув головой, воскликнул Пугачев и отбросил упавшие на глаза волосы. — Стало быть, угадал я тогда, Перфильев, что со злым намереньем ты прискап. Ах, Перфильев, Перфильев!

— Вниюсь, ваше величество! Опасался вдруг... открыться вам, язык не поворачивался... Ну, только что положил я в душу служить вам верно-неизменно...

— Правду ли говоришь, Перфильев?

— Богом клянусь и всем светом белым! — воскликнул казак.

Он был горяч и скор в решениях, зод на пезадачливую жизнь свою, на холодный себлюбивый Питер, на графа Орлова, что втравил его в лихой умысел, особо же на самого себя — за то, что неоглядно взялся за этакое окаянное дело. К чорту же, к чорту! Он еще тогда, впервые взглянув в мужественное лицо Пугачева, бесповоротно решил связать свою жизнь с этим человеком. В нем, в Перфильеве, вскрыла казачья кровь, сердце его рвалось разделить участь с обиженным царицей казачеством и помочь Пугачеву поднять народ.

Бывалый, смысленый, он ясно видел, что все атаманы вместе с Овчинниковым, Падуровым, Витошновым умышленно притворялись, признавая Пугачева за императора Петра Третьего. Все, все они до единого обманывали близких и дальних, а шине

когда народ и взаправду поверил им, стали эту веру народную оберегать, стали зорко следить друг за другом — не споткнулся бы кто. Что ж, он, Перфильев, и сам пынче готов на все. Даже если впереди и ожидает его жестокая расправа царицы... Пусть! Пятиться он не станет... Лед взломало, река тронулась, полые воды затопляют берега, и — гуляй душа, добывай казак волю!

Вытаращенными глазами глядел Перфильев в хмурое лицо Пугачева, он весь был в каком-то воступлении, готовый на любые жертвы по зову этого, близкого его сердцу, человека.

— Богом клянусь и всем светом белым! — повторил он, и, выхватив саблю, с жаром поцеловал ее сталь: — Клянусь, ваше величество, на боевом оружии своем! Верь мне, отец наш!.. Веди, куда народ зовет!..

Пугачев поднял руку, сказал:

— Благодарствую, Перфильев. Поги и служи мне. Служи, как я... сирому народу служу...

Так был вовлечен в круг пугачевских дел один из самых верных приверженцев царя-самозванца — яицкий казак Афанасий Петрович Перфильев.

Поклонившись, Перфильев было собрался уходить, но Пугачев остановил его.

— Поддай-ка мне обутки сапоги, — неожиданно сказал он, мотнув рукой к печке, где лежали сапоги.

Перфильев с готовностью подал.

— Пособи-ка обуться, брат... — сказал Пугачев и вытянул ногу, зорко наблюдая за выражением лица Перфильева.

Тот, припав на колени, со всем усердием напаял на ногу Пугачева сначала теплый чулок, затем форсисый подкованный сапог, вскочил, ухватился за ременные ушки и натянул поглубже, сказав при этом:

— А ну, притопните, ваше величество, ногой-то... Вошел-ли?

— Вошел. Спасибо, — ответил Пугачев и многозначительно добавил: — Не гордый ты, без чванства. Ну, а другой сапог я уж сам. — Однако правую ногу обувать Пугачев не стал. Спросил казака: — Слышь-ко, Перфильев, а что да что про меня в Питере-то балакают?

— Да кто его ведаст, батюшка... Чернь проговаривается, пьяненькая, да и то не влявь, а скрытно: явился-де возле Оренбурга государь Петр Третий и города с крепостями берет...

— А что ж, сущая истина! — сказал Пугачев. — Сам видишь, сколько крепостей взято. А народу у меня несметно, кажинный бо-

жий день пятьсот да тысяча, пятьсот да тысяча! Меня чернь с радостью везде примет, куда бы ни пошел я. Крестьянство, как стадо без пастыря, только голоса моего ждет. А я, братец, уж крикнул, крикнул! Аж гулы кругом пошли! Ну, а как, того... наследник мой?

— Павел Петрович обручен, а теперь, поди, и свадьбу сыграли...

— Ах, ах!.. Не довелось мне на свадьбе у сынка своего погулять, — Пугачев вздохнул и опустил голову. — Детище мое рожбное... — Затем он поднял лицо, глаза его были влажны. Встряхнув волосами, спросил в упор:

— Веришь ли мне, Перфильев, что есть я истинный Петр Федорович, третий император?

Перфильев замаялся. Пугачев пронзил его строгим взглядом. Казак дрогнул. Испорченное оспой лицо его стало сизокрасным, как бурак, небольшие острые и сердитые глаза виляли по сторонам.

— Отвечай, Перфильев, — дружелюбно повторил Пугачев и как бы приторкыл для казака некую лазейку: — Веришь ли обету моему?

— Верю, ваше величество! — громко, с облегчением, выкрикнул казак.

— Верь, Перфильев!.. Ты в меня верь, а я в тебя и во всех вас верю, а наипаче народу-труднику... по зову его и объявился. И еще скажу: ежели не будет в нас веры обоюдной, от нашего дела, от обета нашего одни черепки, как от разбитого горшка с кашей, останутся, а каша-то барам в лапы угодит. Я есть царь твой, а ты мой верный раб. На том стой до смерти!

Пугачев подарил Перфильеву кармазинный красный кафтан, одиннадцать рублей денег и копей.

Едва казак ушел, Пугачев, кряхтя, стащил сапог с ноги и, оставшись снова босым, принялся за прерванную работу. Серп месяца еще больше высветлился и успел подняться над пуховыми, погружившимися в сумрак крышами. В зеленоватом небе взмгивали звезды. Ермилка принес две зажженных свечи, задернул окна занавесками.

— Ваше величество, — сказал, входя, Давилин. — К вам выборные от Воскресенского завода просятся. Да еще от четырех волостей ходоки-крестьяне.

— Фу ты, и заняться не дадут, — молвил Пугачев и сплюнул. — Ну, ин ладно!.. С завода пущай войдут, а крестьян на утро, или... в военную коллегию пусть. Стой, крикни-ка Нениле, валенки мои на полатах...

Да подай-ка сюда государев кафтан мой при шенте, при звезде который.

3

О приезде из Петербурга Перфильева и о том, что государь почтил его богатыми дарами, уже знала вся армия. А перебежчики донесли о нем весть и до Оренбурга. Сам Пугачев и атаманы пустили молву, что прибыл из столицы гонец с известием от самого наследника Павла Петровича: наследник выйдет-де скоро на помощь отцу с сильным войском и тремя генералами.

Оренбург этому всему, разумеется, веры не дал. Вскоре сам Пугачев с двухтысячным отрядом подступил рассыпным строем к городу. Все яицкие казаки, оставшиеся верными правительству, высыпали на вал крепости в надежде увидеть Перфильева, которого знали лично.

Было раннее утро. Красноватый шар солнца медленно выплывал из-за горизонта. Дерестрелка не зачиналась. Обе стороны оглядывали друг друга. Перфильев молодежато вымахнул вперед своей частью и, подбегая к валу, закричал:

— Эй, казаки-молодцы! Поприглядитесь ко мне, да узнайте-ка, кто я есть!

Тысячи любопытных глаз влипли в бравого наездника, любовались его красным, с меховым воротником, кафтаном, лихо заломленной на затылок высокой шапкой, серым, удало прихлясывающим конем.

— А кто ж тебя знает, кто ты!— кричали с крепости.— Видим, что казак... У кого барского-то коня украл?

— Я есаул яицкого войска, Перфильев, был по вашим делам в Петербурге. А оттуда прислали великим князем Павлом Петровичем. С приказом к вам, яицкие казаки! Чтобы вы крепость бросали да шли бы служить законному императору Петру Федоровичу!

— Перфильев ли ты, не знаем, отсель личность твою не можно рассмотреть. Подъезжай ближе! Да покажи нам грамоту от Павла Петровича. Тогда мы все уйдем к вам...

— На что вам грамота?— звонко голосил Перфильев.— Глядите на меня: я сам есть живой, Павла Петровича посланник!

— Нет, брат!— отвечали с крепости.— Ты, может, и верно — посланник, только не весть от кого. Отъезжай, куда цел!..

Тут ударила с крепости пушка, морозный воздух дрогнул, пролетевшая ворона метнулась в бок, ядро с воем пронеслось над пугачевцами. Пугачев отдал приказ возвращаться во-своися.

— Пустобаев,— сказал он могучему старыку-казаку.— У тебя силенка есть и голос — что труба... Садись-ка ты в эти сани да подвези под самые стены пять мешков муки...

— Кому же, ваше величество, муку-то?— соскочив с коня, пробасил гулко Пустобаев. С проседью широкая борода его моталась под ветром великом.

— А вот кому,— ответил Пугачев.— Сбрось ее там, в стену. А как сбросишь, дак возгарьни, что, мол, от государя императора подарок. Ни ружья, ни пика не бери с собой, а поезжай мирно... Чуешь?

— Сполню, ваше величество, батюшка!— Пустобаев, шевеля бровями и морща лоб, залез в сани, взмахнул кнутом и двинулся по направлению к Бердским крепостным воротам.

«Вот так уха из петуха!— раздумывал он.— Да уж не с ума ли спятил батюшка, чтоб непокорных снедью жаловать?»

Вскоре раздался на всю степь зычный голос старика:

— Эй, народы! Слышь, нет?

— Слышим!— донеслось от крепости.

— Как вы все изголодались, лошадей всех переели, а теперь скотские божи в плещу употребляете, так вот царь-батюшка жалость возмелет к вам... Слышите? И жалует он вас по-первости пятью мешками оржаной муки. Молите за отца нашего богу да ешьте на здоровье!..

Он сбросил мешки при дороге, стегнул лошадей и, все время оглядываясь, понесся прочь.

...Вскоре возле мешков выросла толпа. Поднялись крик, ругань, а затем и потасовка. Мешки то грузились на салазки, то вздымались на загорбки. Но более сильные с боем завладевали нечаянным добром.

— Это не по-божески!— вопили в толпе.

— Всем поровну, всем! Волоки на важную!.. Там разделим.

А когда вкатился народ с мешками в городские ворота, его сразу же окружил наряд конных полицейских и сотня казаков.

— Мирянушки! Не отдавайте! Это нам бог послал...

— А ну, в нагайки!— скоманцовал казачий сотник.

— Окаянные! Хриstopродавцы!— завели разбежавшиеся под ударами нагаек голодные горожане. Иные из них, прыдя в отчаянье, повалились на тугие мешки:— Лучше убивайте нас,— кричали они,— а добро не отдадим!..

Со всех сторон сбегались люди с дубинами, топорами, железными палками. В крепо-

сти забил барабан, скатывалась вниз, в город, вооруженная подмога. По улицам и переулкам вскипела драка. Двух стариков затоптали насмерть, какой-то тетке вышибли пагайкой глаз, кузнецу раскроили саблей голову, многим повредили руки, ноги. Люди валялись на снегу, стонали, изрыгали ругательства, ползли, обливаясь кровью, на карачках.

Перемешанные с грязным снегом и лошадиным калом, серели на дороге кучи ржаной муки, на кучах усердием работали воробьи. Там и сям валялись в ключья раздернутые пустые мешки, чернели лапти, шапки, опорки, оторванные в драке полы.

От губернаторского дворца проскакал на коне обер-полицмейстер, следом за ним, в открытых санях, губернатор Рейнсдорп с генералом Валленштерном. Губернатор пучил во все стороны изумленные глаза, ничего не понимая.

Емельян Иваныч узнал о происшествии лишь поздно вечером. Во дворец ввалился пьяный Пустобаев, без шапки, в наспех наброшенном на плечи полушубке и, шифко кланяясь сидевшим за столом Пугачеву и Шигаеву, закричал:

— Ключуло, батюшка, ключуло!

Он силно дышал и щурился на огоньки свечей.

— Ты о чем, дед?— спросил Пугачев.— Что там у тебя ключуло?

— А мушца-то, пять мешочков-то,— оглаживая лудовой рукой бороду, ответил Пустобаев.— Ключуло, говорю... Как на приваду... Сей мигут прибегли оттедова, с Оренбурху, четверо штукатуров, да три сапожника со всем струментом, да мастеров слесарного цеху человек шесть, тоже со струментом, да восемнадцать человек солдат с ружьями, с порохом, да пятьдесят два наших ящичных казачишек, при них четыре бабенки, ваше величество. Ур-ра, батюшка, ура!— скосорогившись, заорал вдруг Пустобаев и замахал руками; по горнице гулы пошли, а Пугачев, ткнув Шигаева локтем вбок, захохотал:

— Видал, Максим Григорыич? А ты муки жалел...

Пустобаев вытер кулаком слезы на глазах и восторженно сказал Пугачеву:

— Ну, батюшка, твое царское величество! Сатана китер, а ты, те во вред тебе будь сказано, похитрей сатаны будешь...

Пугачев опять захохотал, послонил паль-

цы и снял со свечей нагар. В горницу вошел Давилкин:

— От атамана Овчинникова гонец...

Пугачев кивнул. Появился вспотевший круглолицый казак с пагайкой:

— Мне приказано доложить, что из Оренбурга только что объявились перебежчики...

— Знаю, знаю,— махнул Пугачев.— Оспоздал, брат. Ты ша коне?

— На коне, ваше величество...

— А ты, Пустобаев?

— А я на своих на двоих, батюшка. Вмах бежал... Первому оповестить хотелось... Ведь я с утра не жравши, и обед на ум не шел... Все думал да думал: зачем бы это, мол, царю-государю в ум взбрело муку неприятелю подбрасывать?

— А таперь спознал?— милостиво спросил Пугачев.— Всякий таперь убедится, что в Оренбурге голод живет. Не долго уж Рейнсдорпу супротивничать моему царскому величеству. А ежели будет упорствовать, так народ с голодухи-то сам ворота otvorит мне. А за верность твою и за усердие, жалую я тебя, Пустобаев, чинном сотника. Твои атаманы вместеях с комендантом Симоновым в рядовых тебя до седых волос держали, а я еот, император, награждение тебе дарую. Служки и епреть верно, как предки твои служили моим предкам блаженной памяти.

Пустобаев повалился Пугачеву в ноги и со всем усердием стукнулся широким лбом в половицу.

Военная хитрость Пугачева имела удачный для него отзвук в Оренбурге. В народе говорили, что не пять мешков, а целых шесть возов было с хлебом, да бедноте-то не досталось ничего: немилое начальство весь хлеб спроворило себе забрать.

Вездесущая Золотариха в хлебной складке участия не принимала, у нее в то время гузлял купчик Полуехтов. Он поведал шинкарке о своем приключении в Берде, о том, как разбойник Пугачев приказал обрубить ему ухо, но спас его промысел божий да дюжий старичина Пустобаев: «Я, говорит,— этому жулику и ухо обкарнаю и в город отвезу». В город он действительно Полуехтова отвез, но к уху его не прикоснулся и ни гроша за услугу свою не взял. «Только,— говорит,— на глаза батюшке не показывайся...»

— А ведь я ему империял совал... Путка, милушка, налей во здравье Пустобаева. Ура!

Между тем голод все настойчивей давал о себе знать осажденному Оренбургу.

Бибилов даже при поверхностном знакомстве с положением дел в Казанской губернии пришел в отчаяние. Боже, что за колпак, что за безвольная тряпка этот Брант! Ему ли, этому старому немчуре, управлять губернией в столь смутное время?

Не выпуская из руки пера, Бибилов при посредстве секретной комиссии сразу впрягся в неослабную работу: день и ночь писал он инструкции, приказы, принимал множество просьбителей с жалобами на нераспорядительность начальства, на многие обиды и убытки, творимые восставшей чернью и башкирцами; выгонял с должностей нерадивых чиновников, заменяя их тотчас надежными людьми из своей многочисленной, прибывшей с ним свиты. Узнав, что нелепой прихотью Бранта некоторые ответственные места в губернской иерархии заняты пленными польскими конфедератами, Бибилов состроил брезгливую мину. «Отказываюсь понимать милейшего Якова Илларионича... Какая вопиющая политическая беспринципность!»

Он все еще не находил времени как следует перемолвиться с губернатором. И вот 1 января, когда губернские чиновники приносили Бибилову новогоднее поздравление, он взял Бранта под руку, отвел в кабинет и там заперся с ним.

— Яков Илларионич, как это случилось, что Пугачев на ваших глазах мог сколь усилиться?

Брант мялся, не находя надлежащего ответа. Наконец сказал:

— Дражайший Александр Ильич, я считал бы справедливым подобный вопрос адресовать не мне, а губернатору Рейнсдорпу... В нем корень зла!

— Может быть, отчасти вы правы. И подобный вопрос, только в сугубой степени, будет своевременно Рейнсдорпу предложен. Но вот, вы-то скажите мне по-приятельски, почему так нерешительны стали в делах своих? И все у вас... гм-гм... шиворот-навыворот. Подчиненные сверх меры распущены, ни дисциплины, ничего. И эти конфедераты... Ох, уж эти конфедераты! А вы с ними цацкаетесь, на балах они у вас первые гости.

Брант, волнуясь и мысленно шепча «умную» молитву, стал оправдываться:

— Ну, а что же я могу поделать, когда все меня обманывают? Кем места занимать, если честные люди редки в наш век? Тут и про конфедератов вспомнишь, и им поклониться...

— Нет, Яков Илларионич, вы не правы. Среди нашего чиновничьего мира много лю-

дей добропорядочных, лишь надо знать секрет выискивать их. Или, быть может, вы нашим людям предпочитаете вообще иностранцев? Я прежде звал вас за человека энергического и справедливого, а вот ныне...— Бибилов развел руками.— Сами посудите, па что сие похоже: воеводы и гражданские начальники страха ради из многих мест удалились, бросили города свои на расхищение злодеям. Край оставлен без правителей, без защиты...

Брант был до чрезвычайности взволнован, он весь внутренне сжался, даже позабыл следить за пульсом.

— Все меня обманывают, все обманывают,— бормотал он и сокрушенно потряхивал головой.

— Ежели сами не можете всем распорядиться, за всем усмотреть, так приказали бы присматривать за порядком кому-либо из надежных...

— Как это возможно! — воскликнул Брант скрипучим голосом и зажевал губами.— Ежели я не поеду по губернии, так и никто не поедет...

— Удивляюсь,— сказал Бибилов и стал отдуваться, как будто ему нехватало воздуха.— Уж не больны ли вы, ваше превосходительство? Может быть, на покой хотели бы, да стесняетесь? Прошу вас быть со мной откровенным.

Бранта стало бросать в жар и в холод. «Вот оно... вот... началось»,— мелькало у него в мыслях.

— Ваше высокопревосходительство,— нервно откашлявшись, сказал он, и старческие глаза его оживились.— Прошу повергнуть к священным стопам ее величества изъявление моих верноподданнических чувств и заверить государыню в моей ревностной в столь тяжелое время для нашего отечества службе.

Бибилов насутился, молчал. Он заметил, как рука Бранта, управлявшая орденский бант на груди, дрожит мелкой дрожью.

— Ну, а каков же у вас план, Яков Илларионич, для истребления злодея?

Тогда, собрав последние силы, Брант стал излагать Бибилову свои соображения. Служая его сбивчивую речь, Бибилов то удивленно векидывал брови, то пожимал плечами. Неужели этот немец выжил из ума, перестал мыслить широким планом, как подобает государственному мужу? Сдается, Пугачев для него то же самое, что для ребенка бука, не больше!

— Не кажется ли вам,— едва сдерживая чувство горечи, начал главнокомандующий,— что ваш план для уловления плута Пугаче-

ва недостаточно основателен и, я бы сказал... я бы сказал... просто наивен! Вы советуете защищать границы Казанской губернии, дабы не допустить за оные толпы мятежников. Не так ли? Но разве Оренбургская и прочие губернии за пределами нашей империи? Пугачева надлежит истреблять всюду, где бы он ни был обнаружен: Если б он и под водою скрылся, то и там его должно атаковать...—Подметив, как лицо Бранта покрывается мертвенной бледностью, Бибииков оборвал речь, испуганно звякнув в звонок и поспешив старика на помощь.

Хотя сегодня большой гражданский праздник — Новый год, но у Бибиикова полна охапка всяких дел. Он направился в дом предводителя дворянства Макарова, где ожидали его казанские дворяне.

В приподнято патриотической речи Бибииков изложил дворянам свой взгляд на происходящие в крае события и напомнил, что первый долг дворянина жертвовать не только всем своим именем, но и жизнью для спасения отечества.

— Я говорю с вами, как дворянин с дворянами. Наши интересы суть едины. Я призываю вас оказать мне немедленную помощь к прекращению до крайности возросшего зла.

Ответив Бибиикову не менее парадной патриотической речью, припугнутые дворяне тут же постановили составить из собственных крепостных и своим иждивением вооружить конный корпус, собрав для этой цели по одному человеку с каждых двухсот душ. Командование корпусом было поручено родственнику Бибиикова, отставному генерал-майору Ларионову.

На другой же день казанский магистрат, ведающий купечеством, постановил, по примеру дворянства, сформировать конный эскадрон гусар на своем иждивении и содержании.

В поощрение дворянству, Екатерина придала на себя звание казанской помещицы. Bravo, bravo! Императрица умеет играть на душевных струнах своих подданных. Получив известие от Бибиикова, она весьма довольна была поведением казанского дворянства: «Сей образ мыслей прямо есть благороден». П 20 января 1774 года дала указ дворцовой канцелярии: собрать с государственных крестьян Казанской губернии по одному человеку с двухсот душ и «снабдить каждого всем к службе потребным: мушкетром, амуницией и лошадью с прибором».

Гонец из столицы скакал быстро. Уже через неделю Бибииков получил от Екатерины

рескрипт и личное письмо. А три дня спустя, то есть 30 января, он собрал дворян, живших в Казани и окрестностях, для объявления им высочайших словозизлияний.

Дворяне, заранее ознакомленные с содержанием рескрипта, в эти три дня успели к торжественному собранию подготовиться. Предводитель дворянства Макаров позвал к себе в гости возвратившегося из Самары Державина и попросил его составить ответную от имени дворянства речь, к императрице обращенную.

— Я осведомлен, молодой человек, от вашей достопочтенной родительницы,— сказал он,— что вы искусны в пиитических оупах, а также с отменным изяществом излагаете свои мысли па бумаге.

Державин, отдавая поклоны, сначала отказывался, краснел, наконец, согласился. Удалясь в кабинет хозяина, куда были поданы ему для вдохновения графин смородинной наливки и закуска, он довольно быстро набросал нужную речь и затем, сияющий, вдохновенный, приподняв плюшевую портьеру, вернулся в зал.

— Готово, ваше превосходительство! — воскликнул он, прищелкнув по бумаге перстнем.— Разрешите огласить?..

— Стойте, стойте...— вымолвил задремавший в кресле хозяин.— Сейчас, душенька, своих скличу,— и приказал позвать жену и четверых ребятишек.

Явившиеся уселись на широкий, в парчевой обивке, диван. Маленькая Верочка, в бантах, удивленно открыв малиновый ротик, уставилась темными детскими глазками на великана. А тот, оправля офицерский кушак с шелковыми кистями, нетерпеливо поглядывал на предводителя. В толукруглые, выходящие на запад окна падал солнечный холодный свет. Всяду блеск позолоты и хрусталя. В простенке — большой, писанный масляными красками, портрет Императрицы во весь рост, а в противоположном простенке, от потолка до пола, богатое трюмо. Екатерина, в накиннутой на плечи порфире, гляделась в зеркало и приятно самой себе улыбалась.

— В сей зале послезавтра,— сказал предводитель, сделав плавный жест пухлой барственной рукой,— генерал-аншеф Бибииков будет принимать доверившееся моему попечению дворянство.— Лицо предводителя крупное, овальной формы, одутловатое, нос широкий, приплюснутый.— Итак, приступим,— сказал он.

Державин выставил вперед левую ногу, правую руку закинул за спину и откашлялся. И все, приготившись слушать, тоже ле-

гонько отпашлялись. Отпашлялась, подражая взрослым, и маленькая Верочка. Державин повел взором по портрету государыни, по лицам хозяев дома и стал с выражением читать мужественным басом, напрягая голос все громче и громче.

Когда он закончил чтение речи, хозяин восторженно закричал:

— Браво! Великолешие! — Он подшаркал по скользкому паркету к Державину, обнял его и трижды чмокнул в мясистые, чисто выбритые щеки. — Ах, какой слог, какая сила и... какой благородный пафос! Златоуст! Демосфен!

Варсонофий Перешибь-Нос, беглый екатерининский солдат, захотился самолично взглянуть на славного мужицкого паря. Он еще по осени слышал царичины манифесты, где говорилось, что бунт на Яике поднял какой-то беглый казак Емелька Пугачев. Да уж не тот ли это казак Емелька, который шесть лет тому назад распорядился совместно с ним, с Варсонофием, на войничке в селе Большие Травы? Чем черт не шутит, пожалуй, он самый и есть! Еще ведь о ту пору казачишко поваден был озорству и дерзости.

Варсонофий подъехал к Берде поздним вечером. Сидевшие в овраге караульные мужики остановили его и, узнав, кто он, дали ему прият в землянке. За ужином, у пылавших костров, Варсонофий расспрашивал крестьян о государе: каков он из себя. Ему отвечали: «Батюшка черноволосый, крепкий, кость широкая, взгляд орлиный, а когда идет пеш — народ едва успеваает за ним вприпрыжку» — «Ну, стало, он и есть», — решил Варсонофий.

Случайно повстречал он Пугачева, с глазу на глаз, лишь на третий день. Емельян Иваныч вышел разгуляться. Был погожий вечер. Варсонофий сразу признал Пугачева и даже улыбнулся ему по-приятельски, но вслед за тем повалился в ноги.

— Здрав будь, Емельян Иваныч!

Пугачев с суровостью взглянул на него, негромко, но резко спросил:

— Кто таков?

— Перешибь-Нос я... Не признал?

— Стой, стой!.. Варсонофий, что ли?

— Я и есть.

— Встань. Откудава прибыл?

— Из отряда Арапова.

— Где же ты шесть, почитай, годков скрывался?

— На Иргизе, у скитских старцев время проводил, батюшка.

— Так... Добро! Прибудешь ко мне об

эту пору завтра, — потемну. Да чтоб на левом рукаве у тебя холстянка была. С вязкой белой пропустят. И чтоб язык твой касаемо прошлого онемел вовсе... Я пари твою. Понял? Прощай! — и, сдвинув брови Пугачев ходю аюшагал прочь.

...Беседа Пугачева с Перешибь-Носом состоялась тайно, в комнате-боквушке, где когда-то принимал царь Дашеньку с Устиной Бузнецовой.

Густые рыжеватые усы Варсонофия свисали на грудь. В широко открытых глазах его — полная покорность и пристальное, как у солдата в строю, внимание.

Они говорили, выпивали. Дверь плотно закрыта, горит на столе сальная свеча.

— За усердную службу твою, Варсонофий, спасибо тебе. Мне про тебя Илья Арапов докладал, атаман. Жалую тебя, Варсонофий, полковником своим...

— Благодарствую, батюшка, Емельян Иваныч, — ответил Перешибь-Нос и, распрявив насушенные брови, встал и поклонился Пугачеву.

— При народе меня царем зови, слышь? Царь и царь...

— Понимаем, все понимаем, батюшка.

— То-то! Будь верен мне и дела нашего по глупости своей, смотри, не сгуби... Помнишь, как мы с тобой в Больших Травах бучу подняли?

— До смертного часа не забуду, ерш те в бок!.. — оживился солдат.

— М-да... О ту пору у нас только Травы были, а теперь, выходит — вековые древесца. Давай-ка, братец, вместиах столбы рубить, заборы-то сами повалятся. Ась?

— Истина твоя, ваше величество, повалятся. Ежели столбы срубить — заборы рухнут! — Варсонофий покрутил усы, осторожно тронул Пугачева за коленку. — Всю жизнь у меня, у старого солдата, в мыслях было: чем бы и как нашу мужичью судьбишку прикрасить... А вот таперича...

— В судьбу свою зашли мы, как в темный лес, — перебив его, раздумчиво откликнулся Пугачев. — И конца-краю тому лесу не видно... — Он вздохнул, однако глаза его поблескивали упрямым непокорством. Приступив о стол кулаком, он, не таясь, повысил голос: — Эх, либо в стремя ногой, либо в пень головой! Так, что ли?

— Так, так, ваше величество, Емельян Иваныч!

Наступило молчание. Над Бердой с гулом пронеслась молча. Поскрипывали оконные ставни. Изразцовая печь прогорала. По алой россыпи углей, подернутых седоватым пеплом, струились синие огоньки. Хозяин под-

бросил в печку дров, прошелся взад-вперед и, как бы прислушиваясь к словам своим, тихо молвил:

— Опаска берет меня, Варсонофий, сумнительство. Дела-то нам, мотри, пожалуй не кончить. Силенок маловато при нас.

Жадно улетая осетрину, Варсонофий сказал:

— Что там! Силенки, батюшка, добавятся. Вот ужо крестьянство понатужится, да к тебе и повалит. В больших тысячах будешь, отец родной!

— Крестьянство и так валит. Только велик ли прок в том? Мы на Катьку-царицу с кляушками, а она на нас — с пушками. Вот, слышно, самого Бибикова, генерала, выслала по наши души.

Голос Пугачева дрогнул, брови дугами высоко вскинулись, а концы губ припустились. Он знал, что Санкт-Петербург зашевелился, собирает против него силы, и не последний-цесаревич полки в его защиту ведет, а сам генерал-аншеф Бибиков ополчился на него... Слух был — уже в Казани он, Биби-ков. Помнит его Емельян Иваныч еще по Пруссии: воюка что надо!

— Вот какие дела-то, Варсонофий! — проговорил он глухо, остановился подле солдата и, заложив назад руки, ищуще заглянул ему в суровое, мужественное лицо.

В последнее время частенько вступал Емельян Иваныч в беседу с теми из своих близких, кого считал не только надежным, а насобицу и крепким душою. Он как бы искал помощи и опоры, предвещая близкие нелегкие дни в перавной тяжбе своей с дворянами и с первою среди них дворянкою — царницей.

Перешиб-Нос толкнул в сторону блюдо с жирною осетриной, сытно рыгнул и, подумав, сказал:

— Известно, с сильным не борись, ерш те в бок, с богатым не судись!.. А только одно держу я в мыслях, Емельян Иваныч: не мы, так другой кто, а кому-то зачинать надобно было. Вот ты о генералах... Генералов-то царских десятками считают, а крестьянства-то на Русь великие миллионы... Всех, значит, не перемнешь. Пас, сырых, потопчут — другие которые встанут... Главное — пачать! Не век же, ерш те в бок, мужику под барами маяться!..

— Правильно судишь, Варсонофий. — одобрил Емельян Иваныч. — Всему голова — начало... А ежели начало положил, так уж... того... не пятиться! Наклянем, что ли? — и Пугачев потянулся к чарке. — Поболе бы мне таких, как ты, Варсонофий. Да вот еще тяглых людшек с заводов. Да, прямо ска-

жу — отменный народ! Намедни с Воскресенского завода выборные были... Ну, любю послушать. «Мы, — говорят, — твою величеству — ядра да пушки, а ты нам — солдат своих на защиту. А солдат, — говорят, — у тебя вло-сталь, только, слышно, распорядку мало!» И, конечно, вскипел. «Не вам, — говорю, — в распорядок мой царский носы совать!..» И прочее такое. А один тряхнул башкой и говорит: «Ваша, — говорит, — воля, а без распорядку и лопаты не выкуешь». Дал — бо-ле шумели мы изрядно, ну а все же в пол-ном расстались согласи, при общем антире-се. Эге, полковник, — прервал он себя, — а ты, я вижу, ждешь подзатыльника от хозяина. Пить так пить! А что до Бибикова, так ведь это как еще обернется... Шел суп-против меня Кар-генерал, а встретились, — его превосходительство едва ноги уволок. Даром, что при пушках был... И пушки свои побросал, в гостинец мне... Ха-ха!

— Пушки, это — да! — заметил Перешиб-Нос и, опрокинув чарку, закурил хлебом с хреном. — У тебя-то как, ваше величество?

— С пушками? Трохи-трохи имеем. Да маловато. Поджидая еще. Да! — вскричал Пугачев, хлопнув себя по лбу. — Было запам-товал... Ты Носова, старика-бомбардира, помнишь? Павла Носова?

— Как же!.. Вместях до самой столицы Фридриха перли, ерш те в бок, до Берлина!.. Еще мы с ним споры-разговоры вели...

— Насчет присяги и прочее? — подхватила Пугачев. — Он самый... Ну, так — при мне старина. В бомбардирах же орудует.

— Ой ли?

— А вот заутро увидишь... Сам, видишь ли, ко мне объявился, верноподанно.

Они проговорили до рассвета, а чуть стало светать, Перешиб-Нос пошел на кухню отсыпаться. Пугачев же, не ложась, стал собираться к войску, на очередную учебу.

5

Тот же, у предводителя, зал. Дворянство и сборе. За Бибиковым поехали два депутата. Он в военном мундире с андреевской черес-плечо лентой, в ботфортах. Глаза, как все-гда, живые и быстрые, но лицо утомленное, бледное, с желтоватым оттенком.

Выезд был пышный. За ковровыми сая-ми главнокомандующего сказали на коле-ных конях уланы в шергольских мундирах. Народ махал шапками, кланялся, вы-крикивал приветствия. За месячное пребыва-ние Бибикова в Казани, жители успели опе-нить его, они опознали в нем начальника твердого, справедливого. Да, Бибиков по ду-

ше пришлось казанцам. Многие чиновники, казпокрады и взяточники, «слетели» со своих мест, едва их коснулась рука главнокомандующего. Туда им и дорога! Это тебе не Кар и не Брант, не «фон-барон» какой-нибудь, а наиприродный русак — Александр Ильич Бибилов. И всяк знал, что есть он прославленный герой-воиак... Ура Бибилову, ура, ура!

В вестибюле главнокомандующий, как полагается, был встречен одним из помещиков. А на верхней площадке парадной лестницы, обставленной аляповатыми гипсовыми статуями, представлявшими копии античных образцов, Бибилова приветствовал сам хозяин, предводитель дворянства Макаров. Он в старинном пышном парике, в кафтане табачного цвета, с серебряным шитьем, потемневшим от времени. В зале, возле портрета Екатерины, стояли полукругом, в напряженных позах, Дворяне — разных возрастов и разных комплекций: высокие и приземистые, толстые и тонкие, плюгавые и большебрюхие. Все взирало на подходящего к ним Бибилова с любопытством, рабской преданностью: «Грядет избавитель!»

Бибилов пожал всем руки, затем отступил на несколько шагов и начал:

— Господа дворяне!..

Но в этот миг приоткрылась дверь в соседнюю комнату, и вихрем ворвалась похожая на куколку предводительская Верочка в коротеньком платьице и панталончиках. Бибилов, улыбнувшись одними глазами, видел, как от дверей бросилась в сторону одетая в воздушное платье хозяйка и трое детей, а гувернантка уже бежала за Верочкой, которая, по-детски хохоча и повизгивая на бегу, лепетала:

— Ах, глупости, глупости. Я здесь хочу... Я буду дядю глядеть... — взвлек таратора, она ничего пред собой не видела, мчалась прочь от гувернантки, с разбегу налетела на блестящие ботфорты Бибилова, шлепнулась задом на пол и, ударившись затылком о ковер, потешно закорючила свои крохотные, в панталончиках, ножки. Но не заплакала.

Гувернантка и наиболее прыткие из дворян кинулись к ней на помощь. Пользуясь сумятицей, пожилой ловелас Ушаков, вместо маленькой Верочки, ухватил подмышкой пышногрудую Амалию Карловну... Та кокетливо взвизгнула, вильгнула локтями... И все шло в достопадный порядок.

Бибилов поцеловал Верочку в щеку:

— Ах, какой чудесный ребенок! — усадил ее в кресло, сказал: — Ну, сиди и слушай, что будут говорить старшие.

Отец, улыбаясь в душе, сурово грозил присмиревшей Верочке глазами и пальцем. Амалия Карловна стояла за креслом Верочки, пунцовая, словно пион, и строгим взором косилась в сторону толстобрюхого Ушакова.

— Господа дворяне! — вновь воззвал Бибилов. Верочка, с детским любопытством разинув маленький ротик, воззирала на красивого дядю, и перестала мигать.

Ей неинтересны, да и непонятны были слова, — она только слушала чужой голос, как слушают музыку. У дяди волосы темноватые, зачесаны назад («парика потому что нет»), а на маковке лысинка. Вот дядя выкинул руку вперед и маленько поклонился царице и что-то громко сказал, а потом руку опустил: «уморился потому что...»

Бибилов кончил читать рескрипт государыни. Дворяне закричали:

— Да здравствует великая наша самодержица! Да царствует над нами щедрая мать наша! Рады жертвовать всем достойным своим и кровь свою готовы пролить за великую мать отечества. Ура, ура!..

Верочке очень понравилось, как на разные голоса вопили эти... самые... Особенно старался дядя Кузя. У него ножки коротенькие, только чересчур уж толстые, и живот толстый очень, будто большой глобус, «а во рту ни одного, почитай, зуба», кричит и приседает, кричит и приседает — совсем дергунчик... Верочка сначала улыбнулась, потом захохотала и, испугавшись, тотчас прикрыла обеими руками свой непотопный ротик.

Далее — слово предводителя дворянства, затем слово командира Дворянского ополчения генерала Ларионова, готового «остаток дней своих посвятить на службу дворянства. благодарно воспаленного ревностью и примером». Старичок прослезился, нижняя губа его отвисла, он стал искать по карманам платок, не нашел, лицо его омрачилось.

Затем Бибилов огласил собственноручное письмо Екатерины, в коем она принимала на себя звание казанской помещицы. Снова прозвучало восторженное «ура».

Предводитель дворянства поблагодарил главнокомандующего за объявление столь высокой и приятной вести и попросил дозволения высказать дворянам свои чувства пред самодержицей. Бибилов кивнул головой и сказал:

— Прошу!

Речь должен был прочесть казанский помещик Бестужев, но он простудился, охрип и, вместо него, пришлось потрудиться самому Макарову. По его округлому жесту все повернулось лицом к портрету царицы, как в храме к престолу всевышнего. Некоторые

молитвенно подняли брови, закатили глаза, иные с благоговением сложили на груди руки, будто пред причаствием. Екатерина взидала на всех них с усмешечкой, не то одобряя, не то издеваясь над ними.

Предводитель дворянства извлек из-за обшлага голубоватый листок с сочиненной офицером Державиным речью.

Через двойные рамы донесся первый удар большого соборного колокола: призыв ко всеобщей. Предводитель надел очки, отчего одутловатое лицо его приобрело особую солидность и важность. Громким, слегка гнусавым голосом он стал говорить, как хороший актер, то приподымаясь на цыпочках и ударяя себя в грудь ладонью, то простирая руки к монархине.

— «...Исполнением долга нашего — хотя мы не заслуживаем особого вашего императорского величества высокого нам признания; хотя мы недостойны любезного дражайшего нам товарищества твоего, однако высочайшую волю твою разверстым принимаем сердцем и за наивеличайшее ее почитаем благополучие. Начертываем неопценные слова благоволения твоего с благоговением в память нашу. — Предводитель надулся и, взглянув к портрету обе ладони, прокричал: — Признаем тебя своею помещицею! Принимаем тебя в свое товарищество! Когда угодно тебе, равняем тебя с собою! — от азарта, от напора чувств он весь вспотел и налился опасным румянцем. — Но за сие ходатайствуй и ты за нас у престола величества твоего. Ежели где силы наши слабы совершить усердие наше тебе будут, помогай нам и заступай нас у тебя! Мы более на тебя,

нежели на себя надеемся! — вновь надулся и выкрикнул он, потрясая всем корпусом, головой и руками.

Прислушиваясь к чрезмерному крику хозяина, Бибииков насмешливо поднял брови и покосился на Верочку. Но Верочки не было. Верочка убежала к матери и там звонко выкрикивала:

— Ой, ой, мамочка! Папка цариче выговаривает.

Все направилась в собор. Впереди стоял Бибииков с прибывшим к началу богослужения Брантом, за ними дворянство с именитым купечеством. Потом Веннамин служил благодарственный молебен.

Бибииков снова весь погрузился в работу. Были получены сведения, что дворяне сибирские, свяжские и пензенские, по примеру казанских, приступили в свой черед к формированию ополченских корпусов. Екатерина 22 февраля издала особый манифест с восхвалением дворянства, а также и купечества.

Бибииков не обольщал себя надеждою на то, что ополченские отряды могут принести в усмирении мятежа основательную помощь, по смотрел на ополчение лишь как на средство поднять поникший дух населения. Он просил императрицу прислать в его распоряжение несколько полков пехоты, в особенности кавалерии. «Обнаженный от воинских команд здешний край, — доносил он, — не в силах удерживать стремление многолюдной сей и на таком великом пространстве рассыпавшейся саранчи».

Конец первой части

Степные солдаты

Мы спали в обнимку, еду делились,—
Друзья боевые, степные солдаты;
И трудных дорог боевых не страшились,
Но в федуину нашу мы верили свято.

Мы верили свято в пласты чернозема,
Что были когда-то полями, полями,—
Да в кровлю федуного разбитого дома,
Ушедшего в землю глубоко корнями.

Мы спали в обнимку, в атаки ждали,
Врага в фукопашной колоде прытками
И пшеничную кашу по-братски делили
У кувши, звена на ходу котелками.

Когда ж к нам ворвалось жестокое горе,
Дружка одного мы в бою потеряли,—
Сыграли над ним мы последнюю зорю,
Винтовку его мы с земли подобрали,

В шинель боевую его завернули
И в землю сырую его опустили;

Друг другу в глаза сиротливо взглянули
В молчанье над ранней могилой застыли

Земля его долго степями носила,
И все отдавала ему, не скупилась;
Она ему волю давала и силу,—
Теперь неохотно пред ним расстунилась.

Стояли над ранней могилой солдаты,
Глаза их под ветром блестели сухие;
Молчали солдаты и верили свято
В просторы великие грозной России.

Мы верили свято, что рокот тяжелый
К могиле степной издали доносится;
Над вольной землей, по рощам и селам,
Как ветер, как песня над ней пронесется.

И друг наш услышит в остывшей могиле
Неумершим слухом степного солдата,
Что клятву ему мы в бою сохранили —
Вернулись туда, где стояли когда-то.

Солдатские сны

Солдатам часто снятся сны—
В них целый мир и жизнь вторая;
В них синим шелком вплетены
Теченья рек степного края.

В них желтой ниткою расшит
Жарой негнутый подсолнух,
Что чуть листьями шевелит
На берегу речушки сонной.

В них все, что видало давно
И навсегда запечатлелось;
Что сохранить нам суждено,
Как песню юности, что неслась

На берегу реки степной
У камышей неторопливых,
Где тонкой, светлою стеной
Стояли согнутые ивы.

Когда-нибудь настанет ночь,
И мы увидим сны другие:
Хрипенье черных мертвых рощ,
Столбы над степью огневые,

В полях сожженную траву,
Дома, растерзанные в клочья,—
Все то, что видим наяву
Мы третий год и двум и ночью.

Но пусть приснятся эти сны,
Пусть будут ночью бред и стоны,—
Нас успокоит плеск волны
На берегах речушек сонных.

И снова в мирной стороне,
Где дом федуной, сады и реки,—
Все то, что спилось на войне,
Вернется к нам, придет навеки.

Хутор Русский

Сентябрь 1943 г.

Есть хутор Русский на Кубани,
Там нет сейчас живых домов,—
Там горе плавает в тумане
Среди долин, среди холмов.

Они его огнем пытали,
Взрывали толком кажда́й дом,
Четверговали и сметали,
Чтоб память выветрить о нем.

Но он стоял, стеною каждой
За землю русскую держась;
Огнем палим и мучим жаждой,
Он не желал пред немцем пасть.

Они его пытали, будто
Выбрал он русские поля,—
Не сто домов, не Русский хутор,—
А вся, вся русская земля.

Он засыпал им пеплом лица,
Ветвями голыми стуча,
Он звал соседние станицы
К себе на помощь в трудный час.

Остался жив... Дома — калеки,
Пустые окна — сквозняком...
...Перецельвают люди реки,
Бредут из плавней босиком.

С горы идут тропинкой узкой,
Снепаг дорогой через лес:
— Куда идете?
— В хутор Русский.
— Откуда вы?
— Из этих мест.

Рассвет в степи встречает тусклый
Людей, идущих чередой...
— Куда идете?
— В хутор Русский.
— К себе домой?
— Домой, домой!

Они его убить хотели,
Но он, как прежде, будет жить.
Убить и хутор не сумели,—
Где ж землю русскую убить!

★ ★ ★

Виктории

Мы ласкаем чужих детей
В полотняных белых рубахах...
Из походной сумки своей
Достаем пожелтевший сахар.

На коленях сидят у нас
И глядят и глядят на медали:
— Где мой папа воюет сейчас,
Вы на фронте его не видали?

В этом возрасте все они
Друг на друга слегка похожи,—
И глазены у них одни
И родимые пятна на коже.

Сходством редким и я поражен;
Будто здесь отыскав пронажу,
Кудри белые, словно лен,
Я рукой обрубелю глазу.

Может, где-то в моем краю
Бородатый небритый дядя
Дочку ласковую мою
Так же нежно и бережно гладит,

И она ему в этот час
Говорит и глядит на медали:
— Где мой папа воюет сейчас,
Вы на фронте его не видали?

Огонь

Не спит мальчишка в хате темной,
Глаза открыт, и в окне
Он видит заревом огромным
Огонь в приречной стороне.

Он мать зовёт, дрожит в испуге:
— Ой, мама, немец... Спрячь меня...
Но мать спокойна,— то в округе
Горит пшеничная стерня.

Готовит поле для пшеницы
До снега раннего колхоз...
Сверкают в небе над станицей,
Переливаясь, нити звезда.

Сын плачет, вскрикивает, стонет,
Сжимает в полусне ладонь:
Он видит мертвых на затоне
И вновь огонь, огонь, огонь...

Опять горящую станицу,
Опять безрукие тела,

И перекошенные липа,
И над телами шомпола.

...Мать, от бессонницы слепая,
Глаза сжимая, как в дыму,
Лишь на рассвете засыпает,
Склоняясь к сыну своему.

И в этот час, когда ровнее
Сын спит, разжав во сне ладонь,
Отец его на батарее
Вдали командует:— Огонь!

И вверх летят накаты, бревна,
Тела немецкие, бетон...
Но снова слышен голос ровный,
Отец командует:— Огонь!

Дрожит земля, качая воздух,
Сын спит, разжав во сне ладонь,
И снова слышен голос грозный:
— Огонь!

— Огонь!

— Огонь!

— Огонь!

Счастье семьи Есёнов

Было это не какое-то большое счастье, шумное, горделивое. Как раз наоборот. Совсем маленькое, можно сказать, серенькое счастье сереньких людей.

И потому именно, что было оно такое маленькое и тихое, Есёны думали, что отстоят его, думали даже тогда, когда чума, идущая через весь мир (об этом они с ужасом и скорбью узнавали из газет), обрушилась и на их страну.

— Как это странно, — сказал тогда Есён, в первый же или второй день войны, сидя в подвале, полном людей, детского плача, полном узлов с постелями. — Как это странно: мы теперь, невольно и неожиданно, стали такими же «героями истории», как китайцы или чехи. Мы о них читали, смотрели на них в кино, и ты плакала, — помнишь, Влада? — глядя на китайских детей, бегущих по горящему мосту, на толпу беженцев. А сегодня... сегодня, может быть, наш ребенок будет бежать по такому же мосту... Завтра, может, сами мы станем беженцами. И теперь — о нас пишут в газетах. И кто-то, как мы прежде, в какой-нибудь семье, в Швейцарии, например, а может, во Франции, читает о героической Варшаве, о детях, сидящих в подвалах без воздуха и еды, о людях, которые под бомбами ходят за хлебом, за водой для своей семьи — и уже не возвращаются обратно. Это о нас пишут, о нас читают.

Было почти совсем темно. От стен шел пронизывающий холод, хотя там, наверху, стоял великолепный сентябрь. Люди теснились поближе к Есену и внимательно слушали. Неглухой он человек, этот скромненький чиншвик Есён, его любят за складную речь; а жена его, толстенькая, маленькая, вечно в хлопотах, — что за славная женщина! Никто никогда не видал, чтобы она бранилась с соседкой, или кричала на мужа, или ударила дочку.

— Мы назвали ее Алисой, — часто рассказывала Есёнова, — потому что есть такая детская книжка «Алиса в стране чудес». А нам всегда виделось какое-то чудо в том, что она родилась.

И правда, между этими двумя немолодыми, измученными жизнью людьми, такими неприметными в толпе, Алиса со светлыми, как лунный луч, волосами, с огромными глазами на нежном личике и хрупкой фигуркой казалась девочкой из сказки.

— Поздно мы поженились, — говорила Есёнова, — обоим нам было под сорок. И тя-

желая была у нас позади жизнь. Я сирота, материнской ласки не знала, всю жизнь нянчила чужих детей, а сама — старая девка, одна как перст — ни ребенка, ни семьи, ни мужчины. Часто ночью, как раздумаюсь, так и плачу до зари, подушка вся мокрая. Ну, а он что? И у него позади тяжелая жизнь. Разве что мать у него была добрая, ох и добрая старушка! Только при ней и довелось мне, взрослой женщине, испытать, что это значит, когда есть у тебя мать. И так нам обоим с мужем хотелось, чтобы наш брак окупили все плохое, что выпало нам на долю. И одиночество наше, и годы безрадостной жизни, и постылый труд, и унижения, которые суждены беднякам, и все разочарования. Мы просто решили: во что бы то ни стало добудем себе счастье — и добыли. Ох, как же мы были счастливы, а чем? — всякие пустяки для нас были важным делом. Нетрудно человеку быть счастливым, надо только уметь... Что вечерами после работы мы вместе — нам это радость: он читает вслух газеты, а я готовлю ему поесть — повкуснее, всегда чего-нибудь да придумаю, и за гроши, конечно: то огурчик соленный, то селедочку, то смесь из ветчинных и колбасных кусочков, граммов пятьдесят — пусть будет новенькое что-нибудь, а не вечное однообразие. «Вот за однообразие я и ненавижу свою работу, — часто говорил он мне. — Я читаю в книжках, что в труде — счастье, красота, гордость, общественное благо. А мне каждый день — будто в тюрьму идти на эти восемь часов. Мне в этом одно: брюки протираются до дыр да пальцы болят от писания». Так я уж старалась, чтобы хоть дома он находил красоту и благо. Пою всех сил старалась, как только умела. Стирала, мыла, скребла, пока все кругом не заблестит. Отец мой был столяр, и я знаю, что значит для человека труд. Хороший труд, который ему по душе. Когда отцу удавалось хорошо выполнить заказ, он распевал на весь дом, балагурил с соседями, дурачился с ребятишками... Ах, как отец хотел, чтобы мы учились, чтобы все вышло в люди! Да куда там — умер он, как было мне тринадцать лет, и пошла я в няньки... Я на работу свою вовсе не жалею. Я детей всегда любила, и они меня. Только нехорошо, ох, как плохо бывает любить чужих детей! Ты их нянчишь, отдаешь им всю душу, а мать — трах-тарарах! — рассердится и рассчитает. Уходишь, часу лишнего не хочешь пробыть,

а слезы так и катятся по лицу градом. Слышишь, как там, в комнате, за десятью дверями зовет тебя малыш, которого ты годы пелые выхаживала. Вознаградила нас судьба за все тяжелое. Три года прошло, как мы поженились, и когда мы не ждали уж, появилось на свет наше собственное дитя, наша Алиса...

В промежутках между тревогами люди шли из подвалов в свои квартиры за какой-нибудь нужной вещью, наспех готовили там горячую еду, мылись. На пятый день войны Есенины и некоторые из соседей перестали делать такие вылазки. Бомба срезала весь угол их дома, пройдя от верхнего до нижнего этажа. Когда стихло, посреди двора до самой темноты стояла кучка людей и все глядела на то, что осталось от их «домашних очагов». Многоэтажная стена, на каждом этаже — другие обои. У Есенов уцелело еще несколько досок пола. Это был Алисин уголок. Заботливо застланная белая детская кроватка, над нею коврик и картинка — все это как-то страшно и смешно, до слез смешно, будто с издевкой, торчало сейчас в воздухе на высоте третьего этажа. Но слишком тяжелая жизнь была у Есенов позади и слишком больших трудов стоило им счастье, чтобы они так скоро от него отступались.

— Какое «счастье», — говорили они, — что никого из нас там как раз не было.

На восьмой день войны они взяли немного белья, зимние пальто, несколько кастрюль и пошли, как тысячи других. Когда налетали бомбардировщики, они вместе с толпой падали на землю. Они знали, что встанут не все. Когда над ними загорались крыши, рушились стены, они выбегали вместе с теми, кто уцелел. Люди теряли в панике свои узлы, теряли старых родителей, малых детей. Есенины отыскивали друг друга глазами и руками. Он говорил: «Вот мы все тут, не теряйте друг друга из виду, нам надо спастись». Есенова вытирала пот с лица, сгибаясь под своим узлом.

— Может, передохнем немного: девочка измучится, с утра не ела...

Алиса широко раскрытыми глазами смотрела на кровь, на смерть, на пламя.

— Алиса из страны чудес?.. — вопросительно окликал ее отец.

У них были свои особые выражения и знаки, они понимали друг друга без слов.

Девочка отрицательно качала головой.

— Будем отдыхать на месте.

На месте! Что она понимала под этим? Она шла впереди, неся корзинку с едой. Светлые волосы развеивались по ветру, как

пламя, тоненькая хрупкая фигурка сгибалась под ношей. Временами она оглядывалась на отца и мать, и тогда Есенины с шепотом болью в сердце видели, как не по детски смотрят с потемневшего от солнца, осунувшегося от усталости лица широко раскрытыми светлыми глазами.

— Дай корзинку, Алиса, ты уже паработалась.

— А ты?!

И никак нельзя было отнять у нее ношу. Для девочки это стало вопросом чести — помочь родителям, разделить с ними труды, снести все без жалоб.

В придорожном городишке, где Есенины вместе со многими незнакомыми людьми ночевали в подвале сгоревшего домика, какая-то женщина начала выть. К утру она родила. Алиса и этот образ впитала своими широко раскрытыми глазами. А потом подошла к матери близко, близко и зашептала ей в самое ухо:

— Мама, теперь... теперь я, наверно, смогу уже ходить на картины для взрослых?

Чем тяжелей становилось и страшней, тем ярче светила перед Есенинами маленькая голубка, будто звезда, указывающая дорогу. И они шли за этой звездой, согнувшись под узлами и остатками прежнего добра, прежней жизни, шли вместе с тысячами других, шли под бомбами, через огонь, мимо трупов. На восток.

... — Об этом ты думала, Алиса из страны чудес, когда говорила: «Отдохнем на месте?»

Вечерний город, блестящий под дождем огнями фонарей, перерезали красные трамваи. Алиса сонно улыбнулась:

— Да, об этой. И трамваи тут красные, как в Варшаве...

Она согласилась отдать корзинку. Снова это была только десятилетняя девочка, балованная, капризная, не по годам развитая.

Снова ее пачали посылать в школу, снова отец возвращался с работы в пять, садился вместе обедать, сидели вместе, на окошке цвела герань.

После всех ужасов войны, после скитаний наступившее время казалось Есенинам прекрасным и счастливым, как сон.

* * *

Их разбудил голос Алисы.

— Что это? Что это? — спрашивала девочка. Спрашивала нетерпеливо, громко, будто уже знала.

Было темно, темноту рвал далекий непонятный гул.

— Ты проснулась? Иди, доченька, иди сюда, — сказала Есенова.

Алиса босиком подошла к постели матери.
— Что это такое?—повторяла она, еще не совсем проснувшись.— Что это такое? Что это такое?—спрашивала она с отчаянием и страхом. Как знакомо, как ужасно памятен этот грохот и треск. Полтора года его не было слышно.— Мама, это учебная тревога? Это пробный налет, папа? Мне снился такой чудный сон... Будто мы все на большом, большом лулу, таком душистом, как в Лесной Подкове под Варшавой, и мы собирали цветы — много, красные, синие, всякие. Ты, мама, говоришь: «Хорошо бы сейчас немного воды, мне пить хочется». А тут из-за дерева выходит та собачка, от соседей напротив, становится на задние лапки и несет на подносе мороженое...

Есенова плакала.

— Полтора года люди отдыхали, и вот опять... Пришла чума, пришел гад. Было уже так хорошо, уже казалось: начали мы жить по-человечески, отстояли свое счастье...

Есениы занимали одну комнату с семьей сапожника Шульца, тоже из Варшавы. Поперек комнаты тянулась стена из простынь. Из-за простынь донесся голос Шульцовой:

— И сахар уже можно получить без очереди, и клопов в нашем углу мы уже вывели — и на тебе. Опять все разрушат, разгромят, людей поубивают. Опять...

— Опять бросай все,— сказала Есенова,— гинь все, что добыто своими руками, иди скитаться дальше по свету, ютись по чужим углам, погибай, как заправленный зверь.

Снова грохот. Женщины умоляют. Они слушают Есена. Он уже одет. На сером фоне окна, во мраке отец,— чудится Алисе,— стал выше ростом.

— Ничего вы не бросите, никуда вы не побежите,— говорит отец.

— А если придут немцы?— кричит Есенова.

— И думать об этом не смей!— отвечает он.

Утром, как обычно, мужчины идут на работу. Бухгалтер Есен и сапожник Шульц работают в одной артели.

Женщины принимаются за дело. Нет, ни к чему теперь уже перегородка из простынь. Бончены попытки устроить новый «дом» вместо того, который остался в Варшаве. Новую, свою жизнь. Пришла общая беда. Собою снимают они простыни. Простыни понадобятся, чтобы вязать узлы.

На город, залитый июньским солнцем, на дома, полные детей, на больницы, на деревья парков падают бомбы.

— Опять человек не уверен ни в дне, ни в часе.— говорит Шульцова.— Выйти вый-

дет, да воротится ли? И что застанет, когда воротится?

Мужчины вернулись, хоть и позже обычного.

— И думать об этом не смей!— говорит Есен и с сердцем толкает ногой узел.— Набегались уже, хватит. Надо оставаться на своем посту.— И добавляет:— Раз ты нужен, понятно?

— Мы перешли на изготовление военной продукции. Мы шьем сапоги для армии,— слышится голос Шульца из соседнего угла.

— Был митинг, постановили повысить продукцию,— это опять Есен.

Алиса внимательно слушает, переводит глаза то на соседа, то на отца.

Есенова ставит на стол обед.

— Я всегда знала, что значит для человека труд. Мой отец, когда ему удавалось хорошо исполнить заказ, распевал на весь дом,— говорит она вздыхая.— А ты до сих пор...

Гордость и боязнь борются в ее сердце.

— Теперь, может, и я начну распевать,— смеется Есен.

Это последний смех в семье Есенов. Мать целый день не выпускала Алису из дому, а вечером, когда стало спокойно, она разрешила девочке выйти на улицу — только до угла, пусть пробежится.

— Если тревога, сразу беги домой!

И вот тревога, и вот нет Алисы. Мать мечется с улицы на улицу, гул бомб гонит ее. Потом опять тишина. В лавочке рассказали: с того угла скорая помощь подобрала троих детей — они играли в классы, туда упала бомба, осколки далеко разлетелись...

Сколько детей в этом городе? Это ведь, наверное, не Алиса... Сколько больниц в этом городе? Мать отыскивает ту самую. Отыскивает палату, отыскивает койку.

Это Алиса? Это ее Алиса? Их Алиса? Алиса из страны чудес?

Как матери узнать ее? Нет больше светлых волос, нет глаз, лазурных, как небо. Страшная, в красных пятнах чалма из бинтов охватывает всю голову, закрывает лоб, щеки, спускается до самых губ.

— Алиса, зачем ты так далеко побежала?— кричит Есенова.— Алиса, я ведь просила, только до угла, а если тревога — сразу назад,— кричит Есенова.

— Те-с-с,— прикладывает к губам палец сестра Милочка.— У нее сильный жар. Надо ей дать покой. Завтра притете, ей будет легче, сможете разговаривать с нею,— говорит по-русски сестра Милочка.

Есенова возвращается домой.

Ночь тихая, лунная. В высоком чистом

небе гудение зловещих птиц. Тихую лунную ночь разрывает грохот, освещает зарево.

Есенова рассказывает, что Алиса в больнице на Лычаковской, что она ранена осколком, что у ней повязка на голове, что так страшно, так странно, по-чужому выглядят их Алиса в окровавленной чалме из бинтов.

В углу Шульцев слышны всхлипывания. Это плачет Шульцова.

— Такая красивая девочка, боже мой, так все ее любили,— плачет Шульцова.

В углу Есенов никто не плачет. Тихо, ужасно тихо в углу Есенов. Луна освещает их сгорбленные фигуры на сундуке и мешок с вещами, брошенный на пол.

* * *

Утром Есен идет на работу, а Есенова сидит в больнице у Алисиной кровати и в десятый раз говорит сестре Милочке:

— А мы были такие счастливые, такие счастливые. Муж — он души не чаял в этом ребенке.

Милочку поминутно отзывают — то доктор, то дети, то няни или сестры, но она потом снова возвращается и слушает Есенову так же терпеливо, как в первый день.

— Подумайте обо всех этих больных детях... Подумайте, что будет, если сюда придут немцы... А наши бойцы? А их семьи? Ведь не вы одни...— говорит по-русски добрая сестра Милочка.

— Ох, разве я не знаю?— отвечает Есенова.— А когда появился на свет этот ребенок, муж мой прямо рехнулся, можно сказать. Люди смеялись. И носит, и нянчит, и купает — кормил бы сам, если б мог! А потом он и кормил, как же, из бутылочки. А свекровь! Уж и разбаловала она маленькую!.. И такие мы были счастливые, такие счастливые...

— Тс-с,— говорит сестра Милочка.— Заснула.

— Нет, я не сплю,— тихо отзывается Алиса.

А потом улыбается.

— Он меня и не называл иначе, только Алиса из страны чудес,— говорит она.

В эту ночь немцы вошли в город.

На рассвете Есен сказал:

— Я иду за Алисой, собирайся в дорогу.

Есенова крикнула ему вслед:

— Алиса...

— Что Алиса?..

Нет, Есенова никак не сумеет сказать, что Алиса слепая. Не скажет она этого никому. Ни ему, ни даже Шульцовой. Самой себе она не осмеливается это сказать.

— Ничего, Алиса... очень ослабела. Во ми ее на руки,— говорит Есенова.

И еще говорит:

— Возвращайся скорее.

— Да, да. Через полчаса буду. Захват рюкзак,— может, мне удастся купить чтонибудь по пути.

* * *

Есенова ждала до сумерек. Сначала она, как всегда по утрам, прибрала в комнате. Приготовила кое-что на обед из того, что было в доме, выстирала Алисины платяице. Потом уже только ждала.

Стоял лазурный, солнечный день, совсем как те дни, сентябрьские. Есенова сидела в сенцах на пороге, неотрывно глядя в ту сторону, откуда они должны были прийти, а во двор поминутно приходили люди, поминутно приносили новые вести.

Говорят, готовится погром, на Костюшково-ской стреляли в окна, по улицам ловят людей, гонят засыпать ямы от бомб, хлеба нет, многие еще пробуют бежать, говорят, удастся, говорят, если кто выйдет на улицу после семи — расстрел, арестовали всех рабочих фабрики «Красная звезда», жепщину с ребенком на улице забили прикладами, ходят из дома в дом, грабят, убивают...

Каждое сообщение заканчивается вопросом:

— А пани еще ждет? Не вернулись еще?

— Я еще жду, да,— отвечала Есенова.

Спускались сумерки, теплые, теплые. У Есеновой пересохло в горле от ответов на вопросы, шумело в голове от новостей, в глазах потемнело — столько часов уже она вглядывалась в ту сторону, откуда они должны были прийти. Дерево за забором, кусочек тротуара, за ним — белая стена дома. Оттуда они должны были появиться. Мужчина и девочка. Уже тысячу раз за эти часы. И не появлялись.

Есеновой хотелось пить, но она не могла решиться встать, взять с окна чашку, зачерпнуть воды из ведра. Все в ней омертвело и застыло. Она старалась не слышать, не понимать того, что говорили вокруг.

— Да, я еще жду, да,— отвечала она. кусая пересохшие губы.

— Давно бы пора им прийти. Не случилось ли чего, дорогая пани? — спросила Юлия.

Юлия — тоже. И она. На правой руке она несла своего Петруся, который улыбался расквашившимся под ветром веткам деревьев, красному цветку герани, Есеновой. В левой руке у Юлии был чемоданчик.

Шульцова схватила за голову.

— Что вы, пани! С таким крошечным ребенком в такой страшный путь?

Юлия улыбнулась и крепче прижала к себе ребенка.

— Что ж поделаешь?

Тут из-за забора вышла другая соседка, молодая женщина, у которой было трое маленьких ребят; она решила не уходить.

— Пусть пани оставит его у меня. Не вечно же гады будут тут, папи вернется...

Юлия засмеялась, а может заплакала; у ней нехватало слов поблагодарить, она сказала только:

— Самая тяжелая дорога лучше, чем... — И еще прибавила: — Пани не из Варшавы? Ну да, если бы пани пережила ту войну, как я...

И она пошла. Она хотела воспользоваться ночным временем для пути. Этому она научилась в ту войну.

— Может, его погнали засыпать ямы, — говорила Шульцова, — а может, его арестовали или, может, с ребенком что случилось, человек теперь не уверен ни в дне, ни в часе, выйти выйдет, да воротится ли?

Есенова не отвечала, кусала и облизывала сухие губы, ничего — только ждала, ждала и глядела. Соседки отходили. Дерево, тротуар, стену дома заливал мрак. Тогда она «пошла встречать». Так сказала она Шульцовой:

— Я пойду встречать мужа. Если б случилось, что мы разминулись, прошу вас, скажите, чтобы он разогрел себе суп, а для девочки есть компот в том голубеньком кувшинчике, и чтобы она сразу ложилась, кровать ее постлана, готова...

Она не сразу сказала все это, а несколько раз возвращалась, давала новые поручения, объясняла и опять уходила.

Соседки удерживали ее.

— Уж семь, нельзя выходить. Раз они должны притти, так придут. И где же пани их встретит? Целый день прошел, откуда узнаешь, где их теперь искать?

Но Есенова заупряилась. Ей казалось, что только лишь она двинется с места, перестанет ждать, пойдет встречать их — и встретит. И все объяснится самым простым образом, как всегда в таких случаях бывает: где они пропадали, почему так поздно задержались, и окажется, что зря она так страшно беспокоилась.

Это скажет он. А она: «Зря! Как же зря? Так можно было говорить раньше, до войны, в обычное время, а сейчас, когда пришли немцы и человек не может быть уверен ни в дне, ни в часе...» И еще она скажет: «Безим, бежим, еще можно, говорят, люди пробуют, и, говорят, им удастся, завтра утром, нет, сейчас же, ночью. Помнишь как Алиса тащила корзинку с едой, тогда из Варшавы, не давала нам помогать ей, помнишь, и

мы будем счастливы, опять будем счастливы, как тогда, в то розовое туманное утро. ты помнишь, помнишь, в тумане блеснул штык красноармейца, мы припали к земле, из глаз полились слезы, ах, какие мы были счастливые, все трое, все вместе и уже по ту сторону границы, бомб, немцев — по ту сторону «смерти...»

Она шла быстро, прямо вперед, не выбирая дороги, не сомневаясь на углах, по какой из двух улиц пойти, словно знала наверняка, что именно таким образом, а не повернув налево или направо, она их повстречает...

Было совсем темно, когда она вышла на ту улицу, где лежал Есен. Он лежал на середине тротуара, немного наискосок, она не могла не заметить его, хотя было темно.

Она нагнулась рукой его голову, кровь на тротуаре, рану на затылке. Ремни от рюкзака были на своем месте, перекрещивались на груди, но рюкзака не было, его срзали, и под пальцами Есеновой ремни разошлись. Как долго она просидела там, положив руку на его сердце? Сначала ей чудилось, что оно еще бьется, но то лишь кровь билась у нее в висках...

Она вдруг сорвалась, побежала — начала стучаться в какое-то окно, — не открывали, тогда к другому, потом к воротам. Но горло было черен и глух, на ее стук никто не отзывался. Она снова бросилась к воротам, ухватилась за скобу, ворота были не заперты и широко распахнулись, со скрипом. Есенова поднялась на какую-то лестницу, колотила кулаками в какие-то двери, хотела кричать — и не могла, только стонала и громко ловила ртом воздух. То ли там не было никого, сгинули все, убежали, то ли там были люди, притаившиеся во мраке, но боялись, прятались, делали вид, что их нет.

— Люди, люди, откройте! — начала кричать Есенова. И еще повторила: — Люди, люди, люди! — потому что не знала, что еще кричать, не могла найти больше слов.

Потом она вспомнила, что в одном окне, на другой стороне улицы, светился огонек. «Постучу туда, кто-нибудь там наверное есть, буду стучаться, пока не откроют, должны же они в конце концов открыть». Когда она вышла из ворот, окно уже не светило. Почернев, оно слилось с другими, растворялось во мраке, и Есенова не могла его отыскать.

Она стучалась подряд во все окна первого этажа, потом ей показалось, будто где-то наверху скрипнула дверь и кто-то вышел на балкон. Она опять закричала. Но никто не отозвался на ее крик.

Тогда, выбившись из сил, она вернулась к мертвому. Перетащила его на край тротуара, под дерево, и сама села рядом. Когда ей чудились шаги или голоса, она принималась кричать. Потом опять умолкала.

На темном фоне ночи перед нею возникали огненные круги и зигзаги. Сердце билось громко и быстро, потом совсем останавливалось. Что ж это? Что ж это делалось с нею, с ним, с их жизнью, с их счастьем, которое они так страстно хотели отстоять? Почему они оба на земле, во мраке, у ствола дерева? Или все это уже было когда-то? Конечно, конечно, было вот так же — давно, за городом — и дерево, и ночь, и его голова у пей на коленях — все, как сейчас. «Как сейчас», — тихо повторила Есенова. И рассмеялась. Потом заплакала. Мрак редел, из мутных его волн все отчетливей, словно утопленник, выплывал Есен. Женщина, денег, вглядывалась в лицо, которое рождалось как бы из тени и пятен, чужое, незнакомое, новое. Ей припоминались отдельные кусочки их жизни, они словно выплывали из ночи вместе с деревьями, плитами тротуара, стенами домов и на миг задерживались перед нею, удивительно отчетливые и яркие.

Снова она прикасалась к оледеневшему лбу, к закрытым глазам, к ране. Почему на затылке? И долго ли он тут лежал до того, как она пришла? С утра? С семи вечера?

Почти совсем рассвело. Все вокруг серое, и перламутровое, и лиловое, и какое-то ненастоящее, какое-то — будто в сказке, как бывает всегда на прекрасной заре. На заре, которая предвещает прекрасный летний день.

А город попрежнему погружен был в оцепенение, словно никогда уже не собирался проснуться. Окна оставались закрыты, двери недвижны, улицы пусты.

Арестовали его? Бежал он? Успел ли до того зайти в больницу? И где Алиса? Забрал он ее оттуда? Что с ней стало?

Больница тоже словно вымерла, как и весь город. Никто не задержал Есенову в воротах, никто не спросил пропуска.

Алиса сидела во дворе, на скамейке, она была уже в своем платье, а не в больничном халате. Только на голове у нее все еще возвышалась белая чалма из бинтов, закрывавшая ей глаза.

— Это ты? — спросила она, заслышав шаги. Сорвалась с места и вытянула руки.

Но когда Есенова обняла ее, девочка сердито, нетерпеливо вырвалась.

— Почему ты вчера не пришла? Я уж думала, и ты забыла про меня, — сказала она капризно, тоном балованного ребенка. — Разве ты не знаешь, что пришли немцы?

Все куда-то пропали... Кричу — никто не подходит. Я и оделась сама... Платья Милочка еще вчера раздавала детям. И перевязку мне не меняли...

Она заплакала, разжалобившись при воспоминании о тяжелых минутах. Она больше не отталкивала рук матери, а сама прижималась к ней, прятала лицо у ней на плече.

— А папа? Почему папа не пришел? — вдруг спросила она, поднимая голову.

Есенова не ответила, только крепче обняла ее.

— Ведь он, наверное, не на работе сегодня? Почему же не пришел с тобой? Что? Отвечай же, — огорченно и настойчиво говорила Алиса. Она снова отодвинулась от матери и стала терзать ее за рукав.

— Почему ты не отвечаешь, мама?

Словно пораженная какой-то мыслью, она подняла руку и притронулась к лицу матери.

— Ты плачешь?!

Есенова попрежнему молчала.

Девочка встала со скамьи, в раздумьи сделала шаг, другой.

— Не убивайся, мама, ничего еще не потеряно, — сказала она, останавливаясь перед скамьей. — Мы убежим, как тогда из Варшавы. Вот увидишь. Ты тоже боялась тогда, помнишь? Я несла корзинку с едой... Ну и что ж, что я заболела? Отец возьмет меня на руки.

Когда девочка сказала об отце, мать застонала. Алиса, чуткая, как зверек, остановилась на полуслове.

— Что, отпа схватили немцы? — произнесла она после долгого молчания.

Тут Есенова закрыла лицо руками и громко рыдалась.

— Мама, — снова заговорила девочка, — если ты и теперь мне не ответишь, я подумаю, что его... нет в живых...

Опять никакого ответа. Только все громче, отчаяннее, неукротимее рыдания.

Тогда Алиса подошла совсем близко и положила руку на плечо матери.

— Слушай, — начала она.

Есенова сразу перестала плакать и подняла глаза.

Девочка стояла выпрямившись, с высоко поднятой на тоненькой шейке головой, обернутой в страшную чалму из бинтов. Щеки ее были серы, губы и подбородок дрожали.

— Слушай, мама, — повторила девочка со страшным усилием, глотая слезы и стараясь овладеть голосом. — Знаешь, что я думаю? Это к лучшему. Он не узнает, что я слепая.

Литературные игры Льва Кассиля¹

Если не идти дальше поверхности явлений, может показаться, что рассказы Льва Кассиля действительно написаны о Великой войне, ее героях, ее быте. Машины смерти работают как будто безотказно. Симпатичные люди в советской военной форме и без нее совершают замечательные подвиги, ни на минуту не забывая при этом изъясняться только на профессиональном языке солдат и моряков.

Однако, вчитайтесь внимательно в эти бойко и самоуверенно написанные страницы, мобилизуйте все, что вы знаете о войне из других источников, призовите, наконец, себе на помощь свое чувство правды, и никакой военной режиссер, как бы внушительно он ни выглядел, не помешает вам увидеть и услышать основное в рассказах Кассиля: бутафорскую войну, инсценированную благодушным режиссером.

В рассказах Кассиля грандиозный образ небывалой еще в истории войны предстает перед нами как бы в перевернутом бинокле: все измаленьчало, все стало очень далеком, малореальным, невосмым и до крайности благополучным. Ничто в этом лакированном мире не случается помимо воли автора, никто здесь не умирает без его разрешения. В реальной жизни одни «концы» то и дело не сходятся с другими. У Кассиля все сюжетные «концы» неизменно сходятся, как линии на чертеже. Все в этом творчестве известно заранее, все здесь... в порядке. Полюбуйтесь, например, как округло выглядит под пером Кассиля история капитана Батыгина из первой по порядку самой большой и наиболее показательной новеллы сборника «Нелюдимо наше море»... Вкратце история этого офицера записывается в следующем.

Капитан Батыгин, несколько утрированный по складу своего характера, но очень страстный, сильный, прямой, необычайно отважный человек и превосходный солдат, в самом начале войны, на личном опыте познал, что такое гитлеровские немцы и что они несут с собой Советской стране и советскому народу. Ненависть, охватившая после этого Батыгина, все его чувства и помыслы направила к одной

цели — уничтожить немецких захватчиков. Батыгин дает своеобразную гайнбаулову клятву, которую он следующим образом сформулировал в письме к жене-артистке.

«Прощай... — писал он, — постарайся понять меня. Я уезжаю сегодня в один из самых далеких и черных углов войны (на самый северный участок фронта. — М. Г.) Бряд ли кто из нас вернется оттуда к жизни. Но если я и уцелею, я не вернусь на Большую нашу землю до тех пор, пока не будет истреблен последний из той паршивой сволочи, что топила в моих глазах детей и женщин. И до этого дня уши заткнуты, сердце у меня закрыто для всего — для любви, для воспоминаний, для музыки, для радости — для всего. Это надо написать как-то не так, но я не мастер письма писать. Если меня убьют, тебе сообщат. А я и тебе рекомендовал бы на это злое, страшное время оставить свои песенки. Не до песен сейчас, Зина. Я бы, по крайней мере, предпочел умереть молча. Пошла бы и ты работать, куда-нибудь, Зина. Ты когда-то чертила недурно, я занимался с тобой. Это сейчас тебе может пригодиться. Сейчас это полезнее будет, чем песенки твои. Я знаю, что ты не согласишься, скажешь, что я всегда был сухарем. Но я сам сейчас и иначе не могу...» (стр. 31; подчеркнута, как и всюду, мною. — М. Г.)

Капитан Батыгин явно «не мастер писать письма», иначе его прощание с женой, возможно, и не было бы столь грубо лаконичным по форме. Выпад капитана против песни и песенок несправедлив и отличается крайней односторонностью. Хорошая песня как известно, тоже помогает воевать. Не если отвлечься от этих второстепенных и здесь не обязательных замечаний, то мы увидим в письме Батыгина только одно: ненависть к врагу, неутомимую жажду мести, неукротимую волю к борьбе. Кто ни разу за время войны не испытал этих чувств, кто ни разу не пожелал хоть на минуту забыть обо всем и был только штыком, только гранатой, толь гусеницей танка; кто ни разу не сказал самому себе: не хочу жить, если немец не будет воздан за их злодеяния, — я хочу до тех пор радоваться жизни, пока им не воздано сторицей, — тот ничего не поймет ни в душевном состоянии капитана Батыгина, ни в душевном состоянии

¹ Лев Кассиль. «Есть такие люди». Рассказы. Издательство «Советский писатель», Москва, 1943.

всего советского народа в целом. Священная ненависть великой, свободной гордой нации, но не на жизнь, а на смерть боюшейся с последними в истории народов поработителями,— вот что нашло свое индивидуальное выражение в настроении капитана Батыгина, и, рассказывая об этом, Кассиль затрагивает в сущности одну из важнейших тем эпохи. Но как он развивается, как он решает эту тему применительно к данному случаю. Он становится в позу обвинителя и судьи; одновременно он зовет капитана Батыгина на суд и он осуждает его со всею строгостью, на какую только способен!..

Для того чтобы понять, как это могло случиться, требуется небольшое отступление. Дело в том, что Кассиль принадлежит к числу писателей, которые нехотя к собственным значительным мыслям чаще всего пытаются восполнить в своем искусстве с помощью литературной цитаты, причем способы применения этого эрзаца могут быть чрезвычайно разнообразными: от прямого цитирования до самых хитроумных и зашифрованных уподоблений. Так, из десяти вещей, составляющих сборник «Есть такие люди», по меньшей мере три явно навеяны, либо же обращены определенными литературными мотивами. В одной из этих вещей (рассказ «Цик-пак») общая трагическая ситуация «заострена» с помощью стихотворной цитаты из Киплинга. В другом рассказе («Держись, капитан»), проводимая автором мысль закрепляется через сопоставление личной судьбы героя с судьбой лорда Байрона.

Третий рассказ «Черная шаль» тоже продукт определенной литературной игры; это не что иное как роман в прозе о великой женской верности, написанный в качестве параллели к знаменитому пушкинскому романсу о женском вероломстве.

В отличие от этих незамысловатых путячков в рассказе «Нелюдомо наше море» дело обстоит на первый взгляд несколько сложнее. Литературная цитата фигурирует там в замаскированном виде, без ссылки на конкретного автора или произведения, но тем основательнее вытесняет она из рассказа жизненную правду, тем более надуманный и в корне неверный характер придает она основному конфликту.

Вы только что читали письмо Батыгина к жене — краткую исповедь мужественного человека, который ни о чем сейчас не может думать, кроме своей борьбы, кроме своей мести. «Он знал одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть». Но! представьте себе, именно в этой «понятной» целеустремленности Кассиль усматривает отклонение от нормы, насилие над человеческой природой, посягательство на ее верховные права, за которые бедный капитан должен жесточайшим образом поплатиться.

«Я... сейчас иначе не могу», — писал Батыгин жене, пытаясь объяснить ей свое настроение, и эти слова звучат для нас как признание сильной и глубоко потря-

сенной души. Победение капитана на войне целиком соответствует этому настроению. Сперва его, правда, «не взлюбили за его мрачный, нелюдимый нрав, но вскоре он быстро завоевал всеобщее уважение среди защитников полуострова своей решительностью, непоколебимой храбростью и полным пренебрежением к опасности. Такие люди и нужны были тут, на краю света, в глухом углу войны, на пустом и голом мысе где напряженная битва шла круглые сутки..»

«Батыгин подобрал группу смелых разведчиков и часто ходил с ними в смелые рейды на берег, занятый немцами. Они взрывали склады, истребляли гарнизоны немецких форпостов, уничтожали береговые орудия. Разведчики верили удачливости своего командира и готовы были идти за ним всюду, куда он поведет их, хотя и дивились часто некоторым его странностям» (стр. 32).

В чем заключались эти странности? «Батыгин резко выделялся своей молчаливостью среди любящих «потравить» словоохотливых моряков. Говорили, что капитан не любит песен и действия тельно, когда кто-нибудь запевал, капитан быстро вставал и уходил прочь. Он не от кого не получал писем и никому не писал» (стр. 32). Простые солдаты, разведчики из группы капитана Батыгина, видят во всем этом действие только только странности, т. е. индивидуальные особенности данного лица, делающие его непохожим на других людей. Для Кассиля это — проявление некоего морально-этического уклона, против которого он считает необходимым выступить с позиций более гармоничного, как ему кажется, мировоззрения. Устами полковника Корчеванова, под непосредственным началом у которого воюет капитан Батыгин, Кассиль заявляет:

«...понимаете.. в долбил он себе не уклюжку теорию. На мой взгляд, весьма порочную. На войне, мол, надо отказываться от всего, что связывает тебя с жизнью. Десять все эти прежнее чувства, привязанности, воспоминания ни к чему. Он ведь вам поэтому и писем не писал сперва (полковник объясняет положение жене Батыгина — М. Г.). Человек он, верно, чертовски храбрый. Но какая-то у него отвала угрюмая. Надо драться, любя жизнь, помня о ней, за нее и воевать... Смелость нельзя в оранжевом порядке растить. Ее надо подставлять всем ветрам, которые с Большой Земли дуют. Жизнь не затопчешь в себе. Она пробьется, все равно о себе напомнит» (22)

Вы замечаете, какую двусмысленность вносит Кассиль в характеристику героя? Если судить по письму самого Батыгина к жене, — а в сущности только этому человеческому документу мы можем в данном случае верить, — перед нами че-

¹ Кассиль несколько раз употребляет это выражение, но всюду оставляет его, как и некоторые другие термины морского арго, без «перевода».

ловек, все силы души которого направлены к одной цели — уничтожению врага, — к мести. В этой, так сказать, «редакции» образ капитана Батыгина — глубоко патетичен; таких людей много сейчас и в армии, и в стране, но кто из нас осмелился бы сказать им: не так живете, сограждане! Если бы Кассиль действительно принимал близко к сердцу судьбу своего героя, он попытался бы раскрыть его душевную драму средствами искусства, а может быть даже, и показать, как она приходит к своему разрешению. Но Кассиль совершенно не интересуется этой стороной дела. Его интересует литературная игра, которой он предается. Для этого он незаметно и вполне бездоказательно отождествляет благородный образ капитана Батыгина, каким он рисуется нам в письме, — с угрюмым, несильным доктринером, кляням его рисует с одобрения Кассиля полковник Корчеванов, с доктринером, который старается чисто рассудочным путем («вдолбил... себе неуклюжую теорию... весьма порочную») задавить в себе на время войны все невоенные человеческие чувства, который воображает, что «смелость можно растить в оранжерейном порядке» и т. д. и т. п.

Так, с помощью этой переделки, герой литературного произведения сам превращается в литературную цитату. Но это — цитата собирательная. Кассиль ее сконструировал, точнее высосал ее по частям из различных источников, по преимуществу — из наиболее доступных ему запасов романтической беллетристики, впервые чувствующей эту схему в широком обиход. Один Гюго мог предоставить ему в этом отношении по истине неограниченный выбор.

Истуклененные фанатики — маномахи, мрачные жизнелюбивые, нравственные уроды, слепые и глухие ко всему, что так или иначе противоречит их абстрактным и при том ложным доктринам, и в конце концов разбивающие себе лоб о самую жизнь, которую они с таким усердием топчут и оскорбляют, — не правда ли, Кассиль обязательно должен был прогуляться по этой романтической галлерее, прежде чем приняться за свой рассказ.

Капитан Батыгин не хотел думать ни о чем другом, кроме своей ненависти и борьбы, он отказался от переписки с женой, он не любил песен; словом, он повернулся спиной к жизни, и на это жизнь ответила ему (по директиве Кассиля, конечно) карой, страшнее которой ничего не может быть для солдата: в определенный момент она заставила его, храбрейшего из храбрых, позорнейшим образом перепрорусить и провалить выполнение боевого задания.

Вот что об этом рассказывает полковник Корчеванов в беседе с женой Батыгина, приехавшей навестить мужа на фронт. Вы помните начало этого разговора. «Жизнь не затопчешь в себе, — говорит полковник. — Она пробьется, все равно о себе напомнит. Вот пришло в августе письмо от вас, очевидно, вы раздобыли его адрес, и вся система его разом рухнула. Подстели

к чертям всю стокла в сранжерейке, где он свою теорию выращивал» — «Но я его чит в чем не упрекала в том письме, — вставляет жена. — Я просто очень беспокоилась». «И так и полагал... — продолжает полковник. — Но, понимаем, на него сразу полугол торчали ветром с Большой Земли, опалило его, он и завял. Как раз тут пошли в ответственное задание. И, понимаем, в первый раз в жизни побоялся рискнуть, повел себя не так, как принято у нас, у моряков. Не подоспей вторая группа... сорвалась бы вся операция. Случай у нас!.. невиданный. М-да. Если от жизни так начисто отжаться, так что же, погибнуть только можно красиво, честно. Однако и в смертный час надо помнить за что погибашь, кто тебя промянет. Но уж побеждать — побеждать можно только, когда всю жизнь за собой чувствуешь» (22—23).

Показалия самого Кассиля мало чем отличаются от этого.

«...Говорили, что капитан не любит песен, и действительно, когда ктонибудь запевал, капитан быстро вставал и уходил прочь. Он ни от кого не получал писем и сам никому не писал. А когда в августе 1942 года пришло вдруг капитану письмо с Большой Земли, с ним сразу и приключилось то неладное, почти необъяснимое, чего не могли понять товарищи Батыгина и не хотел простить себе он сам.

«Письмо, которое он получил тогда от жены, письмо, полное понимания, нежности и любви, опрокинуло все его правила, ударило в сердце и в уши шумом далекой и полузабытой жизни. Он наивно полагал, что можно отвыкнуть от всего, что было самым дорогим на свете, от искусства отучал себя от жизни. И теперь он оказался неспособным устоять перед жадным напором того, что всколыхнулось в нем. В решительную минуту похода, который оказался роковым для Батыгина, капитан проявил постыдную и непостижимую слабость. Он не решался идти сквозь огонь, открытый немцами, он приказал повернуть обратно. Это была всего лишь минута, но капитан никогда уже не мог простить ее себе.

«Никто не мог понять, что произошло с капитаном. Подозревали, что он получил какое-то очень тяжелое известие с Большой Земли. Только полковник Корчеванов узнал истину, так как ночью после неудачного рейда четыре часа толковал с Батыгиным с глазу-на-глаз... Поступок капитана обсуждался на закрытом партийном собрании. Батыгин неуклюже, но чисто-сердечно рассказал все, что он пережил. Его теория о самовольном отказе, отказе от жизни, была единодушно признана мелкой, убивающей с мьсл истинной отваги. Заслуги капитана были общеизвестны, и решили предать забвению его поступок. И капитан Батыгин стал медленно возвращаться к жизни. Ему дали возможность загладить свою ошибку делом, и он уже не раз ходил в ночную разведку.

Он был так же настойчив в поиске, столь же ревнителен и смел, как и прежде, даже еще храбрее стал он теперь. Но заметим, что он старался теперь стать общительней, хотя и таил еще в себе полную укора память о горьком «казусе». За обедом в кают-компании он иногда теперь вставлял в разговор и свое слово. А однажды, когда разведчики заехали у своей землянки, Ходорков чуть не обмер от испуга: капитан вдруг глуховатым басом стал подтягивать...» (32—34).

Не правда ли, все это будто бы логично, а на самом деле — лживо, оскорбительно. Человек, давно или вовсе не пивший, пьянеет и теряет равновесие от первого глотка. Марсианин Уэльса, покинув абсолютно стерильные условия своей планеты, погибает от «невинной», вульгарной микрофлоры, которой полна атмосфера земли и от которой защищено тысячелетним иммунитетом земное человечество. Храбрый солдат, сражающийся за родину и отказавшийся во имя этого от личной жизни, рискует прозвать «постыдную слабость» и оказаться — с непривычки — трусом, шкурником и предателем при первом же напоминании о женской ласке, нежности, любви. В каком смешном, нелепое положение попадает писатель из-за своего пристрастия к легким и дешевым эффектам. Вообще говоря, всю эту не очень хитрую комбинацию можно было бы разрушить и отвергнуть «с порога» простой ссылкой на жизнь, на реальную действительность. Русский офицер эпохи Великой отечественной войны, разгрызающий из себя что-то вроде рыцаря мальтийского ордена, — фигура до такой степени бутафорская, что ни реальное начальство, ни реальное партсобрание, равно как и никакой серьезный тишак, не стали бы тратить силы и время на морально-философские дискуссии с этим призрак. Однако, гораздо поучительнее то обстоятельство, что, если не уничтожить схему Кассилья простым ударом о землю, — она сама расплывается по швам, до того гнилыми нитками она шита.

В самом деле.

Если бы Батыгин совсем не прерывал переписки с женой, произошел ли бы с ним тот «горький казус», о котором он «таил в себе полную укора память»? Разумеется нет! отвечает Кассиль. Но примем на минуту гораздо более простой и несомненно более жизненный вариант событий. Представим себе, что длительный перерыв в переписке Батыгина с женой совершенно не был преднамеренным, что их просто разметало в разные стороны вихрем событий, что они потеряли друг друга из вида и долгое время считали друг друга погибшими, пока Зинаида Павловна Батыгина не разузнала, наконец, полевой адрес мужа и первая написала ему.

При этих условиях оказало ли былись жены такое же роковое, тлетворное/влияние на волю и отвагу капитана? Ведь оно, надо полагать тоже подтвергло бы испытанию его, Батыгина, способность устоять «перед жадным напором того, что

всколыхнулось в нем» (красиво пишет Ле Кассиль!). Если Кассиль хочет до конца быть верным своей схеме, — он может ответить на этот вопрос только одно: судьба и жизнь преподали капитану Батыгину жестокий урок за то, что он, Батыгин, думал будто можно отвыкнуть от всех «самого дорогого на свете», за то, что «он искусственно отучал себя от жизни».

На этой характеристике настаивает и сам автор, ее подтверждает и полковник Корчеванов. Но где доказательства? Если человек не любит музыки, мы можем ему посочувствовать. Если кто-нибудь отказывается от переписки с любимым и любящим человеком, то это, конечно, жестокое решение, — независимо от продикувавших его мотивов. Но, спрашивается, где во всем этом то нравственное уродство, за которое Кассиль так карает отважного и славного офицера Красной Армии. В начале статьи я в самой общей форме упомянул о том, что заставило Батыгина написать прощальное письмо жене. Сам Батыгин, который «не мастер писать письма», посвятив этому всего одну строчку («о паршивой сволочи, что топчила на моих глазах детей и женщин»).

Пора теперь рассказать об этом обстоятельстве подробнее, чтобы установить во всей этой истории полную ясность. Вот что показывает сам автор:

«Через несколько дней после приезда капитана (на Север, на действующий флот — М. Г.) немецкие бомбардировщики на его глазах потопили пароход, увозивший с базы флота женщин и детей, эвакуируемых в тыл. Капитан видел, как фашистские самолеты пикировали на безоружное судно, долбили бомбами, а потом с бреющего полета хлестали пулеметными струями барахтавшихся в ледяной воде ребятшек, захлебывающихся женщин...

«Батыгин участвовал в спасении тонувших. Четыре раза бросался сам в холодную воду... спас окоченевшую женщину и троих ребят. Но жестока стывшая вода Баренцова моря... трое из четверых, спасенных Батыгиным, уже не вернулись к жизни, а четвертому — это был худенький шестилетний мальчуган — на берегу (3) госпитале отняли омертвевшую ногу» (30).

Именно после этого Батыгин написал жене и произнес свою глумливую клятву. А Кассиль в этом могучем, естественном глубоко человеческом и человеческом порыве увидел только проявление духовной ограниченности. Дух благороднейшего самопожертвования и самоотречения, который проникнута вся доблестная боевая жизнь советского офицера Батыгина, представляется Кассилью «самовольным отказом от жизни», «убивающим смысл истинной отваги». Непокоримое мужество, абсолютное бесстрашие человека, который знает, что такое немцы, кажется Кассилью «угрюмой отвагой», «выращенной в оранжерейном порядке». «Я сейчас иначе не могу» — пишет Батыгин жене, прощаясь на время войны с радостями личной жизни, и мы не имеем никакого права не верить ему, что он иначе не может: он доказа-

это своей жизнью и делом. «Нет,— отвечает своему герою мудрый и осторожный Кассиль,— ты обязан гармонично распределить свои душевные силы и часть их уделить обязательно также и запросам личной жизни, иначе ты рано или поздно оскандалишься».

Но это еще не все. Кассиль — Корчеватов твердит нам, что с настроениями Батыгина «попоблнуть можно только красиво, честно», но уж побеждать нельзя — «побеждать можно только, когда всю жизнь за собой чувствуешь». Это надо понимать так, что Батыгин «всей жизни» за собой не чувствует. Однако, автор сам сообщает, что Батыгин четыре раза бросался в «жесточие», «стылые» воды Баренцова моря, спасая расстреливаемых немцами, тонущих женщины и детей. Человек, который способен так поступать, человек, который после этого берет в руки оружие и клянется отомстить, — такой человек чувствует за собой всю жизнь, но он чувствует ее как жизнь великого и бессмертного коллектива, имя которому советский народ и ради которого воин, солдат, гражданин в иные минуты не только имеет право, но и должен уметь отрешиться от всего личного. Люди, подобные Батыгину, сознательно или инстинктивно, но дают себе отчет в том, что героическое самопожертвование миллионов есть одна из тех великих сил, которые позволили нашей Родине не только устоять в этой войне, но и решительно изменить ход событий в свою пользу. Для жалкой идейки, водившей рукой Кассиля, когда он писал свою новеллу, — вся жизнь, это — только личная жизнь. Кассилью подвиги таких людей, как Александр Матросов, должны, вероятно, казаться всего лишь «красивой, честной» гибелью, а может быть, и проявлением «какой-то угрюмой отваги», возвращенной «в оранжерейном порядке». Ей, этой «мудрости», просто не понять, что Матросовы, как и капитан Батыгин, иначе не могут.

Так, на третьем году Великой войны писатель Лев Кассиль обратился к воюющему соотечественнику с предупреждением: не увлекайся слишком своей борьбой и своей ненавистью; оставь место и для других вещей: иначе ты неизбежно ослабеешь и превратишься в потенциального труса и предателя, который рано или поздно обнаружит себя. Нужно ли разъяснять, сколько вреда несет в себе эта живая «мораль»? Однако все изложенное до сих пор — лишь предистория, лишь длительная подготовка к заключительному эффекту.

История же начинается, собственно, с момента, когда в гости к капитану Батыгину приезжает в «далекий и черный угол войны» жена-печвица Зинаида Павловна. Она приезжает ночью и на следующий день должна выступить с концертом перед краснофлотцами.

В ночь ее приезда капитан Батыгин с группой бойцов и офицеров ушел в дальний и опасный поиск — в расположение врага, побыв с женой всего каких-нибудь

несколько минут, хотя полковник Корчеватов и разрешил ему не участвовать в операции. К следующему утру Батыгин и его разведчики не вернулись. Они не вернулись и к вечеру. Концерт пришлось начинать без них. И тут разыгрывается ультратрогательная мизансцена, ради которой, в сущности, и написана вся новелла. Зинаида Павловна Батыгина выступает перед краснофлотцами. «...Женщина в белничьей шубке, строгоборовая и печальная, запела. Она пела старую песенку и чистый голос ее исходил тоскливой нежностью к упавшему... «Может быть, его уже нет в живых,— думала артистка.— Что же, я пою ради него...» (39).

Это «я пою ради него» и оказывается, как мы сейчас увидим, ключом ко всей игре Кассиля.

Батыгин и его группа героически выполнила боевое задание, но на обратном пути их катер напоролся на мину; группа понесла потери и должна была возвращаться к своим по сухопутью, в непроглядном тумане, мимо немецких постов. Кассиль не жалеет красок, живописуя ужасы этого возвращения. Пока Зинаида Павловна пела, Батыгин и его товарищи «Лезли, цепляясь обломанными ногтями за едва заметные расщелины в скалах, срывались, скрежеща зубами в яростной жироцести (как изысканно пишет Кассиль — М. Г.). Уже много часов брели они, проваливаясь в талом снегу, задыхаясь в зыбучей мути тумана, падали, вновь поднимались. Уже плохо видели их глаза, и они не знали, что это: туман застилает им зрение или смерть уже слепит их» (39—40). И дальше: «Батыгин чувствовал, что, его покидают последние силы. Туман, казалось, проник в голову. Все мысли меркли в каком-то холодном чаду. Его начинало охватывать безразличие. Только лечь хотелось ему, лечь — и больше не вставать. Он старался думать о жене. Руки ее представил он себе, руки с тонкими пальцами... И вдруг Батыгину постыпалось, что где-то очень близко, за рыхлой стеной тумана, слабо прозвучала песня. Он остановил дыхание, он еще не верил. Но песня проступала все яснее. И вот Батыгин уже узнал и напев, и голос. Круто свернув, он уверенно пошел на песню. Как на маяк. Яростная надежда колыхалась в его сердце, несла его вперед. Мгла бессильно расступалась перед ним. И он вышел к песне, он вывел к ней товарищей.

«Зинаида Павловна оборвала песню...

— Димитрий,— закричала она и протянула руки.

— Товарищ полковник,— осевшим от сырости голосом начал Батыгин,— ваше задание...

«Он качнулся и сделал шаг вперед, чтобы не упасть. Полковник быстро пошел навстречу, и крепко пожал ему руку» (42—43).

Новелла написана именно ради этого финального эффекта.

«Он вышел к песне, он вывел к ней товарищей.» — После этого в новелле ни-

жчо уже больше не происходит, всякая жизнь в ней прекращается и становится абсолютно ясным, что жизнь в ней не было с самого начала, а была лишь создавшая видимость движения, бутафория.

Все движение сюжета в новелле «Нелюдино наше море...» осуществляется через посредство грубейших совпадений и натяжек. Если бы капитан Батыгин случайно не получил первого письма от жены перед самым выходом на опасную операцию, он не струсил бы, и новелла не была бы написана. Если бы проезд Зинаиды Павловны к мужу в гости не совпал по времени с другой опасной операцией, ей не пришлось бы своим пением спасти жизнь Батыгину и его разведчикам, и опять-таки новелла осталась бы ненаписанной.

Впрочем, дело здесь не в случайности, не в совпадении как таковых. В старинном романе или новелле читателю от чистого сердца сообщалось: «Небесам (или судьбе) угодно было, чтобы в эту минуту примчавшийся отсюда-то-с неба метеорит пробил череп старому скряге, и все богатство этого последнего перешло к его бедному, но добродетельному племяннику». Кассиль подтасовывает обстоятельства не менее бесцеремонно, но старается эти подтасованные обстоятельства маскировать под закономерный, естественный ход вещей, чтобы с тем большим успехом продемонстрировать на этом фоне свои излюбленные эффекты.

Мировая литература посвятила множество произведений влиянию любви и музыки на человеческую жизнь. Однако, как лучшее, что написано на эту тему, так или иначе связано с внутренней жизнью человека, Кассиль всеми средствами старается обойти эту действительно сложную, чудесную трудную для него область, ибо, как писатель, он мыслит по преимуществу лишь грубо наглядными эффектами. Поэтому, желая изобразить торжество любви и песни над гордыней аскезизма он стасовал свою игру так, что любовь и музыка превратились у него, в конце концов, в подобие сирены, не ревущей, нет, а нежно воюющей в тумане и выводящей путников на верную дорожку.

Короче говоря, Кассиль собирался написать военно-психологическую новеллу, гладко причесанную, архиблатополучную, как все что он пишет. Он аккуратно размесстил в ней все натяжки, совпадения и эффекты, он попытался даже подменить к ней некоторую дозу философского глубокомыслия. Все это могло бы быть только смешно. Но на этот раз нельзя говорить только о сентиментальном принижении большой темы. Нет! Кассиль оскорбил наши лучшие чувства. Он вывел белло на авансцену один из самых прекрасных и благородных образов нашей эпохи, образ непримиримого мыслителя за окверненную непами советскую землю, и превратил этот гордый образ в комическую фигуру, создал для него глупое и униженное положение. Из-за всей этой игры испытанными эффектами, готовыми трюками, общепринятыми совпадениями, из-за

этого с претензией на изысканность вычурного слога, явственно проступает полное равнодушие писателя к своим героям, к своей теме.

Да, Кассиль, — равнодушный и бездумный писатель, ибо не реальный думающий, чувствующий, действующий человек, а литературный прием, является настоящим героем его произведения.

Дабы убедиться в справедливости этого утверждения заглянем хотя бы в следующий по порядку рассказ сборника «Абсолютный слух». Содержание его вкратце таково. На одной из подлодок нашего северного флота служит гидроакустик, выделенный феноменальным по остроте слухом. Когда лодка уходила в дальнее плавание и связь ее с внешним миром обрывалась, когда приходилось подолгу идти в подводном положении и опасно было даже на мгновение поднять перископ, — единственной связью со всем, что оставалось за железными бортами лодки были в эти минуты уши Перчихина...» (45) и эти уши никогда не подводят ни самого Перчихина, ни командования подлодки, которая не раз наносила врагу чувствительные удары, ориентируясь исключительно по указаниям своего необыкновенного гидроакустика. «Всеслышащим» Семеном Перчихиным гордится весь флот. Однако, сам знаменитый гидроакустик не очень весел: он влюблен в «хорошенькую Дусю, подавальщицу в столовой подлодки», но не встречает, как ему кажется, достаточной взаимности. Опечаленный этим обстоятельством, он уходит с подлодкой в опасный поход, из которого возвращается оглохшим: взрывом глубинной бомбы ему повредило барабанные перепонки. Для Перчихина это настоящая трагедия; он страдает не только как боец, выбивший из строя, но и как высоко талантливый человек, который лишился возможности заниматься любимым делом. Так мог бы страдать внезапно ослепший живописец или музыкант виртуоз, потерявший руку. Но не подумайте, что Кассиль расскажет вам хоть что-нибудь о трагедии Семена Перчихина или покажет, как советский человек Перчихин, живя в советском обществе, любя жизнь и во всеоружии русского юмора и духовного здоровья преодолевает в самом себе трагедию, — независимо от того, как скоро и в какой мере восстановится его слух. Но что Кассилью до внутренней жизни, до настоящих мыслей, чувств, переживаний наших людей. К чему возиться с этими сложными вещами, когда обо всем на свете можно писать розовой водичкой с сахаром!

Жестокая красавица Дуся, узнав о печальном случае с гидроакустиком, пожелала известить его в госпитале.

«Через пять дней я пришел к Перчихину вместе с Дусей... Повязки с головы Перчихина были сняты. Только в ушах еще белела марля. Увидев Дусю, Перчихин покраснел и шалунул ослепло до подбородка... Дуся тоже — залилась краской и опустив глаза, села в сторонку».

— Вы хоть садьте поближе к нему,— сказал я,— уж будьте с ним поласковее.

— Да, господа,— застенялась Дуся,— уж я не знала... Да разве я... Ведь он же сам знает. Ведь я сколько раз Семочке говорила...

— В первый раз слышу,— громко сказал Перчихин, быстро приосаниваясь на койке (55—56).

Разве можно сомневаться в том, что весь рассказ написан специально ради этого заключительного каламбура. Никаких спрададанй, никакой внутренней борьбы. Сентиментальная сценка, памудрящий каламбур, несколько капель розовой волицы,— и все в порядке. Капитану Батыгину песенка любимой счастья жазьт. Семочку Перчихину голос любимой вевнул дух. Все низведено к трогательным пустякам, бинокль перевернут другим концом, и можете любоваться этим игрушечным, лилиейным настоящей жизни мирком, порожденным писательским методом, называине которому красивая ложь.

И, может быть, наиболее показателным в этом отношении является последний по порядку рассказ сборника — «Держись, капитан».

В госпиталь к больному мальчику, инлившемуся яоти в войне с немецкими изуврами, пришли его товарищи по школе и по футбольной команде. Они юдоряют и утешают его, как могут, по чьими понимаете, что не очень легко мешать капитана команды и замечательного центрофорварда. Но к кампании мальчиков пристройтас еще и девочка. Варя Суханова из породы «болельщиц». Она очень любит беднягу-капитана и дарит ему книжку, которая должна по-настоящему поддержать его. «...Капитан... расктыл книжку, которую подарила ему Варя. Бросилось в глаза место, обведенное синим карандашом. «Лорд Байрон,— читал капитан,— оставшись с детства на всю жизнь хромым, тем не менее пользовался в обществе огромным успехом и славой. Он был неутомимым путешественником, бесстрашным наездником, искусным боксером и выдающимся пловцом.

«Капитан перечитал это место три раза подряд, потом положил книгу на тумбочку, повернулся лицом к стене и принялся мечтать...» (135)

Маленькая Варя Суханова — не кто иной, как сам Кассиль, «глухо» запримираванный маленькой девочкой. Ибо только равнодушный писатель мог преподнести такую ложь в качестве утешения советским детям, побывавшим в лапах у немецких палачей! Я не знаю, откуда именно позаимствовал Кассиль вышестипорованную пошлость, но во всяком случае в первой попавшейся английской школьной биографии поэта можно прочесть, что прословутая хромота Байрона была совершенно ничтожной (trifling), что самому Байрону она физически почти не мешала и это вовсе не открытие новейшего времени. Маленький капитан, которому немцы причилили отнюдь не мячтвое увече, может в конце

концов ознакомиться и с настоящей биографией лорда Байрона, и тогда он будет вправе сказать, что писатель Кассиль солгал ему.

Но, повторяю, Кассиль нет дела до того, что думают и чувствуют его герои, будь это суровый воин Батыгин или четырнадцатилетний мальчик, у которого немцы отрубили ногу. Когда писатель становится рабом красивой лжи, он не в состоянии уже быть по-настоящему заодно со своими героями.

Но красивая ложь это не только равнодушие; это еще и особое малодушие писателя перед лицом действительности. Кассиль принадлежит к тем писателям, которые боятся, не решаются взглянуть прямо в глаза правде нашей эпохи, правде нашей борьбы. Им эта правда кажется чересчур жестокой, и они пытаются заслониться от нее красивой ложью, убогой мишурой латературщины, грубо наглажными и испытанными эффектами эстрады и оперетты. Ложь в искусстве вообще заслуживает презрения, но нет ничего более отталкивающего, чем эта красивая ложь в произведениях советского писателя, посвященных нашей великой борьбе. Всемирная история не знает эпохи более грозной, суровой и вместе с тем более величественной, нежели отечественная война советского народа против немецких захватчиков. Художественная правда об этой, войне в том и состоит, что это одновременно и суровая и прекрасная правда. Тот из художников, кто положит в основу своей работы только одну часть этой двуединой формулы, неизбежно наплетет о нашей войне ложные и неполноценные произведения. Кассиль понадобилас во что бы то ни стало «красивая война», и он написал о ней легкие, полные глубочайшего внутренне-го равнодушия, вещи...

К сожалению, Кассиль не один. На последнем пленуме правления СССР раздалось несколько резких (и справедливых!) слов по адресу Константина Паустовского. Ольга Берггольц очень убедительно на ряде примеров показала, как «красивая ложь» Паустовского принижает и искажает подлинно прекрасную правду о героях Ленинграда. Но чем в данном случае Паустовский отличается от Кассиля, который ради своей схемки решилши унижить капитана Батыгина, человека, которого мы, читатели, не можем воспринимать иначе, как образцового и непримиримого к врагам воина-гражданина?

Красивая ложь Паустовского или Кассиля особенно возмущает еще потому, что она прямым путем ведет к ополению предмета. Кассиль драму капитана Батыгина разрешает почти в опереточном духе. Паустовский из крови и героизма защитников Одессы «делает» рассказ («Томик Пушкина» в сборнике «Ленинградские ночи»), похожий на самый обыкновенный водевиль. Кого вдохновляют, кому помогают воевать, какое отношение к действительности способны воспитывать такие произведения?

Автоматы и суррогаты¹

Суррогат — предмет, лишь отчасти заменяющий какой-либо другой предмет, с которым он имеет некоторые общие свойства (напр., сахарин вместо сахара, цикорий вместо кофе и т. п.).

(Словарь иностранных слов)

На определенной ступени литературной опытности приобретает умение без затрат творческих усилий написать на любую тему гладкую вещь. Существуют своего рода рецепты для фабрикации подобных литературных изделий. Выработаны готовые схемы для всевозможных жанров. Подобно тому, как в поэзии посредством применения готовых ритмико-синтаксических штампов возможно механическое составление ритмически гладких стихов, так и в прозе комбинирование шаблонных ситуаций, персонажей, общих мест ведет к созданию произведений, в которых внешне как будто все на месте: имеются и герои, и фабула, и в то же время каждая деталь может быть без труда возведена к определенным литературным образцам, каждый эпизод является общим местом.

Эти предварительные замечания кажутся нелишними, прежде чем перейти к рассмотрению книжки В. Лидина, носящей претенциозно-скромное название «Простая жизнь».

Состоящая из рассказов и очерков о войне с немецким фашизмом, она является типичным образцом литературного суррогата: вся она наполнена общими местами, стандартными заготовками, взаимозаменяемыми деталями.

Схематизм, поверхностность, общие представления — это почва и питательная среда большинства рассказов В. Лидина.

Вот рассказ «Братья». Он начинается фразой: «Старшие братья ушли на войну, младшие прошли сложный путь созревания». Я уже не говорю о том, что В. Лидин считает «созревание» делом лишь тех, кто остается в тылу, тогда как человек, ушедший на фронт, тем самым, очевидно, освобождается от какой бы то ни было работы над собой и сразу делается настоящим воином. Мысль, разумеется, ошибочная, так как война как раз в отношении душевной зрелости предъявляет наибольшие требования к людям, на войне они и проходят в высшей степени «сложный путь созревания».

Но дело даже не в этом. Как ни однобока эта формулировка, из нее все же видно, что В. Лидин признает путь созревания сложным. К сожалению, у него этим дело и ограничивается. Писатель считает, что эпитетом «сложный» он уплатил

дань требованиям глубины и в дальнейшем свободен от каких бы то ни было обязательств по этой части. Если В. Лидин пишет: «Они кончали школу, подростки, ставшие за один год взрослыми. Они узнали правду, горькую и твердую...» и т. д., то читатель вправе не поверить этому, так как недостаточно одних декларативных утверждений, нужно изображение «повзросления», а оно-то как раз и отсутствует в рассказе.

Чуть скользнув по теме, автор спешит закруглить свое изложенное концовкой о земле, «покрывшейся вновь, несмотря ни на что, полевыми цветами». Неудивительно поэтому, что книжка В. Лидина отличается крайней поверхностностью.

Другой пример: пятнадцатилетняя девочка в рассказе «Дочь» «вдруг за несколько часов стала взрослой». Тут уж автор совершенно не затрудняет себя художественным показом того, как стала взрослой изображаемая девочка. Просто стала взрослой, и все тут.

И в других рассказах дело обстоит не лучше. Не менее поверхностен рассказ «Простая жизнь», замечательный только тем, что героиня его сидит, «подперев острое колено».

Очерк «Земля», состоящий из общих представлений, приурочен автором к Поволжью, но легко может быть перенесен в любой район нашей страны, так он не конкретен.

Схематизм писаний Лидина не искупает поток азбучных истин, к которым персонажи книги питают большую слабость. «Только боковые побеги почти из самой земли зеленели с яркостью, утверждавшей неумиряющую силу жизни» (стр. 73).

«И никакие испытания войны и никакие утраты — ничто не страшило теперь его. Рюмина, вдруг с необыкновенной полнотой ощутившего эту (какую?) неугасимую силу жизни» (стр. 72).

Лет пятнадцать тому назад В. Лидин опубликовал очерк «Стамбул», в котором на расстоянии нескольких абзацев говоришь о печальке, на которой с восточной скупостью в нескольких знаках было изображено его имя, и об огне, пожиравшем дома за домами с восточной расточительностью. Характерная для автоматического способа письма оплошность! Ходячий, шаблонный эпитет употребляется столь бездумно, что автор не замечает бессмыслицы, противоречия. Неудивительно, что, оставшись верным прежнему методу работы, писатель и сейчас не

¹ Вл. Лидин. Простая жизнь. «Светский писатель», Москва, 1943, 122 стр., тираж 10 000 экз., цена 2 руб.

уберегся от аналогичных промахов. Вчитайтесь в следующую фразу: «Они потребовали новых знаний у женщин и девушек — все эти колесчатые валы, могучие «Сталинцы», подшипники, скорости: сложное техническое хозяйство машин». Почему в этом бессмысленном перечислении «Сталинцы», т. е. тракторы, выпускаемые тракторным заводом имени тов. Сталина, стоят в одном ряду с колесчатыми валами, подшипниками и скоростями под общим наименованием «сложное техническое хозяйство машин»(!)? Не потому ли, что интонационная инерция потребовала у автора вставки четвертого члена перечисления, а память не могла подсказать ни одного названия детали трактора?

Очень неприятны своей претенциозной жеманностью следующие стилистические конструкции, в изобилии встречающиеся в книжке В. Лидина.

«Сам он, учитель истории» (стр. 5).

«Они уже воевали, вчерашние мальчишки» (стр. 6).

«Он победит, наш народ» (стр. 11).

«К великому своему могуществу оно шло, государство» (стр. 11—12).

«...Стоит она, красноармейская жена Иванова» (стр. 99).

«К любому испытанию оказался способным он, наш народ» (стр. 104).

«Он пришел сюда, наш трудовой человек» (стр. 107).

«Он был надвоезден, Стрельцов» (стр. 109).

«Она торжествовала, жизнь» (стр. 112).

«Они приходят сюда, наши бойцы» (стр. 117).

Странные метаморфозы происходят с героями В. Лидина. Бумажные конфликты, картонные бури, призрачные, неубедительные инсценированные потрясения тревожат их внутренний мир.

Рассказ «Письмо». Летчик, прочтя письмо, данное ему учительницей, бежавшей из оккупированного немцами села, — в письме этом вяло излагаются общеизвестные по газетам факты, — вдруг, перед боевым вылетом ощутил, что «прочитанное перед отлетом письмо походило теперь на надутствие матери».

Читатель спросит: неужели летчик нуждался в таком толчке, чтобы увериться в необходимости «все превратить в прах и пыль, в обугленные обломки»?

В. Лидин злоупотребляет тем чувством любви и уважения, которым окружены в сознании советского народа герои нашего времени — летчики, бойцы, партизаны. Писатель знает об этом и думает, что достаточно избрать своим героем партизанку или учительницу, бежавшую из занятого немцами села, чтобы автоматически обеспечить своим персонажам любовь и признание читателей, и тем самым беспроблемно сыграть свою вредную игру. Напрасные надежды. Нужно ли доказывать, что изображение героев нашего времени требует не меньшего углубления в действительность, яркости и конкретности, чем того требует изображение людей мирных и малых дел. Недостаточно приклеить этикетку «партизанка» или «летчик», чтобы читатель поверил в реальность этих фигур; пошлая и риторическая трескотня, конечно, не восполняет отсутствие подлинного раскрытия души советского героя. Этикетка отваливается, и читатель видит, что перед ним не герой во плоти и крови, а бледное и вялое порождение слабого и немощного воображения, равнодушно сработанный манекен.

Таковы персонажи в книге В. Лидина «Простая жизнь». Она оскорбляет чувства советского читателя-патриота своим равнодушием, автоматизмом сочинительства, поверхностностью, пустословием и пошлостью.

„В тот год суровый“¹

Стихи Дмитрия Осины, посвященные суровому году — первому году войны, не отличаются конкретностью батальных картин. Но поэт и не ставил перед собой этой задачи. Его цель — в другом.

Ключом к его книжке являются строки:

«Но рядом с воином историк
За Днепр под пулями идет».

История — это память народа о самом себе, это процесс запоминания и осмысливания.

Для Осина важно запомнить все увиденное, осмыслить и сохранить для потомков, для народной памяти. Все его впечатления проходят через призму лирического историзма. Он всегда ощущает себя в потоке времени, в непосредственной связи с теми, кто будет жить через столетия, он думает об их понимании нашего сурового сегодняшнего дня. И для них он пытается раскрыть психологию наших воинов.

Чаще всего в поэтическом словаре Осина встречаются слова: «припомним», «не забыть», «не забудет», «сто лет прошло» или «пройдет», и т. д.

Откуда же этот жар памяти?

«Если б даже бессмертен я был,

То и тогда бы,

Те дни вспоминая,

Жизнь эту трудную так не любил

Как ее любят, в бою умирая.

Есть у переднего края свой счет,

Году равна там минута иная».

Вот эта любовь к жизни делает нужной и близкой многим книгу, написанную поэтом-историком как ряд беглых заметок на поле боя.

Гитлер пытался с детства приучить своих солдат к смерти «во имя фюрера».

Наш советский боец пошел на смертельный бой ради жизни, подлинной достойной человека жизни, невысказанной без свободы, без независимости родины. Наш боец утверждает жизнь, до последнего вдоха, он знает, что даже умирая «весь он не умрет». Кровь его будет не только в том трактористе, который через 100 лет станет пахать мирные наши поля, но во всем, что творится и строится на нашей земле.

Боец говорит:

«Как я умру,

Когда моя в плотине

И в камне каждом капля крови есть!»

Близость, возможность смерти обостряет все ощущения и чувства. Никогда

люди не любили такой всепроникающей острой любовью и свою страну и свои близких.

Едва ли не лучшие стихи в книге Осина — это стихи о детях, о семье. При всей своей интимной сердечности, они выходят из области узко-личного.

В стихотворении «Как только в союз женных рощах» этот переход от личного к общему, и при этом глубоко народному осуществлен через лирический образ синицы.

Синица — птица русской песни, птица лужыньских, с детства родных нам стихов:

«Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила».

Эти строки невольно вспоминаешь, тая у Осина:

«Где ты, вещунья? Где ты?

Спой мне опять, синица,

Песню тех дней счастливых.

Старую песню спой.

Спой обо всем, что сердцу

Снится — не отоснитя.

Спой о семье, о доме,

Об отбитой земле родной».

Осин не стилизует свои стихи под народную песню, а свободно пользуется теми же приемами, теми же рефренами, которые так любит народ; настолько органичен песенный ритм его стиха, что даже смена ударений в одном и том же слове, как «Звездынька» — «звездынька» воспринимается, как естественная звуковая игра.

Его «Звездынька» и «Поддорожник зацветает», «У дороги, у проселка», заслуживают того, чтобы их положили на музыку.

Эти стихи могут служить отправными точками для дальнейшего пути поэта, а путь этот долог и труден. Осину надо добиться и большей конкретности и четкости образов (их расплывчатость — самое уязвимое в книге). Осин не умеет еще восстанавливать целое по детали и отличать главное от второстепенного. Надо ему преодолеть некоторую рассудочность, свойственную многим его стихам.

«Историк» часто заслоняет поэта и при этом он еще только накапливает материал, а не дает философских и поэтических обобщений.

Иногда Осин заменяет живое наблюдение искусственной поэтизацией.

Так у него ужки летят «ранней весной», но этой же ранней весной «дымится (для красного словца) зной».

На совести и автора и редактора т. Обрадовича остается явная бессмыслица некоторых строк:

¹ Дмитрий Осин. «В тот год суровый». Стихи, «Советский писатель», 1943.

«... не жаль, что тем, кто пал вначале,
Теперь увидеть не дано.
Как немцев мы назад погнали
На запад за Бородиню.
Как полыхают деревушки (!?)
И заволок все дали дым».

Едва ли павшим было бы приятно видеть подожженные немцами наши деревни. Не всегда Осин справляется и с самым построением фраз:

«Жизнь нас любить научила война».
Эта книга не имеет еще печати мастер-

ства и нет в ней побуждающей читателя оригинальности. Но она имеет стержень, она имеет свою тему, а это уже много, и еще — это «Походная книжка».

«Где запекшейся крови язык скупой
Расскажет вам обо всем».

И стремление автора к объективности, к исторической перспективе даже в пылу боя говорит о душевной крепости и целеустремленности, необходимой для художника.

Надежда Павлович

Содержание

	Стр.
НИК. РЫЛЕНКОВ — Возвращение, поэма	1
АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ — Иван Грозный, драматическая повесть	5
КОНСТ. СИМОНОВ — Пехотинец. Парамон Самсонович, рассказы	71
ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ — Душа корабля, рассказ	85
М. ИСАКОВСКИЙ — Примите меня, вековые дубравы, стихи	89
ВЯЧ. ПИЩКОВ — Емельян Пугачев, историческое повествование	90
АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ — Степные солдаты, стихи	156
ЭЛЬЖВЕТА ШЕМЦЛИНСКАЯ — Счастье семьи Есёнов, рассказ	159

КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

М. ГЕЛЬФАНД — Литературные игры Льва Кассиля	165
А. НАРКЕВИЧ — Автоматы и суррогаты	172
Н. ПАВЛОВИЧ — «В тот год суровый»	174

Редколлегия: В. П. ИЛЬЕНКОВ, П. А. ШАВЛЕНКО, Ф. И. ПАНФЕРОВ,
И. В. ШАМОРИКОВ, С. П. ЩИПАЧЕВ, М. М. ЮЦОВИЧ (отв. секретарь)

Адрес редакции: Москва. Б. Черкасский пер., 10/2. Тел. Б 3-44-22

18-й год издания. А2709 Подписано к печати 1/III 1944 г.
Печ. листов 11 Уч.-авт. листов 23⁷/₂ В печ. листе 80640 зн.
Тираж 25 000 экз. Цена 10 руб. Зак. 202

18 типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при СНК РСФСР
Москва, Пубинский пер., 10